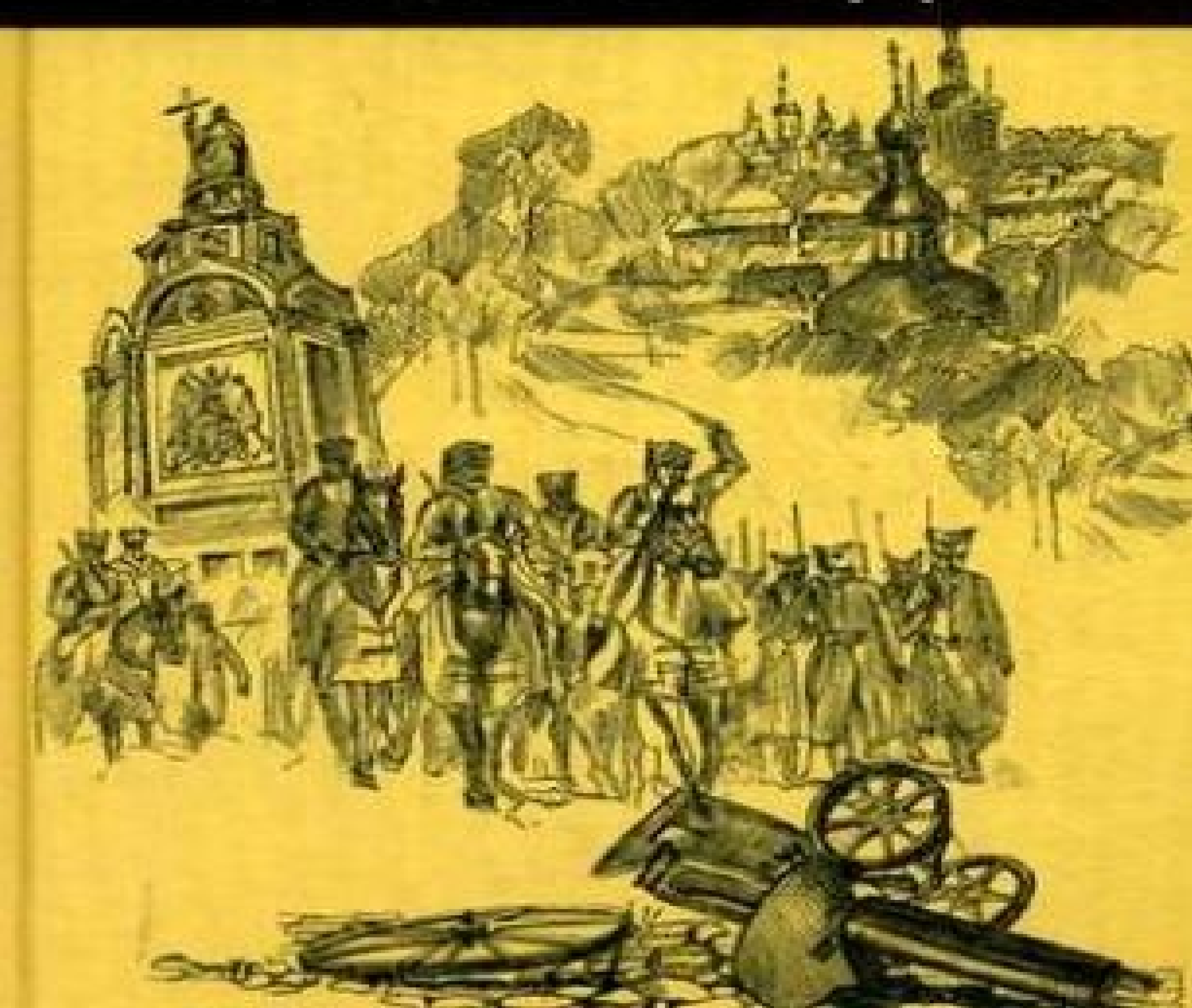
Борис Соколов

Тайны Булгакова

РАСШИФРОВАННАЯ «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»



Annotation

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй» – первые строки «Белой гвардии» завораживают не меньше знаменитого «В белом плаще с кровавым подбоем», а текст дебютного романа Булгакова так же полон тайн и загадок, как «Мастер и Маргарита». Эта книга расшифровывает тайнопись, мистические подтексты и секретные коды «Белой гвардии», восстанавливая подлинную историю и скрытые смыслы булгаковского шедевра.

Борис Соколов
Тайны Булгакова
Расшифрованная «Белая гвардия»

К читателю

Из всех писателей 20 – 30-х годов XX века Михаил Афанасьевич Булгаков, наверное, в наибольшей мере сохраняется в российском общественном сознании. Сохраняется не столько своей биографией, из которой вспоминают обычно его письма Сталину и единственный телефонный разговор с тираном, сколько своими гениальными произведениями, главное из которых – «Мастер и Маргарита». Оно, вместе с фантастической сатирической повестью «Собачье сердце», пользуется сегодня наибольшей популярностью как в России, так и в других постсоветских государствах. Вместе с тем в последние годы, в связи с ростом интереса к истории Гражданской войны и Белого движения в России, возросла популярность и романа «Белая гвардия», равно как и написанной на его основе пьесы «Дни Турбиных», на которой в 1920-е годы сформировалась молодая труппа Художественного театра и которая пользовалась уникальной популярностью в 20-е и 30-е годы. Сегодня ее часто ставят под названием первых редакций, совпадающих с названием романа «Белая гвардия».

В своем первом романе Булгаков попробовал совместить стиль Льва Толстого, Гоголя и Андрея Белого. От Толстого и Гоголя здесь длинные повествовательные периоды, подчеркивающие эпический характер происходящего. От Толстого же – пейзажные описания, передающие настроение героев, и сама форма сочетания семейного романа с философско-публицистическими рассуждениями о причинах и ходе грозных исторических событий 1917–1919 годов на Украине. А вот от Белого Булгаков взял элементы потока сознания, предвосхищенные еще Гоголем, прием передачи живой разговорной речи толпы короткими, рублеными фразами, широкое использование песенных текстов для выражения чувств персонажей и атмосферы действия. Патетику Толстого Булгаков предпочитает снижать иронией. Вот, например, замечательный рассказ Шервинского о мнимой встрече офицеров с будто бы спасшимся от расстрела царем: «После того как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить…» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России – в Москву», – и прослезился.

Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной».

В данном случае эпический стиль рассказа Шервинского воспринимается комически, поскольку все происходит во время пьяного застолья и сам рассказчик не забывает выпить и закусить. В то же время намеренные повторы одинаковых слов в соседних предложениях («он сказал»; «светло обвел глазами»; «десять пар глаз уставились») подчеркивают монотонность повествования. Его художественная недостоверность заставляет задуматься и о несоответствии сообщаемого Шервинским реальному положению вещей. Недаром Алексей Турбин называет весь рассказ легендой, а Мышлаевский вслед за Марком Твеном шутит, что «известие о смерти его императорского величества… несколько преувеличено». Вместе с тем упомянутый рассказ Шервинского, равно как и многие другие эпизоды «Белой гвардии», построен по законам театрального действа. Отсюда и портьера, откуда появляется воскресший император, и вполне театральная ремарка «прослезился». Не случайно роман «Белая гвардия» Булгакову оказалось сравнительно легко трансформировать в пьесу «Дни Турбиных», где упомянутая сцена с рассказом Шервинского стала одной из самых запоминающихся. Там комический эффект был усилен еще и тем, что после слов Шервинского «портьера раздвинулась, и вышел наш государь», в комнату входит не Николай II, а Лариосик. Что же касается влияния Белого, то скрытые цитаты из его произведений достаточно часто встречаются в булгаковском романе, хотя и помещены в сугубо реалистический контекст. Сам Город (Киев) «Белой гвардии» очень напоминает главное место действия «Петербурга» (1916) Белого и столь же мифологичен. То, что на «Белую гвардию» повлиял «Петербург» Андрея Белого, отмечалось еще в предисловии к парижскому изданию булгаковского романа. Это сказалось в описании Города (родного для Булгакова Киева), в коротких, рубленых фразах разговоров на улицах, в иногда возникающем ритме, активном использовании песенных текстов для выражения настроений героев. Подобно автору «Петербурга», Булгаков в «Белой гвардии» неодушевленные предметы и отдельные детали внешности заставлял выступать в качестве самостоятельных субъектов действия; в частности, при описании гусарского полка: «Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх». Вообще при характеристике любой массы людей, толпы, вооруженной и невооруженной, Булгаков акцентировал внимание

читателей именно на неживых предметах, на деталях амуниции, одежды. Толпа для него была чем-то неодушевленным, механическим. Так показана, например, «сила Петлюры», идущая на парад: «Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов… Ослепительно резнули глаза восхищенного народа мятые заломленные папахи с синими, зелеными и красными шлыками с золотыми кисточками. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя, и рвались вперед от трубного воя кони командиров и трубачей». Лиц, глаз толпы Булгаков намеренно не дает, ограничиваясь лишь портретом предводителя со смешными, снижающими деталями: «Толстый, веселый, как шар, Болботун катил впереди куреня, подставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки».

Отметим, что «Белая гвардия» – это единственный роман Булгакова, где обильно используется разговорный язык, представляющий собой смесь русского и украинского просторечия, характерную для Киева. Для создания комического эффекта она перебивается еще и литературно правильным разговором образованной публики: «Петлюра только что проследовал во дворец на банкет…» – Не брешить, никаких банкетов не буде» (в последней фразе отметим соседство русского «никаких» с украинским «не буде»).

Булгаков, несомненно, симпатизировал белым, и, наоборот, не питал никакого сочувствия к революционерам, к которым относил как большевиков, так и сторонников независимой Украины. Однако в своем первом и самом любимом романе, запечатлевшем перипетии Гражданской войны в Киеве на рубеже 1918–1919 годов, писатель смог «стать бесстрастно над красными и белыми» и дать «изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы Гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира», как он подчеркивал в своем письме Правительству от 28 марта 1930 года. Здесь же он заявил, что «такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией».

Позиция Булгакова в «Белой гвардии» близка к философии ненасилия (непротивления злу насилием), развитой Л.Н. Толстым в основном уже после «Войны и мира» (в романе эту философию выражает только Платон Каратаев). Но булгаковская позиция здесь не вполне тождественна толстовской. Алексей Турбин понимает неизбежность и необходимость насилия, однако сам на насилие оказывается неспособен. В окончании романа, которое так и не было опубликовано в журнале «Россия», он, наблюдая бесчинства петлюровцев, обращается к небу:

«– Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики… Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же, вон оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Турбин сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, а больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке – полковник Мащенко. Оба они, конечно, падают на колени.

– Змилуйтесь, добродию, – вопят они.

Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит:

– Нет, товарищи, нет. Я – монар… Нет, это лишнее… А так я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, причем он здесь, в этой кутерьме, но этих двух надо убить как бешеных собак. Это – негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

– А-а… так… – зловеще отвечают матросы.

– Д-да, т-товарищи. Я сам застрелю их. – В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому».

Булгаковский интеллигент убить способен только в воображении и в жизни предпочитает передоверить эту неприятную обязанность матросам. И даже протестующий крик Турбина: «За что же вы его бьете?!» – заглушается шумом толпы на мосту, что, кстати, спасает доктора от расправы. В условиях всеобщего насилия интеллигенция лишена возможности возвысить свой голос против убийств, как лишена возможности сделать это и позднее, в условиях установившегося к моменту создания романа коммунистического режима.

Хотя город Киев, насчитывавший в ту пору более 400 тысяч жителей, в булгаковском романе ни разу не назван по имени, а фигурирует просто как Город, но его топография дана вполне отчетливо, а автобиографические персонажи – семейство Турбиных – представлены очень узнаваемо. Вместе с тем, и это давно уже не секрет для исследователей булгаковского творчества, и Город в романе – это не вполне Киев, и семейство Турбиных – это не вполне семейство Булгаковых. Писатель сознательно стремился к широким художественным обобщениям, и Город у него – это олицетворение всех крупных городов бывшей Российской империи, оказавшихся в революционном водовороте. А Турбины – это простая русская интеллигентная семья, переживающая трагедию революции. Не случайно Булгаков в упомянутом письме Правительству прямо выражал

«глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина». Семью Турбиных пытается мобилизовать каждая из сторон гражданской войны, но она всячески пытается сохранить «за кремовыми шторами» прежний уют и стабильность своего существования, все более убеждаясь в том, что все стороны гражданской войны стоят друг друга.

В своей книге я попытаюсь рассказать о некоторых загадках, связанных с романом, о прототипах некоторых главных и второстепенных персонажей романа, об исторических событиях, которые отразились на страницах «Белой гвардии». Начнем же мы с рассказа о судьбе писателя в бурные 1918–1920 годы, чтобы читателям стало яснее, как историческая реальность соотносится с художественной реальностью применительно к самому Михаилу Булгакову.

Михаил Булгаков в годы Гражданской войны. 1918 – 1920

Прежде чем обратиться к судьбе Булгакова в период Гражданской войны, сделаем небольшой экскурс в то, что же происходило в любимом писателем Киеве, начиная с Февральской революции и кончая завершением Гражданской войны. Эти события отражены в булгаковском фельетоне «Киев-город», опубликованном в берлинской эмигрантской газете «Накануне» 6 июля 1923 года, как раз в период работы над «Белой гвардией». Материалами для фельетона послужили воспоминания Булгакова о событиях 1917–1919 годов и впечатления от поездки в Киев по командировке от газеты «Накануне» в период с 21 апреля по 10 мая 1923 года. Булгаков утверждал: «По счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил». Первым переворотом писатель считал Февральскую революцию, а последними двумя – занятие города войсками Польши и Украинской Народной Республики 7 мая 1920 года и вступление в город Красной Армии 12 июня того же года после прорыва польского фронта конницей Буденного. Под 14 переворотами в Киеве Булгаков имеет в виду следующее: 1) Февральская революция 1917 года; 2) взятие власти в городе украинской Центральной радой (Центральным Советом) в конце октября – начале ноября 1917 года, когда восстание, начатое против власти Временного правительства большевиками и некоторыми поддержавшими их армейскими частями и рабочими, а также евреями-ремесленниками из предместий, было подавлено войсками, верными Центральной раде, объявившей себя верховной властью на Украине после падения правительства Керенского в Петрограде; 3) захват Киева частями Красной гвардии, вытеснившими из города войска Центральной рады 26 января 1918 года; 4) возвращение в город Центральной рады при поддержке австро-германских войск 1 марта 1918 года; 5) свержение правительства Центральной рады германскими войсками и провозглашение на созванном в киевском цирке 29 апреля 1918 года Съезде хлеборобов гетманом Украины Павла Петровича Скоропадского, бывшего генерал-лейтенанта царской службы и бывшего командующего войсками Центральной рады; 6) свержение гетмана Скоропадского и взятие Киева 14 декабря 1918 года войсками Украинской

Народной Республики под командованием головного атамана и руководителя Украинской Директории (правительственного органа) Симона Васильевича Петлюры; 7) занятие Киева войсками Красной Армии 5 февраля 1919 года (украинские войска оставили город накануне, 3 февраля, так что никаких боев за город не было); 8) вступление в Киев утром 31 августа 1919 года войск Украинской Народной Республики (красные оставили город 30 августа); 9) вступление в город войск белой Добровольческой армии Вооруженных сил Юга России генерала А.И. Деникина (войсками, занявшими Киев, командовал генерал Н.Э. Бредов) и отступление из Киева украинских войск во второй половине дня 31 августа 1919 года; 10) взятие города Красной Армией 14 октября 1919 года; 11) отступление из Киева красных 16 октября 1919 года и возвращение в город добровольческих войск; 12) занятие Киева красными 14 декабря 1919 года; 13) вступление в город украинских и польских войск 7 мая 1920 года; 14) занятие Киева Красной Армией 12 июня 1920 года. Если 1-м явлением «киевской драмы» считать «беспечальное» дореволюционное состояние города, то захват города поляками и петлюровцами 7 мая 1920 года действительно будет, как это и указано в фельетоне, последним, 15-м явлением перед установлением современного состояния (Status praesens) Киева, оказавшегося в конце концов под властью большевиков. Булгаков отсутствовал в городе только во время четырех переворотов – осенью 1917 года, когда работал земским врачом в городской больнице Вязьмы; 14 декабря 1919 года, когда вместе с Белой армией находился на Северном Кавказе; там он оставался и в 1920 году уже при советской власти, так что два последних киевских переворота, 7 мая и 12 июня, прошли без него.

Первый раз после начала революционных потрясений Булгаков приехал в Киев вскоре после того, как 2 марта 1917 года в Киев поступила телеграмма депутата Государственной думы от фракции прогрессистов А.А. Бубликова об отречении от престола Николая II. Эта телеграмма в булгаковском фельетоне выступает как знак окончания прежних беспечальных времен. Интересно, что Бубликов был не только железнодорожным инженером, но и членом масонской организации, а к масонству Булгаков питал пристальный интерес. Писатель наблюдал начавшиеся революционные события в городе и 7 марта забрал в канцелярии университета свой диплом с отличием и прочие документы. В феврале 1918 г. он вернулся в Киев в первые дни восстановления советской власти и одновременно незадолго до оставления города красными. Так как в 1918 году в Советской России произошла смена юлианского и григорианского календарей (старого и нового стиля), различавшихся в XX

веке на 13 дней, то после 31 января старого стиля сразу наступило 14 февраля. Очевидно, Булгаковы вернулись в Киев сразу же после 22 февраля, когда Михаил Афанасьевич получил удостоверение о своей службе в Вяземской земской управе. Как раз 22 февраля 1918 года германские и австро-венгерские войска вошли на Украину в соответствии с договором, заключенным с Центральной радой. Позднее, во второй половине 20-х годов, Булгаков сообщил своему другу философу и филологу Павлу Сергеевичу Попову: «Жил в Киеве с февраля 1918 года по август 1919 года». Учитывая эту датировку и счет киевских переворотов, можно предположить, что в конце августа 1919 г. Булгаков как врач был мобилизован красными и ушел из Киева. Факт мобилизации автобиографического главного героя в Красную Армию зафиксирован в рассказе «Необыкновенные приключения доктора», о чем мы подробнее скажем далее.

Первая жена Михаила Афанасьевича Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала, как они возвращались в Киев из Вязьмы, где Булгаков служил врачом городской больницы: «В начале 18-го года он освободился от земской службы, мы поехали в Киев – через Москву. Оставили вещи, пообедали в «Праге» и сразу поехали на вокзал, потому что последний поезд из Москвы уходил в Киев, потом уже нельзя было бы выехать. Мы ехали потому, что не было выхода – в Москве остаться было негде… В Киев при нас вошли немцы».

Не исключено, что Булгаков застал если не сам красный террор, последовавший за занятием города советскими войсками, то, по крайней мере, живые воспоминания киевлян об этих событиях. Ведь сам он приехал в Киев почти что по следам обозов красных.

Вот как о взятии Киева красными зимой 1918 года пишет украинский историк Ярослав Тимченко: «9 февраля (26 января по ст. ст. – ***Б.С.)*** после девятидневного обстрела Киева из крупнокалиберных пушек со стороны Дарницы армия Муравьева ворвалась в город с лозунгом «Смерть украинцам и буржуям!». Только в первые три дня тогдашние «защитники отчизны» уничтожили от 6 до 12 тыс. человек.

– Я приехал в Киев как раз тогда, когда он был взят, – вспоминал украинский большевик Владимир Затонский. – Страшное, кошмарное зрелище… Мы вошли в город: трупы, трупы и кровь. Тогда расстреливали всех. Просто на улицах. Я сам едва не погиб: средь бела дня меня один из наших патрулей остановил. Я ему показал свидетельство члена Украинского правительства, написанное на языке украинском, с печатью Всеукраинской Центральной рады, крестьянских и красноармейских

депутатов рабочих. На месте, наверное, расстреляли бы, – тогда же это прямо на улице делали, – если бы, к счастью, во втором кармане не было второго мандата – члена Совнаркома РСФСР за подписью Ильича». Тогда в Киеве было убито, по неполным данным, 2587 человек.

Годы Гражданской войны в булгаковской биографии характеризуются, наверное, наибольшим числом душевных потрясений, связанных с событиями братоубийственной борьбы. Только, разумеется, об ужасах красного террора, увиденных в Киеве, Булгаков не мог прямо писать не только в своих художественных произведениях, но даже и в письмах родным, ведь они могли попасть в ненадежные руки. Также Булгаков отнюдь не был заинтересован в том, чтобы привлекать чье-либо внимание к своей службе в разного рода антисоветских формированиях, будь то офицерско-юнкерский добровольческий отряд, собиравшийся защищать гетмана Скоропадского от украинских войск Петлюры, или в Вооруженных силах Юга России генерала Деникина. Не случайно период Гражданской войны – наименее документированный отрезок жизненного пути писателя. Ведь ему было что скрывать, и даже свою первую публикацию – фельетон «Грядущие перспективы» – Булгаков не рискнул сохранить, поскольку он появился в ноябре 1919 года в Грозном, занятом в тот момент деникинской армией, и был по своему содержанию резко антисоветским, что вполне отражало чувства Михаила Афанасьевича. Поэтому биографу приходится становиться здесь на зыбкую почву реконструкций, черпать сведения из единственного документа, сохранившегося от пребывания Булгакова в Киеве в 1918–1919 годах, – это рецепт, выписанный им 5 января 1919 года Н.Н. Судзиловскому племяннику Л.С. Карума – мужа булгаковской сестры Вари (и прототипа Тальберга в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» – о нем мы подробнее скажем ниже) и прототипу Лариосика Суржанского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». О Судзиловском-Лариосике мы тоже еще поговорим.

Телеграмма депутата Государственной думы АА. Бубликова об отречении Николая II от престола положила начало революционным событиям в Киеве. В 1923 году писатель уже твердо считал Февральскую революцию началом всех последующих бедствий. В «Киев-городе» он писал о ней так: «Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 часов утра 2-го марта 1917 года, когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами: «Депутат Бубликов».

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были

обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно, ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось и продолжалось в течение четырех лет».

2 марта был сформирован Исполнительный комитет объединенных общественных организаций, стоявший на позициях поддержки петроградского Временного правительства. Здесь преобладали кадеты. 3 марта возник городской совет рабочих, а 5 марта – военных депутатов. 4 марта партии и организации украинской национальной ориентации образовали Центральную раду (Центральный совет). Как раз в эти дни Булгаков был в Киеве: он приезжал за университетским дипломом.

Следующий переворот случился в Киеве в конце октября – начале ноября 1917 года. После свержения Временного правительства в Петрограде власть в столице Украины взяла Центральная рада (орган, представлявший население Украины), причем в ходе восстания преданные ей «украинизированные» войсковые части сражались с киевскими юнкерами, сохранившими верность Керенскому, и с частью рабочих, выступавших на стороне большевиков. В этих боях участвовал младший брат Булгакова Николай, юнкер Киевского военно-инженерного училища. События тех памятных дней отразились в булгаковском рассказе «Дань восхищения», опубликованном в одной из кавказских газет в феврале 1920 года, и в романе «Белая гвардия». Однако самого Михаила в Киеве в тот момент точно не было, он вместе с женой оставался в Вязьме. Рассказ он писал со слов очевидцев – матери и брата Николая.

К Центральной раде, к гетману Скоропадскому и к пришедшей ему на смену Украинской Народной Республике во главе с Симоном Петлюрой Булгаков до конца жизни сохранил сугубо отрицательное отношение. Избрание Центральной рады в апреле 1917 года и ее последующие действия он иронически охарактеризовал в «Белой гвардии»: «Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский».

Третья смена власти в Киеве произошла, как мы уже упоминали, 26 января 1918 года, когда Красная Армия вытеснила войска Центральной рады из города. Это стало следствием скоротечной украинско-российской войны. Еще до ее начала Центральная рада своим Третьим универсалом провозгласила создание Украинской Народной Республики (УНР) как части федеративной Российской Республики. Одновременно ликвидировалась

частная собственность на землю, помещичьи земли передавались крестьянам, вводился 8-часовой рабочий день, а евреям и полякам гарантировалась национально-территориальная автономия. После того как 4 декабря Совнарком предъявил Центральной раде невыполнимый ультиматум и начались боевые действия, в Киеве был взят курс на полную независимость. 9 января 1918 года, в день созыва Украинского учредительного собрания, был провозглашен Четвертый (и последний) универсал Центральной рады, объявлявший полную государственную независимость Украины. Все эти постановления остались только на бумаге. Украинские войска не могли сдержать натиск красногвардейских отрядов, возглавлявшихся левым эсером подполковником М.А. Муравьевым. Положение усугубилось тем, что секретарь (министр) рады по военным делам С.В. Петлюра, единственный политический деятель, пользовавшийся популярностью в только еще рождающейся украинской армии, из-за разногласий с другими руководителями рады в конце декабря вышел в отставку и сформировал Гайдамацкий кош (полк) Слободской Украины, во главе которого в январе подавил пробольшевистское восстание рабочих завода «Арсенал», но удержать Киев все равно не смог. Большая часть украинских полков и дивизий были украинскими только по названию. Они либо расходились по домам, либо отказывались сражаться против красных.

По этому поводу Булгаков заметил в «Белой гвардии»: «Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве».

Вообще Центральная рада мало чем отличалась в лучшую сторону от недавно свергнутого Временного правительства. Это был недееспособный орган, погрязший в дрязгах партий и политиков, не обладающий ясно выраженной единой волей, столь необходимой в чрезвычайных условиях революции и гражданской войны. Но тут следует отметить, что теми же чертами обладали и другие украинские органы власти: гетманщина, Директория и даже советское правительство Украины, очень быстро превратившееся в марионетку московского Совнаркома и оказавшееся не в состоянии справиться с местными «батьками» и атаманами. Что ж, вполне оправдалась поговорка: «Где два украинца, там три гетмана».

Новый переворот не заставил себя долго ждать. Правительство бывшей Центральной рады, представленное в основном партиями социалистической ориентации и выступавшее за радикальные аграрные преобразования, не устраивало Германию и Австро-Венгрию, рассчитывавших получить с Украины практически задаром продовольствие для своего голодающего в условиях антантовской блокады населения.

Германское и австро-венгерское командование преследовало одну цель – обеспечить из Украины регулярные поставки сельскохозяйственной продукции в голодающие Германию и Австро-Венгрию. 6 апреля командующий германскими войсками на Украине фельдмаршал Герман фон Эйхгорн издал приказ, в котором требовал организованно провести посевную кампанию. При этом подчеркивалось, что урожай будет принадлежать тем, кто засеет площади. Крестьяне, не засеявшие хотя бы часть своих земель, будут наказаны. Кроме того, крестьяне должны были помогать в обработке помещичьих земель. Приказ фельдмаршала вызывал недовольство Центральной рады. Украинский МИД заявил по поводу приказа Эйхгорна официальный протест Германии, а Министерство земельных дел оповестило крестьян, что злополучный приказ выполнять не следует. Министерство же юстиции своим распоряжением объявило, что немецко-австрийские войска не имеют права казнить и подвергать заключению украинских граждан по приговорам своих полевых судов, поскольку в Украине существуют собственные гражданские и военные суды.

После этого судьба Центральной рады была решена. Поводом к перевороту послужил арест по приказу Рады киевского банкира Юрия Доброго, члена финансовой комиссии на переговорах с немцами, обвиненного в ряде финансовых преступлений. В ответ немецкие войска арестовали несколько министров (секретарей) Центральной рады. При поддержке оккупационных властей 29 апреля 1918 года в городском цирке на «съезде хлеборобов», состоявшем почти исключительно из крупных землевладельцев, гетманом Украины был избран потомок украинского гетмана XVIII века Павел Петрович Скоропадский, генерал-лейтенант царской службы, ранее возглавлявший 1-й Украинский корпус Центральной рады и ушедший в отставку одновременно с Петлюрой. Он был готов безропотно исполнять все распоряжения немцев и австрийцев и вообще не имел сколько-нибудь отчетливой политической программы. Наверное, Павел Петрович был неплохим командиром дивизии и корпуса, но вот политиком оказался никаким и не пользовался популярностью среди населения Украины. Даже русские офицеры, которых немало скопилось в Киеве, где они надеялись под сенью германо-австрийских штыков найти защиту от Красной Армии, гетмана не любили. Раздражение вызывали комедия с украинизацией армии и Украинской Державы, нежелание хоть в чем-то спорить с немцами, а также нежелание воевать с большевиками. Поддерживали гетмана только его сослуживцы по кавалергардскому полку, составившие костяк гетманского конвоя, а также украинские помещики,

сформировавшие Полтавский конный партизанский отряд, который позднее слился с гетманским конвоем.

Избрание гетмана Булгаков в «Белой гвардии» прокомментировал с нескрываемой иронией: «В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на сцене веселой, боевой колонной и вел счет рук – шароварам крышка, будет Украина, но Украина «гетьманская», – выбирали «гетьмана всея Украины»… по какой-то странной насмешке судьбы и истории, избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора».

Скоропадский провозгласил создание «Украинской Державы», находившейся в полной зависимости от поддержки Центральных держав. СВ. Петлюра сразу по возвращении в Киев из-за неприятия австро-германской оккупации вышел в отставку и возглавил Всеукраинский земский союз. Он резко критиковал политику гетмана, восстановившего помещичье землевладение и 12-часовой рабочий день и преследовавшего демократические организации. В начале июля Петлюра был арестован. Его выпустили из Лукьяновской тюрьмы 12 ноября, по требованию социалистов, вошедших в коалиционное правительство гетмана, в самый канун большого антигетманского восстания. Все эти события Булгаков довольно точно описал в «Белой гвардии».

Его возглавили бывшие руководители Центральной рады – СВ. Петлюра и писатель В.К. Винниченко, лидеры разных фракций украинских социал-демократов. 14 ноября они образовали Украинскую Директорию (третий руководитель Центральной рады, историк М.С. Грушевский, в нее не вошел), причем Петлюра стал главой армии Директории (головным атаманом), а Винниченко – главой правительства.

К личности Петлюры Булгаков относился сугубо отрицательно и с иронией писал о нем в фельетоне «Киев-город»: «Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильевич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли». Он считал вождя украинского национального движения фигурой несерьезной, во многом мифической: «…В городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выписать из камеры № *666* содержащегося в означенной камере преступника… Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование – Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя,

а также городские газеты периода декабря 1918 – февраля 1919 годов называли на французский манер – Симон. Прошлое Симона было погружено в глубочайший мрак… Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза… ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года».

Кто же такой в действительности был Петлюра? Симон Васильевич Петлюра родился в 1879 году в Полтаве, в семье извозчика. Учился в духовной семинарии, потом в Харьковском университете, а закончил образование во Львовском университете в австрийской Галиции. Петлюра был одним из лидеров Украинской социал-демократической партии. В годы Первой мировой войны он состоял председателем Главной контрольной комиссии Земского союза по Западному фронту, а после Февральской революции 1917 года – председателем Украинского фронтового комитета. Осенью 1917 года Петлюра стал секретарем (министром) Центральной рады по военным делам, в конце 1917 – начале 1918 года он также был командующим войсками Центральной рады, но ушел с этого поста незадолго до занятия Киева советскими войсками. После возвращения в Киев Центральной рады вместе с австро-германскими войсками в марте 1918 года Петлюра вышел в отставку и на первом киевском губернском земском собрании был избран председателем киевской земской управы, а впоследствии – председателем управы Всеукраинского земского союза. 11 августа 1918 года Петлюра был арестован по распоряжению правительства гетмана Скоропадского. В начале ноября 1918 года гетман освободил Петлюру из заключения. В тот момент Скоропадский, осознавший, что в связи с начавшейся в Германии революцией немцы с Украины уйдут, лихорадочно искал поддержки со стороны деятелей любых политических направлений, вплоть до большевиков, и наивно рассчитывал привлечь Петлюру на свою сторону. 14 ноября 1918 года в Белой Церкви Петлюра обнародовал воззвание о восстании против Скоропадского и вместе с писателем Владимиром Винниченко создал Директорию Украинской Народной Республики – коллективный правительственный орган из представителей оппозиционных режиму гетмана партий. Директорией Петлюра был провозглашен головным атаманом – главнокомандующим войсками Директории, которые 14 декабря 1918 года взяли Киев.

После заключения советско-польского перемирия 12 октября 1920 года и поражения, нанесенного Красной Армией украинским войскам в ноябре 1920 года, Петлюра эмигрировал в Польшу, а впоследствии во Францию. Публиковал статьи в украинских изданиях за пределами СССР.

Публицистикой фактически и ограничивалась его политическая деятельность. Тем не менее 25 мая 1926 года Симон Васильевич был убит еврейским поэтом и анархистом Самюэлем Шварцбардом, часовым мастером по основной специальности и бывшим бойцом бригады Григория Котовского. Он мстил за еврейские погромы, проводившиеся украинскими войсками. В октябре 1927 года убийца Петлюры был оправдан французским судом присяжных.

Булгаков, будучи противником отделения Украины от России, негативно относился к деятельности и личности Петлюры. В романе он, среди прочего, именуется «земгусаром» – презрительная кличка, которой фронтовые офицеры называли сотрудников Союза земств и городов, работавших в тылу по снабжению войск. Вероятно, писатель был знаком с очерком А. Павловича «Петлюра», появившимся в апреле 1919 года в ростовском журнале «Донская волна». Его автор говорит о неясности прошлого своего героя: «…Воспитывался, если не ошибаюсь, в семинарии или вообще в каком-то духовном учебном заведении, затем учился в Харьковском университете и закончил образование, кажется, в Австрии». Павлович передает и широко распространившиеся противоречащие друг другу слухи о нем.: «Петлюра поднял восстание против гетмана!» – «Петлюра – мятежник! Петлюра – большевик!» – «Петлюра в Полтаве, Петлюра в Киеве, Петлюра в Фастове». – «Везде он воодушевляет войска, везде он произносит речи. И между тем никто не видит и не знает Петлюру… Петлюра нечто мифическое». Автор очерка признавал, что если настроение петлюровского войска «все же стало клониться к большевизму – то сдержать этого явления Петлюра при всем желании не мог». Вместе с тем Павлович относился к головному атаману, который тогда, весной 1919 года, еще не был повержен, с уважением и без антипатии, считая Симона Васильевича «умным человеком» и «честным революционером», не повинным, в частности, в еврейских погромах, творимых его солдатами, которых Петлюра был не в состоянии обуздать, хотя и расстрелял впоследствии атамана Семесенко, организатора нашумевшего погрома в Проскурове в феврале 1919 года, вскоре после оставления войсками УНР Киева. Тогда евреев убивали исключительно холодным оружием, чтобы не тратить дефицитных патронов. Вместе с тем надо признать, что еврейские погромы на Украине и вообще в «черте оседлости» творили военнослужащие всех противоборствующих армий.

Точно таким же образом Булгаков в «Белой гвардии» говорит о непроясненности прошлого головного атамана и приходит к одинаковому с Павловичем выводу: «Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не

было этого Симона вовсе на свете… Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года». Подобно автору очерка в «Донской волне», Булгаков перечисляет противоречивые слухи о местонахождении и внешности главы Директории: «Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы… Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза… Петлюра мае резиденцию в Билой Церкви. Теперь Била Церковь буде столицей… Он в Виннице… Петлюра в Харькове… Петлюра в Бельгии…» Петлюра здесь наделен сходством с дьяволом, у которого по традиции неопределимая внешность и способность одновременно находиться в разных удаленных друг от друга местах. Булгаков, в отличие от Павловича, совсем не считал Петлюру умным человеком и честным революционером, вдоволь насмотревшись на плоды его деятельности. В окончании «Белой гвардии», не опубликованном в свое время из-за закрытия журнала «Россия», Петлюра в сне Алексея Турбина уподоблялся нечистой силе, исчезающей на рассвете с первым пением петухов: «Петурра!.. Петурра… Петурра… храпит Алексей… Но Петурры уже не будет… Не будет, кончено. Вероятно где-то в небе петухи уже поют, предутренние, а значит, вся нечистая сила растаяла, унеслась, свилась в клубок в далях за Лысой Горой (место шабаша ведьм под Киевом, согласно славянской мифологии. – ***Б.С.)*** и более не вернется. Кончено». Связь Петлюры с потусторонним миром подчеркивается в булгаковском романе и номером камеры, из которой его освободили, что навлекло несчастье на город. Номер этот – *666,* «число Зверя», связанное в Апокалипсисе с антихристом. Здесь лидер украинского национального движения уподоблен даже не просто мифу, а нечистой силе, исчезающей на рассвете с первым пением петухов (позднее в «Мастере и Маргарите» вот так же исчезают Гелла и Варенуха, оставляя в покое несчастного Римского).

Не получив поддержки со стороны Англии и Франции, Петлюра, в отличие от Юзефа Пилсудского в Польше, так и не смог выполнить миссию общенационального лидера – создателя жизнеспособного Украинского государства. Пилсудскому еще в годы Первой мировой войны удалось создать три бригады польских легионов в составе австрийской армии, так что после окончания Первой мировой войны Польское государство имело под рукой достаточно многочисленную и боеспособную армию. Украинские же легионы австрийской армии были немногочисленны, втрое уступая польским легионам. Кроме того, в отличие от польских легионеров, украинские легионеры не имели самостоятельных бригад, а побатальонно включались в обычные австрийские бригады и дивизии. В тот момент, когда происходило действие булгаковского романа, украинские легионеры

как раз изнемогали в боях с польской армией в Восточной Галиции. В Киеве же Петлюра боеспособных украинских войск почти не имел. Формально украинизировавшиеся соединения русского Юго-Западного фронта были украинскими только по названию, воевать ни с кем не желали и расходились по домам. Из тех легионеров, что оказались в русском плену, Евген Коновалец как раз и создал наиболее боеспособную часть украинской армии, – батальон, а потом полк сечевых стрельцов, но это была капля в море. На судьбе украинской государственности самым негативным образом сказалось и то, что Петлюра не обладал ни военным опытом, ни военным талантом Пилсудского.

Собственно украинская культура, в отличие от польской, до 1917 года существовала лишь несколько десятилетий, причем и общегосударственная украинская идея не смогла получить необходимой поддержки у населения. Большинство крестьян объединялись в отряды или даже просто уголовные банды, преследовавшие лишь местные интересы и часто в равной мере враждебные всем – и белым, и красным, и немцам, и полякам, а часто – и самому Петлюре. Булгаков понимал, что миф Петлюры подкрепляла крестьянская ненависть к помещикам, офицерам и поддерживавшим их германским оккупантам.

Петлюра был единственным из украинских политиков, кто обладал хоть какой-то харизмой и пользовался популярностью среди масс украинского населения. В то же время он вызывал столь же сильную ненависть среди русского населения Украины, выступавшего против ее независимости, а также со стороны пробольшевистски и анархистски настроенной части украинского населения. В «Киев-городе» Булгаков подчеркнул, что надежды на возвращение Петлюры, которые все еще питает часть украинцев, тщетны: «… За что молятся автокефальные (священники Украинской автокефальной православной церкви. – ***Б.С.)*** – я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать».

Не получив поддержки со стороны Англии и Франции, СВ. Петлюра, в отличие от польского национального лидера Юзефа Пилсудского в Польше, так и не смог выполнить миссию общенационального лидера – создателя жизнеспособного Украинского государства. Булгаков воочию видел плоды усилий «честного революционера». Он понимал, что миф Петлюры подкрепляла крестьянская ненависть к помещикам, офицерам и поддерживавшим их германским оккупантам. В то же время автор «Белой гвардии» признавал, что петлюровские войска легко склонялись к

большевизму, и в булгаковском романе такая «оборачиваемость» украинских солдат подчеркивается не только красным цветом шлыков их папах (такие шлыки петлюровцы действительно носили), но и тем, что Алексей Турбин в финале видит во сне среди большевиков тех самых петлюровцев, которые преследовали его на Мало-Провальной и чуть не убили в день падения гетмана.

Точно так же и парад петлюровцев в Киеве в «Белой гвардии» представлен как некое наваждение, которому скоро суждено исчезнуть: «То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам – то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад. Первой, взорвав мороз ревом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия. В синих жупанах, в смушковых, лихо заломленных шапках с синим верхом шли галичане. Два двуцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое сукно».

Не случайно колонны петлюровцев сравниваются с тучей, змеей и мутными реками.

К другому лидеру Директории, писателю Владимиру Винниченко, Булгаков относился столь же иронически, как и к Петлюре, что отразилось в его характеристике в «Белой гвардии»: «Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами – своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале восемнадцатого года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга, не медля ни секунды, назвали изменником».

Иронизировал Булгаков в «Киев-городе» и над украинским языком, который стремились ввести на Украине в качестве государственного Петлюра и Винниченко и который сохранялся в качестве преобладающего и в 20-е годы уже на Советской Украине: «Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо. Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать. Нельзя же, в самом деле, отбить в слове «гомеопатическая» букву «я» и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: «голярня», «перукарня», «цирульна» или просто-напросто «парикмахерская». Мне кажется, что из четырех слов – «молошна», «молочна», «молочарня» и

«Молошная» – самым подходящим будет пятое – молочная. Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав – можно установить единообразие. По-украински, так по-украински. Но правильно и всюду одинаково». На самом деле вся киевская интеллигенция и многие горожане говорили на русском языке. Украинский просторечный говор, но с большими вкраплениями русских слов, преобладал только на киевских окраинах. Поэтому основная часть киевского населения, и особенно беженцы из России, за счет которых численность горожан увеличилась с 400 до 700 тыс. человек, воспринимала украинизацию весьма болезненно. И особое раздражение вызывало введение украинского языка гетманом Скоропадским, который сам спешно начал учить украинский только после большевистского переворота.

Тем любопытнее, что сходные с булгаковскими мысли о развитии украинского языка и его соотношения с русским, равно как и о перспективах украинской государственности высказывал не кто иной как… сам гетман Скоропадский. В мемуарах, написанных в эмиграции по горячим следам событий, Павел Петрович утверждал: «Великороссы совершенно не признают украинского языка, они говорят: «Вот язык, на котором говорят в деревне крестьяне, мы понимаем, а литературного украинского языка нет. Это – галицийское наречие, которое нам не нужно, оно безобразно, это набор немецких, французских и польских слов, приноровленных к украинскому языку». Бесспорно, что некоторые галичане говорят и пишут на своем языке; безусловно верно, что в некоторых министерствах было много этих галичан, которые досаждали публике своим наречием, но верно и то, что литературный украинский язык существует, хотя в некоторых специальных вопросах он и не развит. Я вполне согласен, что, например, в судопроизводстве, где требуется точность, этот язык нуждается в еще большем развитии, но это частности. Вообще же это возмутительно-презрительное отношение к украинскому языку основано исключительно на невежестве, на полном незнании и нежелании знать украинскую литературу.

Великороссы говорят: «Никакой Украины не будет», а я говорю: «Что бы то ни было, Украина в той или иной форме будет. Не заставишь реку идти вспять, так же и с народом, его не заставишь отказаться от его идеалов. Теперь мы живем во времена, когда одними штыками ничего не сделаешь». Великороссы никак этого понять не хотели и говорили:

«Все это оперетка», – и довели до Директории с шовинистическим украинством со всей его нетерпимостью и ненавистью к России, с радикальным поведением, насаждением украинского языка и, вдобавок ко

всему этому, с крайними социальными лозунгами. Только кучка людей из великороссов искренне признавала федерацию».

Булгаков тоже готов был согласиться лишь на федерацию Украины с Россией, при условии, что они останутся в составе единого государства, в данном случае – СССР. Гетман же федерацию мыслил только с будущей небольшевистской Россией. И, между прочим, «пошлой опереткой» в «Белой гвардии» называет Тальберг и Центральную раду, и гетманское правление. Гетман наверняка читал «Белую гвардию» и, вполне возможно, оттуда позаимствовал слово «оперетка» применительно к Директории, хотя свои собственные начинания Павел Петрович наверняка не считал. Вообще же с опереткой попытки возрождения украинского языка и государственности называли потому, что русская образованная публика традиционно связывала украинское с оперетками и операми, вроде «Запорожца за Дунаем» украинского певца и композитора Семена Степановича Гулака-Артемовского, впервые поставленного в Мариинском театре в 1863 году, где главную мужскую партию Карася исполнил сам Гулак-Артемовский. Не случайно одного из героев «Белой гвардии» – офицера-артиллериста, а в прошлом студента Степанова шутливо зовут Карасем, хотя на запорожца-подкаблучника, в отличие от героя оперы, он совсем не похож. Оперу Гулак-Артемовского вполне можно было бы назвать и опереттой, поскольку это комическая опера, и грань, отделяющая ее от собственно оперетты, достаточно условна. Правда, впоследствии выяснилось, что музыка «Запорожца за Дунаем» заимствована из оперы Моцарта «Похищение из сераля», но популярности оперы у украинской и русской публики это не слишком повредило.

К моменту Антигетманского восстания в распоряжении Скоропадского под ружьем находилось около 65 тысяч штыков. Но немногие боеспособные части гетманских войск (Запорожская и Серожупанная дивизии, Черноморский кош и Сечевой отряд) вскоре перешли на сторону Директории, которую возглавляли Петлюра и Винниченко. На сторону Украинской Народной Республики перешел также Подольский кадровый корпус, передавший петлюровцам большие склады вооружения и одежды. Армию Петлюры поддерживали многочисленные отряды крестьян-повстанцев, имевшие слабое представление о воинской дисциплине, фактически не контролировавшиеся вождями восстания и проявлявшие особую жестокость по отношению к помещикам и евреям. Вспомним, как у Булгакова в романе «показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей». На стороне Скоропадского оставались лишь небольшие по численности кадры украинской армии, Офицерские

дружины, Сердюкская дивизия, в конце концов также присоединившаяся к петлюровцам, да Инструкторская офицерская школа.

Украинская Директория 17 ноября заключила соглашение с немецким командованием о нейтралитете немецких войск, за что им был обещан беспрепятственный уход с Украины. Украинские войска не должны были занимать Киев до окончания эвакуации немецких войск и не должны были препятствовать продвижению немецких эшелонов по украинским дорогам. Гетману же был предъявлен ультиматум о капитуляции. 18 ноября под Киевом, у станции Мотивиловка, галицийцами-сечевиками была разбита 1-я Офицерская дружина, высланная гетманом против Петлюры. Находившийся при дружине дивизион Лубенского Сердюкского конно-казачьего полка во главе со своим командиром ротмистром Генштаба Юрием Отмарштейном перешел на сторону повстанцев. 20 ноября газета «Киевская мысль» сообщала: «Освобожденный недавно из тюрьмы по приказу гетмана Петлюра… поднял на Украине восстание против законной власти. С этой целью он занял города Белая Церковь и Бердичев и двинулся с приставшими к его отрядам бандами большевистской черни на Фастов и Киев». Правительство Скоропадского, которое на Украине практически никто не поддерживал, лихорадочно заметалось, пытаясь достичь соглашения с кем угодно: с немцами, Антантой, большевиками, Директорией или, наконец, с Добровольческой армией, поскольку в Киеве осело немало офицеров русской армии, сочувствовавших белым.

Как же жил Михаил Булгаков в Киеве в период гетманщины? Вот как описывает жизнь в квартире на Андреевском спуске в 1918–1919 годах Л.С. Карум, не слишком симпатизировавший Михаилу Афанасьевичу еще и до публикации романа «Белая гвардия», после которого они стали лютыми врагами: «В большой булгаковской квартире осталась молодежь (Варвара Михайловна вышла замуж за киевского врача Воскресенского и переехала вместе с младшей дочерью Лелей на квартиру к мужу): Михаил с женой, дочери – Вера, Варвара с мужем, два сына, Николай, только что поступивший на медицинский факультет, и Иван, гимназист 8-го класса. Оставался еще один из племянников, Константин Петрович Булгаков, другой племянник Николай уехал в Японию (их отец, Петр Иванович Булгаков, брат Афанасия Ивановича Булгакова, был священником русской миссии в Токио. – ***Б.С.)***. Вся молодежь решила, что будет жить коммуной. Наняли кухарку. Каждый должен был вносить в хозяйство свой пай. Хозяйкой коммуны выбрали Варвару… Я встретился с Булгаковым во второй раз. После Октябрьской революции, с закрытием земства, Михаил приехал в Киев и занялся врачебной практикой… Он имел

представительную наружность, был высокого роста, широк в плечах, узок в талии. Фигура – что надо, на ней прекрасно сидел бы фрак. Дома он отдыхал. Видно было, что привык к поклонению, пел, читал, музицировал. У него был недурной голос. Ежедневно он пел, аккомпанируя себе на пианино, арию и куплеты Мефистофеля из любимой своей оперы «Фауст», пел арию Дона Базилио из «Севильского цирюльника». Читал и перечитывал Гоголя и Диккенса, особенно восторгаясь «Записками Пиквикского клуба», которые он считал непревзойденным произведением…

Практика врачебная у Булгакова наладилась хорошо. На передней двери на улицу он соорудил таблицу со своей фамилией, написанную им самим масляными красками, с часами своего приема… Булгаков умело обставил это дело, принимая больных вместе с «ассистентом». Для ассистентской работы была приспособлена Тася (Т.Н. Лаппа. – ***Б.С.)***. Ей был дан больничный халат. После приема Тася выполняла всю грязную работу: мыла посуду, инструменты, выносила ведра и ватные тампоны – одним словом, чистила все, что оставалось в кабинете врача по венерическим болезням.

Иногда вся коммуна делала в складчину вечеринку. Приглашались знакомые, больше молодежь. Но были и пожилые. Михаил был в центре внимания и веселья. Он ставил живые картинки и шарады. Помню одну из таких шарад. Первый слог был «бал». Танцевали. Второй слог «ба». Михаил прочел кусочек из комедии Грибоедова «Горе от ума», где был стих: «Ба, знакомые все лица». Наконец, третий слог «чан». Михаил притащил из кухни чан и стал делать вид, что в нем что-то варит. Наконец, все вместе – Балбачан. Эта фамилия всем киевлянам была хорошо известна. В это время происходила острая борьба Петлюры с гетманом. Балбачан был одним из петлюровских атаманов (в «Белой гвардии» этот атаман выведен как полковник Болботун – объект шуток со стороны жителей Города: «Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе? – Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит…». Подлинная же фамилия прототипа была Болбачан – ***Б.С.)***… Так коммуна и жила. Каждый в ней работал или учился в своей области. И все было бы относительно спокойно, если бы ночью не случалось странное волнение и шум. Вставала Тася, одевалась, бежала в аптеку. Просыпались сестры, бежали в комнату к Михаилу. Почему? Оказалось, что Михаил был морфинистом, и иногда ночью после укола, который он делал себе сам, ему становилось плохо, он умирал. К утру он выздоравливал, но чувствовал себя до вечера плохо. Но после обеда у него был прием, и жизнь восстанавливалась. Иногда же

ночью его давили кошмары. Он вскакивал с постели и гнался за призраками. Может быть, отсюда и стал в своих произведениях смешивать реальную жизнь с фантастикой».

Вполне возможно, что состояние наркотического бреда передано в описании болезни Алексея Турбина: «Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества… Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступавшей… Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: – «Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь – страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь – только лишнее бремя». – «Ах ты! – вскричал во сне Турбин. – Г-гадина, да я тебя». – Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал».

Хотя, подчеркнем, прямо о морфинизме Алексея Турбина ничего не говорится, и по авторскому замыслу он никак не должен восприниматься читателями как наркоман, хотя после ранения ему и колют морфий в качестве обезболивающего. Вообще Турбин в романе смотрится гораздо симпатичнее, чем, наверное, выглядел Булгаков в глазах окружающих в 1918–1919 годах, особенно тогда, когда употреблял морфий.

Т.Н. Лаппа свидетельствует, что в Киеве Булгаков продолжал употреблять этот коварный наркотик, к которому пристрастился еще будучи земским врачом в селе Никольское Смоленской губернии в 1916 году. Он заразился, когда делал трахеотомию больному дифтерией ребенку, и чтобы справиться с болезненными последствиями прививки, стал прибегать к наркотикам. Татьяна Николаевна вспоминала, что после возвращения в родной город «в первое время ничего не изменилось, – он по-прежнему употреблял морфий, заставлял меня бегать в аптеку, которая находилась на Владимирской улице, у пожарной каланчи. Там уже начали интересоваться, что это доктор так много выписывает морфия. И он, кажется, испугался, но своего не прекратил и стал посылать меня в другие аптеки.

Мать его, конечно же, ничего не знала об этом. И тогда я обратилась к Ивану Павловичу Воскресенскому за помощью. Он посоветовал вводить Михаилу дистиллированную воду. Так я и сделала. Уверена, что Михаил понял, в чем дело, но не подал вида и принял «игру». Постепенно он

избавился от этой страшной привычки. И с тех пор никогда больше не только не принимал морфия, но и никогда не говорил об этом». Думается, Булгаков очень болезненно реагировал на то, что позднее в романе Юрия Слезкина «Девушка с гор», о котором мы еще поговорим, врач Алексей Васильевич, прототипом которого послужил Михаил Афанасьевич, показан в прошлом наркоманом.

В последний момент гетман начал формировать добровольческие части из офицеров в безнадежной попытке отразить наступление на Киев армии Директории. В связи с этим Булгакову впервые пришлось принять непосредственное участие в Гражданской войне. В последний день гетманства Скоропадского, 14 декабря, он был то ли мобилизован в армию Скоропадского, то ли, что более вероятно, пошел в офицерские и юнкерские формирования в качестве военного врача добровольно. Татьяна Николаевна в разное время по-разному вспоминала об этом. Как свидетельствуют мемуаристы, в частности писатель Роман Гуль, гетман действительно издал приказ о мобилизации офицеров еще в ноябре, когда стал ясен скорый крах Германии в результате начавшейся революции, однако откликались на эту мобилизацию лишь те, кто реально хотел противостоять Петлюре и питал надежду потом присоединиться к Деникину. Очевидно, среди них был Булгаков, вместе с некоторыми своими друзьями гимназических и студенческих лет.

Т.Н. Лаппа вспоминала: «Пришел Сынгаевский (Николай Сынгаевский, гимназический приятель Булгакова, прототип Мышлаевского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». – ***Б.С.)*** и другие Мишины товарищи и вот разговаривали, что надо не пустить петлюровцев и защищать город, что немцы должны помочь… а немцы все драпали. И ребята сговаривались на следующий день пойти. Остались даже у нас ночевать, кажется. А утром Михаил поехал. Там медпункт был… И должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы».

Сам Булгаков дважды отразил свое участие в защите города от петлюровцев – в рассказе 1922 года «Необыкновенные приключения доктора» и в романе «Белая гвардия», писавшемся в 1922–1924 годах.

В начале февраля 1919 года под натиском Красной Армии армия Директории оставила Киев без боя. 5 февраля в город вступили красные. Восстание атамана Никифора Григорьева, изменившего Директории и перешедшего со своими войсками к красным, не позволило частям УНР дальше удерживать линию Днепра и вынудило их оставить Киев без боя. Кстати, именно григорьевцы отличались особо крупными и беспощадными

еврейскими погромами. Слабость украинской власти проявлялась как в разногласиях между партиями и политиками (к тому времени Директорию покинул Владимир Винниченко), так и в их неспособности установить контроль над различными «батьками»-атаманами, с необыкновенной легкостью менявшими политическую ориентацию – украинскую на большевистскую, потом большевистскую – на анархистскую или «зеленую».

При отступлении из Киева украинские власти провели мобилизацию, призвав и Булгакова как военного врача. Михаил Афанасьевич к идее независимой украинской государственности относился, мягко говоря, прохладно и никакого намерения связывать свою судьбу с украинской армией, покидать родной дом и уходить в неизвестность не имел. К тому же правительство Директории плохо контролировало свое разношерстное воинство, среди которого было немало и чисто уголовных элементов. Начались еврейские погромы, людей на улицах часто убивали без суда. Не забылись и расправы над офицерами в декабре 1918 года. Вот как рассказывается о петлюровской мобилизации в «Необыкновенных приключениях доктора»: «Происходит что-то неописуемое… Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава богу. Слава богу. Слава…

Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие и пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил».

Т.Н. Лаппа передает этот драматический случай несколько иначе и утверждает, со ссылкой на Михаила, что петлюровцы вслед ему все-таки не стреляли, хотя Булгаков действительно пережил тогда сильное потрясение: «И вот петлюровцы пришли, и через какое-то время его мобилизовали. Однажды прихожу домой – лежит записка: «Приходи туда-то, принеси то-то». Я прихожу – на лошади сидит. Говорит: «Мы уходим сегодня в Слободку – это, знаете, с Подола есть мост в эту Слободку, – приходи

завтра, за мостом мы будем», – еще что-то ему принести надо было. На следующий день я прихожу в Слободку, приношу бутерброды, кажется, папиросы, еще что-то. Он говорит: «Сегодня, наверное, драпать будут. Большевики подходят». А они (т. е. петлюровцы. – ***Б.С.)*** большевиков страшно боялись. Я прихожу домой страшно расстроенная: потому что не знаю, удастся ли ему убежать от петлюровцев или нет. Остались мы с Варькой в квартире одни, братья куда-то ушли. И вот в третьем часу вдруг такие звонки!.. Мы кинулись с Варькой открывать дверь – ну, конечно, он. Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было ужасное – нервное такое. Его уложили в постель, и он после этого пролежал целую неделю, больной был (как и Алексей Турбин в «Белой гвардии», только у Булгакова болезнь была следствием нервного потрясения, а не ранения. – ***Б.С.)***. Он потом рассказал, что как-то немножко поотстал, потом еще немножко, за столб, за другой и бросился в переулок бежать (как герой «Необыкновенных приключений доктора». – ***Б.С.)***. Так бежал, так сердце колотилось, думал, инфаркт будет. Эту сцену, как убивают человека у моста, он видел, вспоминал».

Характерно, что как приход петлюровцев в город, так и их уход сопровождаются убийством еврея.

В первоначальном наброске «Белой гвардии» – отрывке «В ночь на 3-е число», Булгаков воспринимает уход петлюровцев из Киева как избавление города от нечистой силы, как предвестие его возрождения: «…Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой… Осталась позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах».

Вступление Красной Армии в Киев 5 февраля 1919 года стало седьмой сменой власти в городе, начиная с Февральской революции. Красный террор стал еще более жестоким по сравнению с началом 1918-го. В 1919 году количество расстрелянных в Киеве большевиками, согласно различным оценкам, приводимым в книге известного историка С.П. Мельгунова «Красный террор в России», вышедшей в Берлине в 1923 году, составило от 3 до 12 тысяч человек.

Такой размах террора даже вызвал обеспокоенность вышестоящих инстанций. Из Москвы прибыла специальная комиссия, временно приостановившая расстрелы. Впрочем, они возобновились в июле – августе, когда положение красных в районе Киева ухудшилось. В мае –

июле 1919 года вновь восстал атаман Григорьев, теперь уже против красных. К нему присоединились многие советские украинские части. Хотя восстание и было подавлено, но многие части и соединения украинской Красной Армии оказались разложены. Советские войска на Украине оказались небоеспособны в момент начала наступления армий Деникина и Петлюры. К последнему присоединилась часть григорьевцев во главе с бывшим начальником штаба Григорьева Юрием Иосифовичем Тютюнником.

Перед тем как в Киеве произошли восьмая и девятая смены власти в Киеве. В августе 1919 года на Киев с юго-запада наступали украинские части, а с востока и севера – войска Добровольческой армии. Первыми к Киеву со стороны р. Ирпень подошли петлюровцы. 30 августа они ворвались в киевские предместья, и войска 12-й армии красных вынуждены были оставить город. Вот что говорилось в телеграмме реввоенсовета 12-й армии председателю Реввоенсовета республики Л.Д. Троцкому: «30 августа вынужден оставить город. Отправились оттуда, когда петлюровцы зашли в предместье Пост-Волынский и снаряды тяжелой артиллерии стали ложиться на окраины. Дальнейшее сопротивление было невозможным… Приняты меры к планомерному отходу… Оставленный Киев был запружен отходящими войсками. Все шли в порядке. К вечеру с парохода был виден большой пожар и рвущиеся снаряды петлюровцев».

В то же время деникинская Добровольческая армия немало способствовала отступлению большевиков из Киева, так как угрожала перерезать последнюю железнодорожную ветку Киев – Курск, по которой еще можно было уйти из города на север.

29 августа петлюровцы вышли к реке Ирпень и разбили на юго-западных подступах к Киеву одну из бригад 44-й стрелковой дивизии Николая Александровича Щорса, который на следующий день был убит. Утром 30 августа украинские войска под командованием генерала Антона Кравса, состоявшие из галицийцев и запорожцев, вошли в Киев и к вечеру заняли весь город. Одновременно на левом берегу деникинцы заняли Дарницу. На утро 31 августа был назначен парад, который должен был принимать головной атаман Петлюра. Однако парад пришлось отменить, поскольку уже днем в Киеве появились кавалерийские разъезды терских казаков, приданных 7-й пехотной дивизии генерала Николая Эмильевича Бредова, переправившиеся от Дарницы. Начались переговоры, на которых Кревс заявил, что Киев освободила Галицкая армия, которая, как и деникинцы, воюет против общего врага. Бредов ответил: «Киев – мать городов русских и украинским никогда не был и не будет!» Деникинцы,

пользуясь своим численным перевесом, начали разоружать петлюровцев. К тому же Петлюра, наивно рассчитывавший достичь соглашения с Деникиным, запретил открывать огонь по белым. По соглашению, заключенному между Кревсом и Бредовым, город перешел под полный контроль белой армии, а петлюровские войска отошли обратно за реку Ирпень. Таким образом, в один день власть в Киеве сменилась дважды.

О. Василий Зеньковский, бывший министр вероисповеданий в правительстве Скоропадского, находившийся в тот момент в городе, вспоминал: «Петлюровские войска вошли в Киев с юга утром, т. е. часов на 3–5 раньше добровольческих отрядов. Они заняли центр города, стали продвигаться к Печерску; на городской думе появился украинский флаг. В первое соприкосновение с добровольческими отрядами петлюровцы вошли на Печерске. По моим сведениям, Петлюра во что бы то ни стало хотел удержать за собой Киев, но решил действовать осторожно и даже идти на разные соглашения с добровольцами – он хорошо сознавал, что большевики отошли от Киева только потому, что боялись быть отрезанными с севера. Петлюровские отряды, соприкоснувшиеся с добровольческими частями, согласно приказу, отошли назад, добровольческие части, естественно, более восторженно встреченные русским населением, чем петлюровцы, спустились на Крещатик, к городской думе и водрузили рядом с украинским флагом национальный русский флаг. Небольшое время оба флага висели рядом, знаменуя некое единение двух антибольшевистских сил. Но тут-то и произошло печальное событие срыва украинского флага; между отрядами, находившимися друг против друга, вспыхнула беспорядочная перестрелка, которая быстро стихла. Украинцы отступили на Лукьяновку (т. е. к югу, по направлению Киево-Ковельской железной дороги); дня два они еще были в Киеве, но из главной ставки Добров. армии пришел категорический приказ прервать переговоры с Петлюрой. Соглашения, которое так легко было достигнуть в это время (украинцы, дорожа тем, чтобы хотя бы «символически», но без власти, остаться в Киеве, пошли бы на самые принципиальные уступки), достигнуто не было – так была совершена грубейшая трагическая ошибка. По существу, самое соглашение, которое неизбежно должно было покоиться на унижении украинцев (ибо оставить Киев в руках украинцев – чего они добивались, обещая в дальнейшем доброжелательный нейтралитет, – действительно было невозможно для «добровольцев» ввиду огромного стратегического значения Киева как крупного железнодорожного узла), но его нужно было бы добиться, чтобы иметь непосредственное соприкосновение с украинцами именно в Киеве. Для

этого нужно было создать и максимально удерживать какую-нибудь «паритетную» комиссию, не владея вполне Киевом и не отдавая его всецело украинцам. Такое положение продолжилось бы не более нескольких месяцев – одна или другая сторона должна была бы уйти. А между тем за это время можно было бы добиться нового соглашения с Петлюрой, быть может заключить даже серьезный союз и даже, в случае укрепления в других частях фронта, отдать им Киев, самим укрепившись непосредственно за Киевом (Дарница). Но в ставке Деникина уже был провозглашен лозунг «Единой Неделимой России» – лозунг верный, но демагогически направленный против украинцев – говорю демагогически, потому что не все украинские группы к тому времени стояли так решительно за «самостийность».

Вскоре, 6 ноября 1919 года Галицийская армия перешла на сторону белых, но в боях не участвовала, расположившись в районе Одессы. К тому времени до 90 % ее личного состава были больны тифом. Оправдывая этот поступок, ее командующий генерал Мирон Тарнавский утверждал, что именно петлюровцы виновны в том, что не удалось удержать Киев, поскольку целая дивизия из петлюровских войск тогда перешла к Деникину, а в Киеве «население было за добровольцев». Как справедливо пишет украинский публицист Александр Карпец: «Трагедия Украины была в том, что не нашлось своего Ленина, Пилсудского, Маннергейма», т. е. тех, кто мог бы построить жизнеспособное Украинское государство. Ни Грушевский, ни Винниченко, ни Петлюра, как показала история, на эту роль не годились. Беда была еще в том, что наиболее жизнеспособные украинские политические и военные структуры были созданы в Восточной Галиции, которая к середине 1919 года была полностью занята поляками. В Восточной же Украине царила анархия атаманов в сельской местности, а в крупных городах русскоязычное по преимуществу население прохладно относилось к идее независимости Украины.

Если русское население Киева приветствовало деникинских добровольцев, то украинское население, особенно «щирые украинцы» – сторонники «самостийной Украйны», по свидетельству киевлянина В. Корсака, не менее радостно приветствовали вступление в город войск Петлюры.

Деникин и другие руководители Белого движения ни на йоту не желали отступать от лозунга «единой и неделимой России». В начале октября 1919 года между войсками УНР и ВСЮР вспыхнули бои, складывавшиеся неудачно для украинских войск. Петлюра был вынужден бросить против Деникина все свои части, действовавшие ранее против

Красной Армии, и фактически открыл дорогу советской фастовской группе к Киеву. В результате в октябре советские войска предприняли наступление на город. Член Зафронтбюро КП(б) У.И. Гальперин, прибывший в Киев еще при деникинцах, описывает эти бои: «Первым вошел 1-й Богунский полк, который, невзирая на его обстрел, двигался вперед. Наутро выяснилось, что много белых сделало засаду на Крещатике и стреляли из окон, что и заставило поставить на каждой перекрестной дороге пулеметы. Вечером 16-го было приказано отступить всему обозу до Святошино, где и я с трудом под грохот наших орудий оставил город… 14.Х. вошли наши войска, а 16-го отступили ввиду стрельбы из окон».

А вот описание тех же событий с другой стороны, в воспоминаниях директора киевского музея Г.К. Лукомского: «Снова подошли от Коростеня (забегая кругом) большевики и взяли 1-го октября (14 октября по н. ст. – ***Б.С.)*** Киев. Бои были горячие. Дошли до Печерска советские войска. Бой в Мариинском саду решил участь коммунистов в невыгодную сторону. Два дня город был без власти, и ни Советов, и ни Добрармии… Грабежи и погромы не прекращались. Стоны и вопли доносились отовсюду. По ночам в дома на Кузнечном пер., на Васильевской являлись чеченцы и угрожали погромами. Все население дома собиралось во дворе и начинало выть; набат, крики. По ветру доносившиеся стоны пятитысячной толпы, казалось, при шуме тополей, уносили сотни убиваемых жизней. Первым уехал Драгомиров на чудесном Делонэ-Бэльвия. Попадания большевиков были очень метки. Все окна № 7 по Кузнечному, где он жил, и в д. № 9 по Терещенковской, где была штаб-квартира Командующего, – разбиты. Много убито было офицеров в боях 1–2 октября.

Похороны – мрачные, тревожные. Но отбросили на этот раз большевиков. Ненадолго, впрочем».

Так прошли десятая и одиннадцатая смены власти в Киеве 14–16 октября. Затем, в результате нового наступления красных, белые были окончательно изгнаны из города 14 декабря 1919 года, в период уже обозначившегося краха Вооруженных сил Юга России. Однако смена властей в городе на двенадцатой не завершилась. В апреле 1920 года началась советско-польская война, причем союзником поляков выступало правительство Петлюры. 7 мая польские и украинские войска заняли Киев, чему способствовал переход на их сторону двух бригад галицийской армии, ранее сражавшихся на стороне красных. В очерке «Киев-город» Булгаков описывает вступление на Украину польских войск и занятие ими Киева: «Самыми последними под занавес приехали зачем-то польские паны… с французскими дальнобойными пушками. Полтора месяца они гуляли по

Киеву. Искушенные киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали: «Большевики опять будут скоро». Все это называется «явление XIV»: в череде переворотов, воспринимавшейся Булгаковым как некое фарсовое театральное действие, первой картиной будет дореволюционная жизнь, а 14-й – появление поляков. При этом каждое явление заканчивается переворотом, первое – Февральской революцией, а последнее, четырнадцатое – окончательным, как тогда казалось Булгакову, приходом в город большевиков. Переворот же, происшедший в Киеве 7 мая 1920 года, был по общему счету тринадцатым. Но поляки и украинские части продержались в городе недолго. 12 июня после прорыва польского фронта 1-й Конной армией Буденного Киев опять заняли красные. Это был четырнадцатый и последний при жизни Булгакова переворот в Киеве.

Последствия этого переворота запечатлел киевлянин Н. Нерадов (скорее всего, это псевдоним) в статье, опубликованной в 1925 году в пражской «Воле России»: «Летом 1920 года поляки и украинцы спешно покинули Киев и на смену им явились большевики. Прежде чем войти в город, они бомбардировали его в течение 12 дней, произведя сильные разрушения, особенно на Печерске. Киевляне, измученные до крайности беспрерывной сменой правительств, которых в Киеве побывало около двадцати двух, приняли большевиков на этот раз совершенно равнодушно, как-то безразлично. В предыдущие приходы большевики были не уверены в себе, действовали осторожно, нерешительно и хотя и производили постоянные обыски и грабежи, но гнет был более или менее выносим».

Насчет трех последних переворотов никаких сомнений быть не может: Михаил Булгаков в это время находился на Северном Кавказе и очевидцем киевских событий быть никак не мог. А вот о периоде августа-октября 1919 года свидетели в своих показаниях решительно расходятся. Т.Н. Лаппа утверждала, что Булгаков находился в Киеве безвыездно вплоть до занятия города белыми, а потом через некоторое время был мобилизован, вновь как военный врач, в Добровольческую армию и отправлен на Северный Кавказ: «И вот, как белые пришли в 1919-м, так Михаилу бумажка пришла, куда-то там явиться. Он пошел, и дали ему назначение на Кавказ… Кажется, в конце августа или начале сентября… И вот он уехал во Владикавказ… а недели через две вызвал меня телеграммой, я оставила кое-какие вещи Вере (сестре Михаила Булгакова. – ***Б.С.)*** и уехала из Киева». В другом варианте воспоминаний Татьяна Николаевна была более лаконична: «Его мобилизовали. Дали френч, сапоги, шинель и отправили во Владикавказ. Я его провожала». По словам Татьяны Николаевны, поезд, где ехал Михаил,

сделал длительную остановку в Ростове, и во время нее Булгаков успел проиграть в бильярд ее браслетку, которую обычно надевал «на счастье».

Однако воспоминания Т.Н. Лаппа вступают в противоречие со словами самого Булгакова, сказанными им П.С. Попову: «Жил в Киеве безвыездно с февраля 1918 года по август 1919 года». На допросе в ОГПУ 22 сентября 1926 года он повторил, что оставался в городе до конца августа 1919 года. Писатель досконально изучил литературу о Гражданской войне и хорошо ориентировался в датах смены различных властей в Киеве, а благодаря этому мог достаточно точно определить и сроки своего пребывания в городе. Из булгаковских показаний следует, что в конце августа он покинул город. Сделать это он мог либо с украинской, либо с Красной Армией. Добровольцы же никак не смогли бы прислать ему повестку раньше 1 сентября.

Кроме того, если допустить, что в начале сентября 1919 года Булгаков уже отправился на Северный Кавказ, то он никак не мог быть свидетелем двукратной смены властей в Киеве 14–16 октября 1919 года. В этом случае Булгаков оказывается очевидцем лишь восьми из четырнадцати киевских переворотов, которые упомянуты в «Киев-городе». Мы только что перечислили все эти перевороты и выяснили, что их было ровно четырнадцать – писатель нисколько не ошибся. При этом Булгаков совершенно точно не мог быть в Киеве во время четырех переворотов: в конце октября – начале ноября 1917 года, 13 декабря 1919 года, 7 мая и 12 июня 1920 года. Он считал себя как бы очевидцем еще двух переворотов – Февральской революции и взятия города войсками Красной Гвардии 26 января 1918 года. Если же не учитывать два переворота, происшедшие 14–16 октября 1919 года, то получается, что Булгаков находился в городе только во время восьми, а не десяти переворотов, указанных им в «Киев-городе».

Всем условиям удовлетворяет только версия, что 30 августа 1919 года будущий писатель покинул город вместе с Красной Армией. В этот день в город с одной стороны входили петлюровцы, а с другой – деникинцы, так что Булгаков вполне мог считать себя очевидцем той двойной смены власти, которая произошла в Киеве 30–31 августа. Но для того чтобы уйти из Киева 30 августа, Булгакову надо было уходить из города вместе с советскими войсками. С ними же он должен был бы 14 октября вернуться в Киев, чтобы стать свидетелем еще двух смен власти.

С красными Булгаков мог уйти только по мобилизации. В автобиографическом рассказе «Необыкновенные приключения доктора», написанном всего три года спустя, факт мобилизации главного героя в 1919

году в Красную Армию зафиксирован отчетливо. Вот как об этом повествует Булгаков:

«15 февраля.

Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На сопках Маньчжурии»), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершено невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон…

17 февраля

…Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.

21 февраля Меня уплотнили…

22 февраля

…И мобилизовали.

…марта

Конный полк

ушел воевать с каким-то атаманом…

Из пушек стреляли все утро…»

Хронология здесь наверняка искажена. Но в самом факте мобилизации Булгакова красными нет ничего невероятного. В военных врачах нуждались все враждующие стороны, а он вел частную практику, был известен в городе, возможно, даже давал соответствующее объявление с указанием адреса (ведь те же петлюровцы в феврале 1919 года знали его адрес и прислали повестку). Для того чтобы выжить, Булгаков должен был заниматься врачебной практикой и при большевиках. А вот когда на самом деле будущий писатель был мобилизован красными, нам поможет выяснить продолжение рассказа «Необыкновенные приключения доктора». После цитированных слов следует пропуск целой главы, а затем такие малопонятные на первый взгляд фразы: «6. Артиллерийская подготовка и сапоги. 7. Кончено. Меня увозят». После этого следует новый пропуск, и действие переносится на Северный Кавказ, где доктор в рядах деникинских войск в качестве начальника медицинской службы 3-го Терского конного полка принимает участие во взятии Чечен-аула, причем это событие в рассказе отнесено к сентябрю.

Писатель ДА Гиреев в свое время установил детальное совпадение данного Булгаковым в рассказе «Необыкновенные приключения доктора» описания боя за Чечен-аул и перечня участвовавших в нем частей Белой

армии с результатами позднейших исторических исследований. Здесь булгаковский доктор N в качестве начальника медицинской службы 3-го Терского казачьего полка присутствует при взятии белыми Чечен-аула, где укрепились чеченцы – сторонники имама Узуна-Хаджи, которому тогда было уже сто лет, и красные партизаны. То, что сам Булгаков непосредственно участвовал в этом бою, доказывается точностью деталей боевых действий и перечнем частей, участвовавших в сражении. Деникинские газеты того времени свидетельствуют, что в сражении за Чечен-аул действительно участвовали все названные в булгаковском рассказе части: 1-й Кизляро-Гребенский и 3-й Терский казачий (этот последний в сентябре-октябре 1919 года, возможно, побывал и в Киеве) полки и 1-й Волжский гусарский полк, а также три батареи кубанской пехоты. Булгаков сознательно сдвинул хронологию событий, отнеся в рассказе бой за Чечен-аул к сентябрю, тогда как он разыгрался 28–29 (15–16 по ст. ст.) октября 1919 года. Таким образом писатель стремился сбить с толку тех, кто попытался бы связать текст рассказа с судьбою автора и инкриминировать ему службу в Белой армии.

Тогда деникинской армии пришлось бороться с восставшими горскими народами, опасавшимися восстановления империи и ликвидации фактически обретенной ими независимости в случае победы белых. Они объединились в имамат во главе с Хаджи-Узуном, причем в союзе с ними действовали и отряды коммунистической ориентации. Но хронология событий в булгаковском рассказе искажена, причем вполне сознательно. В действительности 3-й Терский полк во взаимодействии с другими частями взял Чечен-аул не в сентябре, а в ходе боев 28–29 октября 1919 года. И Булгаков прекрасно помнил, когда именно это происходило. В дневниковой записи в ночь с 23 на 24 декабря 1924 года он записал: «…вспоминал… картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот.

Бессмертье – тихий светлый брег…
Наш путь – к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег,
Вы, странники терпенья…

Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-аул и последнюю фразу сказал мне так:

– Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.

Меня же контузили через полчаса после него».

Кем, возможно, был этот неназванный полковник, мы расскажем далее. Пока что обратим внимание на то, что данная запись доказывает, что и спустя пять лет хронологию своего участия в Гражданской войне Булгаков помнил абсолютно точно. Шали-аул был взят позже Чечен-аула, 1 ноября, и поход далее, за этот аул, несомненно происходил в ноябре. И это же, кстати, доказывает, что Булгаков использовал новый стиль, а не старый стиль, сохранявшийся на территориях, контролируемых Вооруженными силами Юга России. Ведь по старому стилю упомянутые события должны были происходить не в ноябре, а в октябре. А эпизод с гибелью полковника в Чечне вошел в роман «Белая гвардия», где с умирающим полковником Най-Турсом беседует Николай Турбин (безымянный полковник явно был одним из прототипов храброго и благородного Най-Турса).

Раз искажена чеченская хронология (но только хронология) рассказа «Необыкновенные приключения доктора», можно предположить, что и в части, относящейся к мобилизации героя красными, и последующих загадочных событиях искажены не факты, а лишь хронология, чтобы запутать возможных недоброжелателей – тех, для кого равно предосудительными могли показаться как булгаковская служба у белых, так и некоторые обстоятельства, связанные с его кратковременной службой у красных. Попробуем разобраться, к какому реальному времени можно отнести события рассказа, связанные с пребыванием героя в Красной Армии. «Из пушек стреляли все утро» в Киеве 30 августа 1919 года, когда петлюровские части вступили в киевские предместья и стали обстреливать город из тяжелых орудий. То, что «конный полк ушел воевать с каким-то атаманом», тоже может быть отнесено именно к этому дню: ведь не только предводители банд или отрядов различной политической ориентации, вроде Зеленого или Ангела, именовались атаманами, но и сам СВ. Петлюра официально занимал, как мы помним, должность «головного атамана», т. е. главнокомандующего украинской армией и главы Украинского государства. Упомянутые же Ангел и Зеленый в тот момент как раз действовали в качестве союзников Петлюры в районе Киева, формально не входя в состав армии УНР.

Присутствующий далее в тексте «Необыкновенных приключений доктора» пропуск, вероятно, охватывает период сентября и первой половины октября, когда сам Булгаков, возможно, находился среди отступивших из Киева красных, может быть, как раз врачом при какой-то конной части, о которой говорится в рассказе. Упоминаемая в

«Необыкновенных приключениях доктора» артиллерийская подготовка – это, скорее всего, артиллерийская подготовка красных в ходе штурма Киева 14 октября, во время которой пострадал штаб генерала А.М. Драгомирова. Следующие слова: «Кончено. Меня увозят… Из пушек… и…», принимая во внимание дальнейшие события, как будто означают, что герой был насильно увезен белыми частями. Это совсем не говорит в пользу того, что Булгаков на самом деле был захвачен белыми в плен, хотя обозы красных, при которых должна была находиться медицинская служба, были введены в Киев, так что при поражении советских войск у Булгакова были все шансы попасть в плен. Однако версия о насильственном увозе автобиографического героя могла быть создана писателем в расчете на внимательных по своей должности читателей, чтобы подчеркнуть недобровольный характер его последующей службы у белых. В действительности Булгаков вполне мог сам перейти в деникинскую армию при штурме Киева красными.

Очевидно, что Булгакову приходилось в дальнейшем скрывать не только факт своей службы у белых (на это он вполне ясно намекал в «Необыкновенных приключениях доктора», да и службы у Скоропадского, упомянутой в «Белой гвардии» и других произведениях, в общем-то не скрывал), но и в еще большей мере требовалось скрывать свою предыдущую кратковременную службу в Красной Армии и последовавший за ним переход к белым. Если бы такой переход с определенностью обнаружился и был бы истолкован как добровольный, Булгакова могли признать активным идейным белогвардейцем с неизбежными в таком случае репрессиями. Таким же репрессиям он наверняка подвергся бы, обнаружь новая власть его публикации в деникинских газетах 1919–1920 годов. К счастью для Булгакова, подшивок кавказских газет того времени почти не сохранилось и крамольные статьи нашли не современники – чекисты или литераторы, а исследователи, много десятилетий спустя после смерти писателя.

Есть еще один интересный источник, данные которого, на наш взгляд, можно истолковать как косвенное подтверждение того, что Булгаков какое-то время служил у красных. Это роман его товарища по Владикавказу 1920–1921 годов и первым годам московской жизни, известного в то время, но основательно забытого ныне писателя Юрия Слезкина «Девушка с гор» (другое название «Столовая гора»). Вышедшая в Москве в 1925 году, книга сохранилась в булгаковском архиве с дарственной надписью автора: «Дарю любимому моему герою Михаилу Афанасьевичу Булгакову». Действительно, один из главных героев романа бывший врач, а потом

сотрудник подотдела искусств Владикавказского ревкома Алексей Васильевич, пишущий роман (несомненно, будущую «Белую гвардию»), своим бесспорным прототипом имеет Булгакова. Его имя и отчество совпадают с именем и отчеством Алексея Васильевича Турбина – главного героя «Белой гвардии» и «Дней Турбиных».

Алексей Васильевич в «Девушке с гор» – совсем не симпатичный персонаж, напоминающий скорее не Турбина, а Василису. В 1922 году в специально посвященной Слезкину статье Булгаков в целом положительно оценивает его как писателя: «Ю. Слезкин пишет хорошим языком, правильным, чистым, почти академическим, щеголевато отделывая каждую фразу, гладко причесывая каждую страницу… Как уст румяных без улыбки… Румяные уста беллетриста Ю. Слезкина никогда не улыбаются. Внешность его безукоризненна… Без грамматической ошибки… Нигде не растреплется медовая гладкая речь, нигде он не бросит без отделки ни одной фразочки, нигде не допустит изъяна в синтаксической конструкции. Стиль в руке, пишет словно кропотливый живописец, мажет кисточкой каждую черточку гладко осиянного лика. Пишет до тех пор, пока все не закруглит и не пригладит. И выпустит лик таким, что ни к чему придраться нельзя. Необычайно гладко».

Возможно, Слезкин не заметил иронических ноток в булгаковских похвалах. Самому Булгакову такой «красивый» стиль был чужд. Позже, в 1936–1937 годах, когда два писателя давно уже отдалились друг от друга, Булгаков, создавая «Театральный роман», сатирически изобразил Слезкина в образе писателя Ликоспастова, произведя фамилию персонажа от «иконописной» манеры письма прототипа. За рассказом Ликоспастова «Жилец по ордеру» угадывается слезкинская «Девушка с гор»: «В рассказе был описан… я! Брюки те же. Ну, я, одним словом! Но, клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо. Я вовсе не хитрый, не жадный, не лукавый, не карьерист и чепухи такой, как в том рассказе, никогда не произносил!»

Критика того времени хвалила «Девушку с гор» за изображение процесса распада в среде «внутренней эмиграции», а образ Алексея Васильевича был основным из числа выведенных Слезкиным «внутренних эмигрантов», то есть лиц, не принимавших советскую власть и коммунистов. По отношению к Булгакову слезкинский роман сильно смахивал на литературный донос. К тому же там прямо говорилось и о наркомании Алексея Васильевича. После публикации «Девушки с гор» дружба Булгакова со Слезкиным сошла на нет. Юрий Леонидович мучительно завидовал булгаковскому таланту и успеху у публики, а

нежелание Булгакова подлаживаться под власть и принимать существующие правила игры служило как бы укором Слезкину который эти правила давно принял, и усиливало его неприязнь к автору «Белой гвардии». Но, помня о былой близости писателей, можно допустить, что некоторые эпизоды биографии Алексея Васильевича восходят к булгаковским рассказам. Вот один из них – встреча в поезде с чекистом, сотрудником Особого отдела: «…случайно разговорился в дороге с одним молодым человеком, особистом. Как врачу, ему интересно было знать, как ведут себя те, которых должны расстреливать, и что чувствуют те, кому приходится расстреливать. Конечно, доктор подошел к этому вопросу осторожно. Ему кое-что было не совсем ясно. Но особист отвечал с полной готовностью и искренностью. Лично ему пришлось расстреливать всего лишь пять человек. Заведомых бандитов и мерзавцев. Жалости он не чувствовал, но все же было неприятно. Стреляя, он жмурил глаза и потом всю ночь не мог заснуть.

Но однажды ему пришлось иметь дело с интеллигентным человеком, юношей шестнадцати лет. Это бывший кадет, деникинец, застрял в городе, когда пришли красные, и, скрываясь, записался в комячейку. Конечно, его разоблачили и приговорили к расстрелу. Это был заведомый, убежденный, активный контрреволюционер, ни о какой снисходительности не могло быть речи. Но вот, подите же, особист даже сконфузился, когда говорил об этом, – у него не хватило духу объявить приговор подсудимому».

Отметим, что встреча с особистом могла состояться только на территории, контролируемой красными. Булгаков, если это место действительно восходит к его рассказу, переезд по советской территории мог совершать только с конца 1917 года и до февраля 1918 года, когда он поселился в Киеве, где и пребывал безвыездно вплоть до августа 1919 года. Однако кадет, о котором идет речь в романе, назван деникинцем, а А.И. Деникин стал командующим Добровольческой армией в апреле 1918 года, после гибели Л.Г. Корнилова. Встреча Булгакова с особистом, таким образом, могла состояться как раз в период с конца августа до середины октября 1919 года, когда будущий писатель мог служить в Красной Армии.

Герой слезкинского романа сам пишет роман, который «он назвал бы «Дезертир», если бы только не эта глупая читательская манера всегда видеть в герое романа автора». Такое название становится понятным из следующей авторской характеристики Алексея Васильевича: «Но с того часа, как его выгнали из его собственной квартиры, дали в руки какой-то номерок и приказали явиться на место назначения, а потом перекидывали с одного фронта на другой, причем всех, кто его реквизировал, он должен

был называть «своими», – с того часа он перестал существовать, он умер». Из этого следует, что герой, видимо, как и его прототип, покинул ряды по крайней мере нескольких чуждых ему армий. Булгаков, как мы помним, дезертировал из армии Петлюры, но, вполне вероятно, что он также дезертировал и из Красной Армии. Белую же армию и Булгаков, и Алексей Васильевич покинули вынужденно и одинаково – заболев сыпным тифом и оставшись во Владикавказе, который после отхода белых был занят красными в марте 1920 года. Эта армия действительно была «своей», в ней служили многие булгаковские товарищи по гимназии и университету. Но немало было в ней штабной сволочи и приспособленцев, вроде Карума-Тальберга. Из-за них, да еще из-за отсутствия ясной и сколько-нибудь привлекательной для народа политической программы белые армии потерпели поражение в борьбе с большевиками.

Сам Булгаков гораздо позднее, в октябре 1936 года, заполняя анкету при поступлении в Большой театр, написал: «В 1919 году, проживая в г. Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город». Фактически это замаскированное признание того, что писатель был мобилизован не только армией Украинской Народной Республики, но также и красными, и белыми – именно эти власти сменяли друг друга в Киеве в 1919 году до отбытия Булгакова во Владикавказ.

Т.Н. Лаппа признавала, что русские интеллигенты в Киеве «боялись Петлюру», хотя одновременно «страшно боялись большевиков, тем паче». Однако у Булгакова в конкретных обстоятельствах августа 1919 года вряд ли был какой-то реальный выбор, если его мобилизовали красные. Перед отступлением красный террор в Киеве усилился. Только 16 августа в местных «Известиях» был опубликован список 127 расстрелянных. Отказ служить в Красной Армии мог кончиться для Булгакова столь же печально, как и для безымянного мальчика-кадета из романа Слезкина. Бежать же от большевиков, чтобы остаться в Киеве, для будущего писателя особого смысла не имело. Ведь в тот момент в город уже ворвались петлюровцы, а они точно так же могли расстрелять его за дезертирство, останься он дома. И не было известно, удастся ли добровольцам выбить из города петлюровцев.

Лаппа прямо утверждала, что «в августе прошел слух, что возвращается Петлюра. Конечно, Михаилу бы не поздоровилось, и вот мы пошли прятаться в лес. Вера с Варей, братья и еще немец один военный, который за Варькой ухаживал. Михаил опять браслетку у меня брал

(браслетку Булгаков считал талисманом удачи. – ***Б**.С)*. И вот мы там несколько дней прятались в сарае или домике каком-то. Немного вещей у нас было и продукты. Готовили – там во дворе печка была. Там так страшно было, если бы вы знали! Но Петлюра так и не появился, боя не было, и пришли белые. Тогда мы вернулись».

В этом рассказе есть бросающиеся в глаза противоречия. Во-первых, Татьяна Николаевна признала, что муж взял у нее браслетку, – а он делал это, когда покидал ее на время. Но тут же она сообщает, что они прятались с Михаилом вместе, хотя убежище их описывает крайне неопределенно – то ли сарай, то ли домик, да еще с печкой на улице (это в лесу-то!). Еще первая жена Булгакова утверждает, что Петлюра в городе так и не появился, тогда как в действительности армия УНР вступила в город раньше деникинских добровольцев. Она утверждала, что они с Булгаковым вернулись в Киев уже после прихода белых, но о встрече генерала Бредова, прибывшего в город в первый день вступления туда добровольческих частей, повествует явно как непосредственная очевидица событий: «Генерала Бредова встречали хлебом-солью, он на белом коне… торжественно все так было». Не могли же Булгаковы вернуться в Киев утром 31 августа, когда в город как раз входили петлюровцы. Все эти противоречия снимаются, если верна наша версия о том, что в конце августа 1919 года Булгаков ушел из Киева, будучи мобилизован в Красную Армию, в то время как Татьяна Николаевна осталась в Киеве и наблюдала вступление туда войск генерала Н.Э. Бредова. Рассказ же Т.Н. Лаппа, на наш взгляд, призван был лишь скрыть службу Булгакова в Красной Армии. Да и странно прятаться в лесу, когда вокруг Киева много банд, оперирующих как раз в лесах.

А вот как излагает события, происходившие с семейством Булгаковых в Киеве после падения власти Скоропадского, Л.С. Карум в своих мемуарах «Рассказ без вранья»: «…Потом наступили грозные события: пал гетман, власть сначала захватили, а потом выпустили петлюровцы, пришла советская власть.

Работа венерического врача шла успешно. Только в последний месяц, когда в июле 1919 года большевики объявили поголовную мобилизацию, Булгаков проживал где-то в «нетях» на даче под Киевом. Этим он избежал мобилизации. С появлением добровольцев он опять появился в квартире, но объявил, что оставаться в Киеве больше не намерен, а поедет на Кавказ, где поступит на военную службу. И булгаковская коммуна распалась. Миша хотел ехать со мной (Карум приехал в Киев, чтобы забрать из Киева жену и вместе с ней вернуться в Феодосию, где он преподавал в военном

училище. – ***Б.С.)***

Я пробыл в Киеве 5 дней. На шестой я отыскал вагон, куда мы погрузились с Варенькой, Мишей и Тасей. Вагон прицепили к поезду, который шел в Таганрог, и 30 августа 1919 года мы двинулись в путь».

Карум датирует здесь по старому стилю, по новому же это было 12 сентября. А 30 августа по новому стилю в Киеве еще были красные. То, что Карум был в Киеве именно в это время, доказывается письмом юнкера находившегося в тот момент в Феодосии Константиновского училища Иллариона Владимировича Мусина-Пушкина отцу от 4/17 сентября 1919 года: «Что касается нашего дальнейшего странствования, то Начальник училища попросил отсрочки, так как в Киеве сейчас ужасная дороговизна (речь шла о планировавшемся возвращении училища в Киев, которое, однако, так и не состоялось из-за последующих неудач на фронте и отступления деникинской армии. – ***Б.С.)***. Наш законовед (Л.С. Карум, преподававший в училище законоведение. – ***Б.С.)***, ездивший туда (кстати, с моим чемоданом, почему он обратился ко мне, не понимаю), говорит, что хлеб стоит 80 рублей фунт, при большевиках он стоил 140 рублей. Это в Киеве. Население встречало с восторгом, большевики творили там ужасные зверства. Настроение хорошее и спокойное, несмотря на то, что красные всего лишь в 25 верстах. Петлюровцев без труда отогнали на 70 верст. Здание училища не пострадало, весь инвентарь цел, потому что в здании помещалось военное училище красных. На днях едет для окончательного осмотра батальонный командир. Переедем же мы от 15 октября – 15 ноября».

Не вызывает сомнения, что в начале сентября 1919 года Л.С. Карум в Киеве действительно был. Но вот то, что он в этот приезд захватил с собой Булгакова и его жену, вызывает большие сомнения. Т.Н. Лаппа ни в одном варианте своих воспоминаний не говорит о том, что Булгаков уехал осенью 1919 года из Киева вместе с Карумом, да еще и вместе с ней самой. Вряд ли бы она упустила из вида столь существенное обстоятельство. Наоборот, Татьяна Николаевна все время подчеркивала, что сначала уехал Михаил, а она присоединилась к нему только некоторое время спустя – то ли через две недели, то ли через месяц. И совершенно непонятно, почему Булгаков, по утверждению Карума, решил вдруг ехать на Северный Кавказ, чтобы там поступить в Белую армию. Ведь с Кавказом его ничего не связывало, а при желании он вполне мог поступить к белым и в родном Киеве. Булгаков на советской службе никогда прежде не состоял, и препятствий к поступлению в Добровольческую армию у него как будто не было. И в качестве кого он бы поехал на Кавказ? Ведь как врач он подлежал

мобилизации, а кавказский театр в тот момент был далеко не главным для Вооруженных сил Юга России, которые рвались к Москве.

Здесь получается, что одни мемуары противоречат другим. Кому верить? Нам все-таки представляется, что что-то напутал Карум. Может быть, он не был заинтересован по каким-то причинам указывать, что в начале сентября (н. ст.) Булгакова не было в Киеве. А может быть, в действительности Леонид Сергеевич был тогда в Киеве дважды, один раз в сентябре, и второй раз – в октябре, причем во время или сразу после октябрьских боев. Ведь как раз в конце октября (н. ст.) намечался переезд Константиновского училища в Киев из Феодосии, и Леонида Сергеевича вполне могли еще раз послать в город квартирьером. Вероятно, после октябрьских боев, показавших всю непрочность положения белых в городе, вопрос о возвращении училища отпал. Вот тогда Карум и мог забрать из города жену, а заодно и Михаила с Тасей. Может быть, в дальнейшем Леонида Сергеевича подвела память, и он контаминировал две поездки в одну. Не исключено также, что по какой-то причине ему невыгодно было вспоминать о второй поездке. Если же Леонид Сергеевич прав в том, что из Киева Михаил уехал вместе с Тасей, то тогда последняя, говоря о том, что она воссоединилась с мужем во Владикавказе лишь примерно месяц спустя после его отъезда из Киева, в действительности имела в виду отход его из города вместе с красными. Служба Михаила Афанасьевича у красных была, очевидно, самым тщательно скрываемым секретом в булгаковском семействе. Не забудем, что все свои интервью Татьяна Николаевна давала еще в советское время.

Но необходимо отметить, что с мобилизованными советской властью офицерами, особенно с теми из них, которые раньше служили в Красной Армии или в советских учреждениях, деникинские добровольцы обращались не лучшим образом. Разведсводки Красной Армии так рисуют обстановку в Киеве: мобилизованные офицеры «принижены и даже не допускаются в офицерскую столовую. Доверия к мобилизованным офицерам нет, и за ними учрежден надзор добровольцев»; «офицеры, служившие при Советской власти, Деникиным лишаются всех чинов и отправляются в армию рядовыми». При мобилизации офицеры проходили длительную фильтрационную проверку в образованной контрразведкой судебно-следственной комиссии, и даже те из них, кто сочувствовал целям Добровольческой армии, далеко не сразу зачислялись в ее ряды; большинство офицеров, начавших проходить проверку сразу после вступления белых в Киев в начале сентября, так и не успели завершить ее до начала октябрьских боев. В этих боях некоторые из них приняли участие

на стороне добровольцев, другие разошлись по домам или покинули Киев. Легче было положение в конных и пеших белых партизанских (летучих) отрядах, куда, по свидетельству офицера киевлянина В. Корсака, зачисляли без проверки. Начавшееся уже в тот период разложение, усиливавшееся всевластие контрразведки предвещали близкий конец Белого движения.

Несколько легче было положение в конных и пеших партизанских (летучих) отрядах, куда, по воспоминаниям современников, зачисляли без проверки. Если Булгаков перебежал в одну из боевых белых частей, особенно казачьих, где порядки были более вольными, его могли определить на должность военного врача при наличии вакансии сразу, не подвергая многодневной проверке. Кстати, разведорганы Красной Армии в сентябре недалеко от Киева зафиксировали Терский конный полк (но никак не 3-й, поскольку 3-й Терский полк был сформирован в составе местной Северо-Кавказской бригады и не покидал места своей дислокации), который в ходе октябрьских боев вполне мог быть переброшен в город. Если Булгаков сдался именно терским казакам, то его последующее перемещение на Северный Кавказ становится вполне объяснимым. Казаков логично было перебросить в родные места для подавления вспыхнувшего восстания горцев. Если бы Булгаков был просто в общем порядке мобилизован в Киеве, его скорее должны были направить на фронт в район Орел – Воронеж – Кромы, где шли главные бои, было особо много раненых и ощущалась острая нехватка медперсонала.

Можно с большой долей уверенности предположить также, что в очерке «Киев-город» запечатлены подробности октябрьских боев в Киеве:

«Сказать, что «Печерска нет», это будет, пожалуй, преувеличением.

Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелятся тени, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы… вот-вот вырастет из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:

– Стой!

То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка, в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнущейся спиной, то вылощенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов» (несомненно, матросы Днепропетровской флотилии). Далее писатель переносится

воспоминаниями в Мариинский парк – как и Печерск, место ожесточенных боев в октябре 1919 года: «Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обрывами – великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. Редкие фигуры бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб в Мариинском парке».

Скорее всего, Булгаков появился в городе только в октябре, перейдя от красных к белым во время октябрьских боев и уже поступив в какую-то белую часть или отряд. Как раз в октябре Деникин вынужден был перебрасывать многие части с Украины и из Центральной России на Северный Кавказ для борьбы с активизировавшимся там партизанским движением. Туда могли отправить и булгаковскую часть. В этих условиях Михаил вполне мог обратиться к помощи Леонида Сергеевича, чтобы максимально комфортно отправиться вместе с женой к новому месту службы – ведь до Таганрога Булгаковым и Карумам можно было ехать вместе. Если, повторяю, Карум приезжал в Киев еще и в октябре.

В воспоминаниях Т.Н. Лаппа, связанных с обстоятельствами ухода будущего писателя в Белую армию, есть еще одна существенная неувязка. Татьяна Николаевна сообщала, что она присоединилась к мужу во Владикавказе через одну-две недели после его отъезда из Киева, а уехал Булгаков будто бы в начале сентября. В этом случае они должны были воссоединиться на новом месте в период между 15 и 20 сентября, а уже через несколько дней, по словам Т.Н. Лаппа, Михаила «направили в Грозный, в перевязочный отряд». Татьяна Николаевна оставалась в Грозном, а Булгаков периодически выезжал в свой отряд, к передовым позициям, а «потом наши попалили там аулы, и все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там».

Если принять, что в Грозный они прибыли в 20-х числах сентября, то уехать оттуда должны были соответственно в 20-х числах октября, причем к тому времени восстание горцев уже подавили. Однако это противоречит утверждению самого писателя о том, что в ноябре он участвовал в походе за Шали-аул (сам этот аул, как мы помним, был взят 1 ноября). Кроме того, первый булгаковский фельетон «Грядущие перспективы» был опубликован в газете «Грозный» 13/26 ноября 1919 года, причем вырезка из газеты с

частью этого фельетона сохранилась в булгаковском архиве, что предполагает присутствие Булгакова в Грозном по крайней мере до 26 ноября. Очевидно, они выехали из Грозного (через Беслан во Владикавказ, как вспоминает Татьяна Николаевна) в самом конце ноября или в начале декабря. Тогда, если верно сообщение Т.Н. Лаппа, что Булгаков с ней пробыл в Грозном около месяца, приехать в этот город они должны были в 20-х числах октября, незадолго до штурма Чечен-аула (напомним, он был взят 28–29 октября). Если же допустить, что во Владикавказ Татьяна Николаевна прибыла на одну-две недели позже Михаила Афанасьевича, то Булгаков должен был выехать из Киева в промежутке между 9 и 16 октября, но уж никак не в начале сентября. Не исключено также, что Михаил вызвал Тасю во Владикавказ даже раньше, чем через неделю после своего отъезда, а в Грозном они могли пробыть и меньше месяца. Булгаков мог выехать из Киева во Владикавказ сразу после киевских событий 14–16 октября.

В конце августа 1919 года Киев оставляли части советской 44-й стрелковой дивизии и Днепровской флотилии. Они же совместно с 45-й и 47-й стрелковыми дивизиями фастовской группы участвовали в октябрьском наступлении на город. Никаких данных о службе Булгакова в этих соединениях в архивах пока обнаружить не удалось. Так, в списках личного состава Днепровской военной флотилии за 1919 год нам удалось найти лишь одного Булгакова – Леонида Ивановича, рулевого сторожевого судна «Гордый», 1901 года рождения, уроженца г. Алешки Таврической губернии, холостого. Принимая во внимание краткость пребывания будущего писателя в составе Красной Армии (около полутора месяцев) и плохое состояние учета личного состава в советских войсках в то время, шансы найти такие данные очень невелики.

Поиски свидетельств пребывания Булгакова в Красной Армии на Киевском участке фронта в сентябре-октябре 1919 года, предпринятые по просьбе автора историком П.А. Аптекарем в Российском государственном военном архиве, не увенчались успехом. Надо учесть и то, что значительная часть документов была утрачена во время поражения красных в Киеве в середине октября, когда добровольцам удалось захватить часть обозов. И вообще, по свидетельству ПА. Аптекаря, списки личного состава за 1919 год сохранились далеко не полностью, так что отрицательный результат в данном случае не может являться доказательством того, что Михаил Булгаков в Красной Армии никогда не служил.

Еще меньше надежды найти документальные данные о пребывании Булгакова в Белой армии, лишь очень незначительная часть архивов которой сохранилась в эмиграции. Здесь остается принять во внимание то,

что писатель сделал автобиографического героя рассказа «Необыкновенные приключения доктора» начальником медицинской службы 3-го Терского казачьего полка, и считать, что сам он какое-то время занимал ту же должность.

После возвращения из Грозного, вероятно, в начале декабря 1919 года, Булгаков поселился во Владикавказе, где работал в местном военном госпитале. Т.Н. Лаппа так рассказывала об этом: «Мы приехали, и Михаил стал работать в госпитале. Там персонала поубавилось, и поговаривали, что скоро придут красные… Это еще зима 1919-го была. Поселили нас очень плохо: недалеко от госпиталя в Слободке, холодная очень комната, рядом еще комната – большая армянская семья жила. Потом в школе какой-то поселили – громадное пустое здание деревянное, одноэтажное… В общем, неуютно было. Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым и его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать. Новый год мы у них встречали, 1920-й. Много офицеров было, много очень пили… «кизлярское» там было, водка или разведенный спирт, не помню я уже… И вот генерал куда-то уехал, и она предложила нам жить у них в доме. Дом, правда, не их был. Им сдавал его какой-то казачий генерал. Хороший очень дом, двор кругом был, и решеткой такой обнесен, которая закрывалась. Мне частенько через нее лазать приходилось. И стали мы жить там, в бельэтаже. Михаилу платили жалованье, а на базаре все можно было купить: муку, мясо, селедку… И еще он там в газету писал…»

Булгаков в то время действительно начал публиковаться в местных газетах. Обстоятельства своего литературного дебюта он изложил в автобиографии 1924 года: «Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал». В другой автобиографии, написанной в 1937 году, Булгаков утверждал, что «в 1919 году окончательно бросил занятие медициной». П.С. Попов в первой булгаковской биографии сообщил: «По собственному свидетельству, Михаил Афанасьевич пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Думается, биограф здесь ошибается. Дело в том, что как раз 15 февраля 1920 года (ст. ст.) во Владикавказе вышел первый номер газеты «Кавказ», где в числе ее сотрудников значилось и имя М. Булгакова (наряду с Ю. Слезкиным, Е. Венским и др.). Вероятно, это событие и вызвало душевное волнение писателя – он был объявлен журналистом ведущей

местной газеты. Противоречие же в собственных булгаковских показаниях о том, когда он оставил медицину – в 1919 или 1920 году, – можно примирить предположением, что это событие случилось по старому стилю в конце декабря 1919 года, а по новому – в начале января 1920-го.

Факт оставления Булгаковым службы в госпитале признает и Т.Н. Лаппа, хотя при этом прямо и не пишет, на какую новую службу он поступил. Она вспоминала: «Когда госпиталь расформировали – в первых месяцах 1920 года, заплатили жалованье – «ленточками». Такие деньги были – кремовое поле, голубая лента». Маловероятно, что в разгар боевых действий могли расформировать целый госпиталь, зато вполне правдоподобно, что после увольнения из госпиталя Булгаков под расчет получил все причитающееся жалованье («ленточки» – это денежные знаки, выпущенные ростовской конторой Госбанка и называвшиеся поэтому «донскими»; они, наряду с «царскими», или «николаевскими», кредитными билетами, были самой устойчивой валютой на юге России в период Гражданской войны).

На наш взгляд, уход из госпиталя произошел в самом начале января 1920 года (н. ст.). Подтверждение этому можно усмотреть в булгаковском фельетоне «В кафэ», опубликованном в издававшейся во Владикавказе «Кавказской газете» 18(5) января 1920 года. Там нет никаких доказательств того, что автор фельетона – военный врач, зато прямо говорится, что он имеет врачебное свидетельство, освобождающее от военной службы по болезни. Такой вывод можно сделать из воображаемого диалога автора с румяным, хорошо одетым штатским молодым человеком «в разгаре призывного возраста»:

«Оказывается, этот цветущий, румяный молодой человек болен… Отчаянно, непоправимо, неизлечимо вдребезги болен! У него порок сердца, грыжа и самая ужасная неврастения. Только чуду можно приписать то обстоятельство, что он сидит в кофейной, поглощая пирожные, а не лежит на кладбище, в свою очередь поглощаемый червями.

И наконец, у него есть врачебное свидетельство!

– Это ничего, – вздохнувши, сказал бы я, – у меня у самого есть свидетельство, и даже не одно, а целых три. И тем не менее, как видите, мне приходится носить английскую шинель (которая, к слову сказать, совершенно не греет) и каждую минуту быть готовым к тому, чтоб оказаться в эшелоне или еще в какой-нибудь неожиданности военного характера. Плюньте на свидетельства! Не до них теперь! Вы сами только что так безотрадно рисовали положение дел…

Тут господин с жаром залепетал бы дальше и стал бы доказывать, что

он, собственно, уже взят на учет и работает на оборону там-то и там-то.

– Стоит ли говорить об учете, – ответил бы я, – попасть на него трудно, а сняться с него и попасть на службу на фронт – один момент!»

При этом в воображаемой беседе Булгаков признавался: «Я не менее, а может быть, даже больше вас люблю спокойную мирную жизнь, инематографы, мягкие диваны и кофе по-варшавски!

Но, увы, я не могу ничем этим пользоваться всласть!»

Из сказанного в фельетоне можно предположить, что Булгаков был уволен с должности военного врача по болезни, а упоминаемые три свидетельства – это, скорее всего, удостоверение Вяземской земской управы от 22 февраля 1918 года, выданное при увольнении из местной больницы на основе свидетельства Московского уездного воинского революционного штаба по части запасной, удостоверение Сычевской земской управы от 18 сентября 1917 года о службе в сычевском земстве (удостоверения из Вязьмы и Сычевки сохранились в булгаковском архиве) и третье – удостоверение об увольнении из Владикавказского госпиталя, тоже, возможно, по болезни. Это удостоверение, вероятно, датированное началом января 1920 года (если оно, конечно, существовало в природе), Булгаков сохранить никак не мог – при красных оно подтверждало бы его службу у белых и могло указывать и на новое место службы – скорее всего Осваг (Осведомительное агентство). Осваг выполнял функции отдела печати при деникинском правительстве и призван был организовать пропагандистское обеспечение войск и населения, издавая газеты и журналы. Булгакова могли счесть идейным белогвардейцем и репрессировать, так что службу в Осваге надо было таить пуще службы в военном госпитале белых (последняя скорее могла обернуться не репрессиями, а новой мобилизацией в качестве военного врача).

Можно допустить, что в кафе, описанном в фельетоне, Булгаков сидел вскоре после 8 января 1920 года – дня взятия Ростова-на-Дону Красной Армией, так как именно этот факт фигурирует в разговорах как причина паники в белом тылу. К середине января военным врачом Булгаков уже не был.

Первые булгаковские литературные опыты говорят еще не столько о литературном таланте, сколько о политической прозорливости автора. Фельетоны «Грядущие перспективы» и «В кафэ» в полной мере дают представление о политических взглядах писателя. «Грядущие перспективы», напомним, появились 26 ноября 1919 года. А уже к 9 ноября стало известно, что Вооруженные силы Юга России проиграли генеральное сражение в районе Воронеж – Орел – Курск. Как мы помним, весть о том,

что белые оставили Ростов, дошла до Владикавказа через десять дней. Следовательно, можно предположить, что и о провале наступления на Москву Булгаков мог знать по меньшей мере за неделю до публикации «Грядущих перспектив». Наверняка он уже тогда не строил иллюзий насчет возможности благоприятного для белых исхода Гражданской войны. В фельетоне подчеркивалось, что «наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», что «настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Не видеть!» Основываясь на недавно просмотренных номерах английского иллюстрированного журнала, Булгаков в пример России ставил Запад:

«На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.

Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!

И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества». Какое же будущее видел в тот момент Булгаков для России, как оценивает ее перспективы в сравнении с Западом? Весьма мрачно:

«Мы опоздаем…

Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же наконец мы догоним их и догоним ли вообще?

Ибо мы наказаны.

Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача – завоевать, отнять свою собственную землю».

Писатель утверждал: «Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца».

Булгаков провозглашал: «Расплата началась». Как и за что придется платить? На этот вопрос в «Грядущих перспективах» он отвечал так:

«Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станков для печатания денег… за все!

И мы выплатим. И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас

впустили опять в версальские залы (речь здесь идет о Версальской мирной конференции. – ***Б.С.***).

Кто увидит эти светлые дни?

Мы?

О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк, и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

– Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!»

В «Грядущих перспективах» Булгаков обозначил основные проблемы российского общества, к несчастью, оставшиеся актуальными и не разрешенными и сегодня. Фельетон выдает в писателе западника, не славянофила, ибо в Западе видит он для России образец развития. При этом содержание и тон написанного не оставляют сомнения, что Булгаков не верил в победу белых и сознавал, что власть коммунистов в стране установилась надолго, на несколько поколений, так что счастливая жизнь может быть лишь у внуков. Он разделял общую для большинства русской интеллигенции веру в светлое будущее, рождаемую мрачным настоящим.

А вот причины мрачного послереволюционного настоящего названы Булгаковым иногда совершенно верно, а иногда и явно ошибочно. Булгаков осуждал «безумство мартовских дней», считал падение монархии величайшим несчастьем, но к последнему самодержцу относился без большой симпатии.

В «Белой гвардии» Турбин произносит следующий примечательный монолог по поводу Николая II: «Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! – Турбин крикнул и поднял стакан». И здесь же Булгаков спародировал слухи о том, будто император остался жив. Шервинский сообщает Турбиным: «…Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?… После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить…» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь». В красивую сказку о чудесном спасении царской семьи может поверить разве что романтический и наивный Николка Турбин. Сам Шервинский, сообщающий о чудесном спасении, сам в это спасение, походе, не верит и, подобно гоголевскому Хлестакову, в

данном случае врет не задумываясь, ради красного словца, чтобы произвести впечатление на присутствующих, и особенно на Елену Турбину, «Лену ясную», в которую влюблен. Алексей же Турбин и Мышлаевский в чудесное спасение императора и его семьи не верили, не сомневаясь, что они убиты большевиками.

Оптимизм некоторых, явно вымученных строк «Грядущих перспектив» читателей не обманул. Единственный известный пока отклик на «Грядущие перспективы» – статья П. Голодолинского «На развалинах социальной революции», опубликованная в той же газете «Грозный» 15/28 ноября 1919 года, явно принадлежит ревнителю поддержания «боевого духа» любой ценой. Он обвиняет Булгакова в пораженческих настроениях и, верно почувствовав, что тот стремится предупредить своих читателей о неизбежном торжестве большевиков в России на длительный срок, возражает ему: «…Никогда большевизму не суждено укрепиться в России, потому что это было бы равносильно гибели культуры и возвращению к временам первобытной эпохи. Наше преимущество в том, что ужасная болезнь – большевизм посетил нашу страну первой. Конец придет скоро и неожиданно. Гнев народа обрушится на тех, кто толкнул его на международную бойню. Не завоевыванием Москвы и не рядом выигрышных сражений возьмет верх добровольческая армия, а лишь перевесом нравственных качеств». Однако Булгаков явно полагал, что одного перевеса нравственных качеств для победы недостаточно, да и, что еще важнее, не верил в наличие такого рода перевеса у добровольцев.

Можно согласиться с тем, что «безумное пользование станком для печатания денег» после Февральской революции, а также полная недееспособность Временного правительства были одними из главных причин торжества большевиков. Писатель разделял лозунг белых о «единой и неделимой России» и потому осуждал «самостийных изменников», вроде Петлюры и Винниченко. Однако именно отсутствие сколько-нибудь разумной национальной политики погубило Вооруженные силы и правительство Юга России, равно как и отсутствие удовлетворительного для массы крестьянства решения аграрного вопроса. Кстати, в фельетоне Булгаков упоминает лишь «героев-добровольцев», не замечая двух других составляющих деникинской армии – казаков Дона и Кубани. Отказ Деникина от признания донской и кубанской автономий привел к резкому падению боеспособности казачьих частей и к началу катастрофы в ноябре 1919-го, в марте 1920 года завершившейся провальной новороссийской эвакуацией. Отказ белых от признания Украинской Народной Республики и Польши привел к тому что польские и украинские войска осенью 1919-го, в

момент пика успехов Вооруженных сил Юга России, временно прекратили борьбу против Красной Армии, что позволило командованию красных снять с этих фронтов основные силы и бросить их на разгром Деникина. Тыл же деникинской армии сотрясали массовые крестьянские повстанческие движения. В районе Екатеринослава действовали отряды Махно (Т.Н. Лаппа вспоминала, что она ехала во Владикавказ через Екатеринослав и очень опасалась налета на поезд махновцев, но все обошлось).

Шансов на победу над большевиками не было, и Булгаков не мог тогда, в ноябре 1919-го, не сознавать этого. Недаром в отклике на фельетон Булгакова обвинили в пораженческих настроениях, несмотря на такие вот оптимистические пассажи: «Герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.

И все, все – и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.

И ее освободят.

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла…

Мы будем завоевывать собственные столицы.

И мы завоюем их.

Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы.

И мы доберемся.

Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.

И война кончится».

Подобные строки в конце ноября 1919 года должны были восприниматься читателями как форменное издевательство. Разгромленные под Орлом «герои-добровольцы» вместе с разгромленными под Воронежем донцами Мамонтова и кубанцами Шкуро продолжали свой стремительный бег к морю, и думать забыв о походе на Москву. Булгаков, конечно же, просто уступал требованиям военной цензуры и редактора. В романе Юрия Слезкина «Девушка с гор» Алексей Васильевич вспоминает редактора деникинской газеты, «в английском френче», говорившего: «Мы должны пробуждать мужество в тяжелую минуту, говорить о доблести, о напряжении сил». Эти слова почти буквально совпадают с оптимистической частью «Грядущих перспектив», где еще утверждается,

что «придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба». Все эти строки, точно отражающие редакторскую установку, явно не соответствуют взглядам Булгакова и не умаляют общего безрадостного чувства от фельетона, возникающего у читателей, а фраза насчет того, что «жизни не будет, а будет смертная борьба», скорее относится не к фантастическим победным сражениям с красными, а к будущей жизни автора и всей русской интеллигенции под пятой большевиков (именно так, «Под пятой», озаглавил Булгаков свой дневник 20-х годов).

Писатель вполне мог повторить слова Алексея Васильевича, которому послужил прототипом, о том, что «не мог петь хвалебных гимнов Добрармии, стоя на подмостках, как его популярный коллега, громить большевиков. Он слишком много видел…».

Булгаков действительно слишком много видел: бессмысленную бойню, трагедию мирного населения, жестокость контрразведки, бестолковость штабов, отсутствие сколько-нибудь осмысленной политической программы у белых. Все это впоследствии отразилось на страницах «Белой гвардии» и других произведений. Вероятно, при переезде из Киева во Владикавказ он запомнил повешенного на фонаре в Бердянске рабочего «со щекой, вымазанной сажей», изображенного позднее в автобиографическом рассказе «Красная корона» (1922). Рабочего повесили «после того как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью». Автор ушел, «чтоб не видеть, как человека вешают». А в «Необыкновенных приключениях доктора» Булгаков как бы предупреждает об отмщении от имени себя, тогдашнего, участвовавшего в походах на Чечен-аул и Шали-аул: «Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом – не жги аулов».

И даже на казенный, подцензурный оптимизм нет намека в фельетоне «В кафэ».

«И вам и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне, иначе нахлынет на нас красная туча, и вы сами понимаете, что будет…

Так говорил бы я, но увы, господина в лакированных ботинках я не убедил бы.

Он начал бы бормотать или наконец понял бы, что он не хочет… не может… не желает идти воевать…

– Ну-с, тогда ничего не поделаешь, – вздохнув, сказал бы я, – раз я не могу вас убедить, вам просто придется покориться обстоятельствам!

И, обратившись к окружающим меня быстрым исполнителям моих распоряжений (в моей мечте я, конечно, представил и их как необходимый элемент), я сказал бы, указывая на совершенно убитого господина:

– Проводите господина к воинскому начальнику! Покончив с господином в лакированных ботинках, я обратился бы к следующему…

Но, ах, оказалось бы, что я так увлекся разговором, что чуткие штатские, услышав только начало его, бесшумно, один за другим, покинули кафе.

Все до одного, все решительно!

Трио на эстраде после антракта начало «Танго». Я вышел из задумчивости. Фантазия кончилась.

Дверь в кафе все хлопала и хлопала.

Народу прибывало. Господин в лакированных ботинках постучал ложечкой и потребовал еще пирожных…

Я заплатил двадцать семь рублей и, пробравшись между занятыми столиками, вышел на улицу».

То, что журналист-автор тут в военной шинели, так же как и редактор газеты у Слезкина – «в английском френче», указывает на его принадлежность, по выражению одного из мемуаристов-сменовеховцев, Александра Дроздова, к «милитаризованному Освагу», а не к вольным корреспондентам газет, по выражению того же автора, не скованным кандалами «осважизма».

Дроздов, наблюдавший деятельность Освага в Ростове, оценивал ее так: «Осваг имел несчетное количество газет во всех уголках освобожденной от большевиков территории, в губернских городах, в тихих медвежьих городишках, задавленных сплином, неповоротливой и тяжеловесной уездной сплетней и тупым равнодушием ко всему белому и всему красному, на Черноморском побережье и на Кавказе. Во главе этих газет, где их хватало, стояли журналисты, где же не хватало журналистов, там стояли люди тех профессий, которые не учат ослушанию декретов, исходящих из центра. Газеты велись в том направлении, которое можно обозначить словами: «ура, во что бы то ни стало и при каких бы то ни было обстоятельствах»…Первое время, время победоносного наступления добровольческих армий, можно было писать о том, что волнует, что тревожит, о том, что подсказывает вам ваша писательская совесть. Но когда Троцкий собрал крепкий коммунистический кулак и Буденный, переброшенный с Волги, прорвал фронт у Купянска, приват-доцент Ленский (заведующий информационной частью Освага в Ростове. – ***Б.С.)***

правильно почувствовал, что «ура», пожалуй, спадет на несколько тонов ниже, и потому ввел систему заказных статей. Я не хочу быть односторонним и потому должен сказать, что темы, вырабатываемые на совещаниях прив. – доц. Ленского, поручались для разработки тем, кто их хотел разрабатывать, чаще всего тем, кто их предлагал, и, таким образом, на этих совещаниях, к счастью, не пахло дурным запахом подвалов «Земщины», «Русского знамени» и других исторических газет из числа послушных.

Конечно, эта мера не привела ни к чему, и население не верило уже осважному «ура», громыхавшему в те дни, когда обывателю хотелось кричать «караул». Авторитет Освага дал глубокий и безнадежный крен, обыватель увидел, что король ходит нагишом и тело его безобразно, а в войсках об Осваге говорили не иначе как приплетая его имя к имени матушки. Поняла это и власть, и началась беспощадная чистка. Но печальная роль была сыграна, и сыграна с таким треском, который не забывается. Бюрократизм победил: интеллигенция капитулировала.

Что же все-таки было создано громоздким и многолюдным (по замечанию мемуариста, в Осведомительном агентстве присутствовал «обильный, так называемый уклоненческий элемент». – ***Б.С.)*** Освагом? Я говорю с чистым сердцем и с чистой душой: ничего, кроме вреда. Осважные плакаты казались жалкими рядом с великолепными плакатами большевиков, а ведь в художественной части работали такие имена, как И. Билибин и Е. Лансере. Из груды брошюр, писанных нарочито псевдонародным, т. е. бездарным и напыщенным языком, можно выделить лишь десяток брошюр Е. Чирикова, И. Наживина, И. Сургучева и кн. Е. Трубецкого. Вот этот-то десяток брошюр, написанных ярко, кровью души, эта горсточка нетенденциозной, искренней, правдивой агитации, агитации сердца, и есть одно и единственное светлое пятно на фоне синих обложек «дел за такими-то номерами», кип рапортов и отчетов, серой газетной тарабарщины, вялой и ненужной, годной лишь для того чтобы базарные торговки, переругиваясь с покупателем, завертывали в них молодую картошку. Агитация хороша, когда она дерзка и напориста, она хороша, когда кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника; нужно, чтобы за агитатором гонялись враги, подобно тому, как Лафайет гонялся за Жан-Поль Маратом под сводами заштатных францисканских монастырей. У большевиков за бронепоездом идет агитпоезд; у Деникина агитпоезд трухтел, жалобно и трусливо позванивая скрепами цепей, вслед за пассажирским».

Интеллигенция, оказавшаяся в лагере генерала Деникина,

агитационную войну с большевиками проиграла. Среди проигравших был и Булгаков, но свою вину в поражении он тогда наверняка не ощущал. По словам того же Дроздова, «писала в газетах интеллигенция en masse (в большинстве своем. – *фр.),* адвокаты и врачи, студенты и офицеры, дамы скучающие и нескучающие, недоучившиеся юноши, слишком много учившиеся старцы, бездельники, зеваки и дельные, умные порядочные люди». Таким же журналистом военного времени стал и Михаил Булгаков, однако он, в отличие от большинства, обладал недюжинным литературным талантом. Конечно, в его решении уйти в журналистику было и стремление избавиться от опостылевшей уже службы военного врача. В романе Слезкина вернувшийся к большевикам редактор признается Алексею Васильевичу: «Я журналист, но в боевой обстановке». Думается, таким журналистом был и Булгаков, совершавший поездки на фронт и после ухода из госпиталя. Намек на это есть в фельетоне «В кафэ».

Трусом Булгаков не был никогда, об этом свидетельствует и его участие в бою под Чечен-аулом и в последующем походе, где он получил контузию. Не исключено, что эта контузия и послужила причиной (или поводом) для увольнения с военно-медицинской службы. А может быть, болезнью, вызвавшей освобождение, стала названная в фельетоне неврастения (ни грыжей, ни сердечной недостаточностью писатель, насколько известно, не страдал, а вот неврастения, и по его собственным признаниям, и по свидетельству близких, писателя в дальнейшем мучила).

Булгаков, конечно, не принадлежал к активным участникам Белого движения. Он совсем не горел желанием принять участие в братоубийственной войне, признаваясь, что его «нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойства и бедствия». В противном случае у него была возможность значительно раньше, задолго до осени 1919-го, вступить в ряды добровольцев Корнилова и Деникина. Когда Булгаков начал писать в осваговских газетах, белые уже потерпели сокрушающий удар от конницы Буденного. Его статьи были правдивы, а не ура-патриотичны, хотя, конечно, приходилось Михаилу Афанасьевичу идти на уступки и цензуре, и осваговским редакторам.

Осваг контролировал бумагу и типографии, и независимое издание основать без его благословения было практически невозможно. Когда Александр Дроздов задумал выпускать самостоятельно еженедельную газету и многие сотрудники Освага поручились, что он не имеет касательства к большевикам, бумагу по нормированной цене он так и не получил, поскольку «сильные мира сего» сочли, что у журналиста слишком либеральная репутация. Конечно, столь жесткой идеологической цензуры,

как у большевиков, у белых никогда не было, но несвобода прессы ощущалась достаточно сильно. Однако Булгаков, как показывают его первые кавказские фельетоны, писал только «о том, что волнует, что тревожит», о том, что подсказывает «писательская совесть». И этому правилу он стремился неуклонно следовать и в дальнейшем, уже при Советах. При этом Булгаков признавал за большевиками определенное пропагандистское превосходство над другими. Достаточно вспомнить искусного большевистского агитатора в «Белой гвардии», который буквально иллюстрирует дроздовский тезис о том, что «агитация хороша, когда она дерзка и напориста, она хороша, когда кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника». В булгаковском романе оратор-большевик выдает себя за сторонника Петлюры, а его сообщники Шур и Шполянский, прикрывая его исчезновение, подставляют полиции как карманника незадачливого украинского поэта со смешной фамилией Горболаз, который пытался задержать большевика.

Знакомство с деникинской армией сначала в пору успехов, а потом – в период разгрома, убедило Булгакова в изначальной обреченности Белого дела, которое неспособно было спасти геройство отдельных его участников. Ведь оно не могло заменить отсутствие четких и приемлемых для масс политических лозунгов. Разложение тыла и бесчинства контрразведки отвагой нельзя было остановить, заменить героизмом отсутствие позитивных программ в аграрном и национальном вопросе тоже не удалось.

Если предположить, что Булгаков служил в Осваге, то участие его в газете «Кавказ» становится понятным – он мог быть там штатным журналистом. Последние же выезды из Владикавказа по железной дороге, наверное, были связаны уже не с врачебной, а с журналистской деятельностью. Возможно, именно журналистика, которая тоже могла быть связана с фронтом, имеется в виду в фельетоне «В кафэ» в словах «принять участие так или иначе в войне». Здесь же Булгаков рассказывает и о своем опыте владения оружием: «Что касается винтовки, то это чистые пустяки! Уверяю вас, что ничего нет легче на свете, чем вы учиться стрелять из винтовки. Говорю вам это на основании собственного опыта. Что же касается военной службы, то что ж поделаешь! Я тоже не служил, а вот приходится… Уверяю вас, что меня нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойства и бедствия».

Последнему булгаковскому признанию вполне можно верить. Ту же мысль он повторил в еще более определенном виде в «Необыкновенных приключениях доктора»: «Проклятие войнам отныне и вовеки!»

Думается, упоминание об обращении с винтовкой относится к тому времени в ноябре 1919-го, когда Булгаков в качестве военного врача принимал участие в карательных экспедициях против восставших чеченцев и даже, как мы помним, был контужен. Слова же «я тоже не служил, а вот приходится…» относятся, мы полагаем, уже к новой должности Булгакова. Ведь о службе военным врачом он так сказать не мог, поскольку ранее, в 1916 году, уже работал во фронтовых госпиталях. Но служба Булгакова в момент написания фельетона явно не была службой боевого офицера, зато была связана с постоянными железнодорожными разъездами как на фронт, так и по тыловым районам («каждую минуту быть готовым к тому, чтоб оказаться в эшелоне, или еще к какой-нибудь неожиданности военного характера» – может быть, спешной эвакуации из-за приближения красных?). В одной из таких поездок он подхватил тиф, что во многом предопределило дальнейшую судьбу писателя.

Что же касается призывов в воображаемом диалоге идти на фронт, обращенных автором и к самому себе, то они явно иллюзорны, ибо невозможно убедить тыловую кофейную публику идти на фронт ни угрозами, ни силой оружия, ни личным примером. Поэтому слова: «И вам и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне», – автор произносит лишь в фантастическом видении, которое быстро рассеивается под звуки танго. Будущий автор «Белой гвардии» уже давно понимал обреченность Белого дела.

По рассказам Т.Н. Лаппа, последняя поездка Булгакова из Владикавказа при белых была в Пятигорск. Во время этой поездки он заразился возвратным тифом: «Михаил съездил – на сутки. Вернулся: «Кажется, я заболел». Снял рубашку, вижу: насекомое. На другой день – головная боль, температура сорок. Приходил очень хороший местный врач, потом главный врач госпиталя (еще одно доказательство, что госпиталь не был расформирован. – ***Б.С.)***. Он сказал, что у Михаила возвратный тиф: «Если будем отступать – ему нельзя ехать». К тому времени, очевидно, уже произошло последнее крупное сражение зимне-весенней кампании 1920 года у донской станицы Егорлыцкой (17–18 февраля), окончившееся полным поражением последних боеспособных частей Вооруженных сил Юга России. Кроме того, ряды белых косил тиф. Катастрофа стала очевидной всем.

В другой версии своего рассказа Татьяна Николаевна вспоминала: «А белые тут уже зашевелились, красных ждали. Я пошла к врачу, у которого Михаил служил, говорю, что он заболел. «Да что вы! Надо же сматываться!» Я говорю: «Не знаю как. У него температура высокая,

страшная головная боль, он только стонет и всех проклинает. Я не знаю, что делать». Дал он мне адрес еще одного врача, владикавказского, тоже военный. Они его вместе посмотрели и сказали, что трогать и куда-то везти его нельзя. Тут приходят соседи, кабардинцы, приносят черкески: «Вот. Одевайтесь и давайте назад. Сегодня уходим». Я, конечно, никуда уйти не могу – Михаил лежит весь горячий, бредит, ерунду какую-то несет… Я безумно уставала. Как не знаю что. Все же надо было что-то делать – воду все время меняла, голову намачивала… лекарства врачи оставили, надо было давать… И вот, дня через два я выхожу – тут уж не до продуктов, в аптеку надо было – город меня поразил: пусто, никого. По улицам солома летает, обрывки какие-то, тряпки валяются, доски от ящиков… Как будто большой пустой дом, который бросили. Белые смылись тихо, никому ничего не сказали. По Военно-Грузинской дороге. Конечно, они глупо сделали – оставили склады с продовольствием. Ведь можно было как-то… в городе оставались люди, которые у них работали. В общем – никого нет. И две недели никого не было. Такая была анархия! Ингуши грабили город, где-то все время выстрелы… Я бегу, меня один за руку схватил. Ну, думаю, конец. Но ничего, обошлось. И вот Михаил лежал. Один раз у него глаза закатились, я думала – умер. Но потом прошел кризис, и он медленно-медленно стал выздоравливать. Это когда уже красные стали».

Сам Булгаков 1 февраля 1921 года писал двоюродному брату Константину: «Весной я заболел возвратным тифом, он приковал меня… Чуть не издох, потом летом опять хворал».

То, что военный врач, начальник Булгакова по госпиталю, узнал о его болезни только после прихода Татьяны Николаевны – лишнее доказательство, что Михаил Афанасьевич в госпитале уже не служил. Данные Т.Н. Лаппа помогают ориентировочно определить время, когда Булгаков заболел. По ее словам выходит, что это случилось дней за пятнадцать до прихода красных. Красные же – партизанские отряды Н. Гикало и других командиров, появились во Владикавказе только 22 марта. Значит, Булгаков заболел тифом около 7 марта. Это подтверждается и публикацией в газете «Кавказ» 28 февраля его фамилии в числе авторов первого номера. Скорее всего уже после выхода этого номера Булгаков стал собираться в Пятигорск. Что дело не было связано с медициной, доказывается и тем, что первоначально, по свидетельству Т.Н. Лаппа, он хотел отправить в Пятигорск только ее (зачем, Татьяна Николаевна точно не помнила: то ли отвезти что-то, то ли привезти). Возможно, Булгаков намеревался найти в Пятигорске какой-то материал для газеты или, наоборот, пытался отослать туда какие-то свои материалы для публикации.

Несколько дней жена не могла достать билет до Пятигорска, и тогда-то Михаил решил сделать это сам.

Реконструированная хронология пребывания Булгакова на Северном Кавказе при белых позволяет предположить, что количество его публикаций в местных газетах ненамного превышает число уже известных. Вероятно, П.С. Попов перепутал 13 и 19 ноября, и на самом деле первый фельетон под названием «Грядущие перспективы» был напечатан 13 ноября (ст. ст.) 1919 года в газете «Грозный». Новые работы писателя могли появиться в газетах лишь в январе 1920-го, после ухода Булгакова из госпиталя. К ним относится и фельетон «В кафэ» в «Кавказской газете». Еще один рассказ, «Дань восхищения», известный пока лишь во фрагментах, сохранившихся в булгаковском архиве, опубликован в одной из владикавказских газет в первую неделю февраля (ст. ст.) 1920 года.

Рассказ с подзаголовком «Дань восхищения» Булгаков опубликовал в начале февраля 1920 года в одной из кавказских газет. Как предполагают некоторые исследователи, рассказ, который, по воспоминаниям сестры писателя Надежды, назывался «Юнкер», появился 5/18 февраля 1920 года в «Кавказской газете» (Владикавказ). Три фрагмента рассказа, вырезанные из газеты, Булгаков приложил к письму, адресованному сестре Вере в Киев и датированному 26 апреля 1921 года: «…Посылаю три обрывочка из рассказа с подзаголовком «Дань восхищения». Хотя они и обрывочки, но мне почему-то кажется, что они будут небезынтересны вам…» Газета с полным текстом рассказа до сих пор не найдена. Вот текст сохранившихся отрывков: «В тот же вечер мать рассказывает мне о том, что было без меня, рассказывает про сына: – Начались беспорядки… Коля ушел в училище три дня назад и нет ни слуху…»;…«Вижу вдруг – что-то застучало по стене в разных местах и полетела во все стороны штукатурка. – А Коля… Коленька… – Тут голос у матери становится вдруг нежным и теплым, потом дрожит, и она всхлипывает. Потом утирает глаза и продолжает: – А Коленька обнял меня и я чувствую, что он… он закрывает меня… собой закрывает». В своем комментарии Н.А. Булгакова следующим образом передала содержание рассказа: «Сцена обстрела у белой стены. Герои – мать и сын. Мать навещает сына в училище, и на обратном пути он провожает ее. Они попадают под обстрел, сын закрывает мать… Об этом они рассказывают вернувшемуся старшему брату». По воспоминаниям Надежды Афанасьевны, в рассказе уже звучала песня, напечатанная на страницах «Белой гвардии» и ставшая популярной после премьеры «Дней Турбиных»: «Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы, съемки у нас уж давно начались!» В рассказе описывались реальные события,

происшедшие с В.М. и Н.А. Булгаковыми в конце октября 1917 года в Киеве во время боев между сторонниками Временного правительства, Центральной рады и большевиков. 10 ноября 1917 года Варвара Михайловна извещала о происшедшем дочь Надежду и ее мужа Андрея Земского, в то время находившихся в Царском Селе: «Что вы пережили немало треволнений, могу понять, т. к. и у нас здесь пришлось пережить немало. Хуже всего было положение бедного Николайчика как юнкера. Вынес он порядочно потрясений, а в ночь с 29-го на 30-е я с ним вместе: мы были буквально на волосок от смерти. С 25-го октября на Печерске начались военные приготовления, и он был отрезан от остального города. Пока действовал телефон в Инженерном училище, с Колей разговаривали по телефону; но потом прервали и телефонное сообщение… Мое беспокойство за Колю росло, я решила добраться до него и 29-го после обеда добралась. Туда мне удалось попасть; а оттуда, когда в 7 1/2 часов вечера мы с Колей сделали попытку (он был отпущен на 15 минут проводить меня) выйти в город мимо Константиновского училища – начался знаменитый обстрел этого училища. Мы только что миновали каменную стену перед Константиновским училищем, когда грянул первый выстрел. Мы бросились назад и укрылись за небольшой выступ стены; но когда начался перекрестный огонь по училищу и обратно, – мы очутились в сфере огня – пули шлепались о ту стену, где мы стояли. По счастью, среди случайной публики (человек 6), пытавшейся здесь укрыться, был офицер: он скомандовал нам лечь на землю, как можно ближе к стене. Мы пережили ужасный час: трещали пулеметы и ружейные выстрелы, пули «цокались» о стену, а потом присоединилось уханье снарядов… Но, видно, наш смертный час еще не пришел, и мы с Колей остались живые (одну женщину убило), но мы никогда не забудем этой ночи… В короткий промежуток между выстрелами мы успели (по команде того же офицера) перебежать обратно до Инженерного училища. Здесь уже были потушены огни; вспыхивал только прожектор; юнкера строились в боевой порядок; раздавалась команда офицеров: Коля стал в ряды, и я его больше не видела… Я сидела на стуле в приемной, знала, что я должна буду там просидеть всю ночь, о возвращении домой в эту страшную ночь нечего было и думать, нас было человек восемь такой публики, застигнутой в Инженерном училище началом боевых действий. Когда я пришла в себя после пережитого треволнения, когда успокоилось ужасное сердцебиение (как мое сердце только вынесло перебежку по открытому месту к Инженерному училищу) – уже снова начали свистать пули, – Коля обхватил меня обеими руками, защищая от пуль и помогая бежать… Бедный

мальчик, как он волновался за меня, а я за него…

Минуты казались часами, я представляла себе, что делается дома, где меня ждут, боялась, что Ванечка кинется меня искать и попадет под обстрел… И мое пассивное состояние превратилось для меня в пытку… Понемногу публика выползла из приемной в коридор, а потом к наружной двери… Здесь в это время стояли два офицера и юнкер артиллерийского училища, тоже застигнутые в дороге, и вот один из офицеров предложил желающим провести их через саперное поле к бойням на Демиевке этот район был вне обстрела… В числе пожелавших пуститься в этот путь оказались 6 мужчин и две дамы (из них одна я). И мы пошли… Но какое это было жуткое и фантастическое путешествие среди полной темноты, среди тумана, по каким-то оврагам и буеракам, по непролазной липкой грязи, гуськом друг за другом при полном молчании, у мужчин в руках револьверы. Около Инженерного училища нас остановили патрули (офицер взял пропуск), и около самого оврага, в который мы должны были спускаться, вырисовывалась в темноте фигура Николайчика с винтовкой… Он узнал меня, схватил за плечи и шептал в самое ухо: «Вернись, не делай безумия. Куда ты идешь? Тебя убьют!», но я молча его перекрестила, крепко поцеловала, офицер схватил меня за руку, и мы стали спускаться в овраг… Одним словом, в час ночи я была дома (благодетель офицер проводил меня до самого дома). Воображаете, как меня ждали? Я так устала и физически и морально, что опустилась на первый стул и разрыдалась. Но я была дома, могла раздеться и лечь в постель, а бедный Николайчик, не спавший уже две ночи, вынес еще два ужасных дня и ночи. И я была рада, что была с ним в ту ужасную ночь… Теперь все кончено… Инженерное училище пострадало меньше других: четверо ранено, один сошел с ума».

В «Белой гвардии» Николка Турбин, напевая «Съемки», вспоминает бой у Инженерного училища в октябре 1917 года: «Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инженеры идут – ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор…»

Последующие материалы, если они были, не могли выйти позднее первой недели марта из-за болезни автора и отступления Белой армии с Кавказа. Может быть, кому-то еще посчастливится найти неизвестные номера кавказских газет того времени, а в них – новые булгаковские

тексты.

Булгаков, очнувшись от тифозного забытья, увидел, что очутился в другом мире, воспринимаемом как безусловно враждебный. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, он не раз укорял жену: «Ты – слабая женщина, не могла меня вывезти!» Но его упреки были несправедливы. Вспомним, что говорили врачи: «Что же вы хотите – довезти его до Казбека и похоронить?» Кстати, местный врач, в отличие от начальника госпиталя, с белыми не ушел, и, по свидетельству Татьяны Николаевны, именно он помог выходить Михаила Афанасьевича. Как знать, если бы не усилия этих людей, включая безымянного доктора, русская и мировая литература могла бы лишиться великого писателя. А не заболей Михаил Афанасьевич тифом перед уходом белых из Владикавказа, у него было бы очень мало шансов осуществить свое писательское предназначение. Булгаков мог умереть в дороге от болезни, погибнуть в бою, оказаться в плену и быть расстрелянным красными как офицер (кто бы стал разбираться, что он военный чиновник все равно же в погонах!). Наконец, если бы Булгакову даже посчастливилось благополучно перейти грузинскую границу или добраться до черноморских портов и эвакуироваться в Крым, а потом, уже с Врангелем, в Турцию, неизвестно, стал ли бы он в эмиграции великим писателем.

История романа

Впервые роман «Белая гвардия» был опубликован (не полностью): Россия, М., 1924, № 4; 1925, № 5. Целиком он был издан в Париже в 1927–1929 годах издательством «Конкорд» под названием «Дни Турбиных (Белая гвардия)». 2-й том этого издания под заглавием «Конец Белой гвардии» вышел также в Риге в «Книге для всех». В мае 1926 года был арестован и выслан за границу редактор «России» И.Г. Лежнев. Это было связано с решением Политбюро о ликвидации сменовеховского движения. Это движение возникло в 1921 году с публикацией сборника «Смена вех» и призывало эмиграцию работать с большевиками, поскольку надеялось на эволюцию большевистского режима. «Россия» наряду с берлинской газетой «Накануне», где также активно публиковался Булгаков, была одним из главным органов сменовеховцев. В связи с этим у Булгакова 7 мая 1926 года был произведен обыск и изъяты рукописи дневника и «Собачьего сердца». Вопрос о возможности публикации окончания «Белой гвардии» в СССР фактически отпал.

22 сентября 1926 года Булгаков был вызван на допрос в ОГПУ по поводу его связи со сменовеховцами. На допросе он, в частности, показал: «На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать. Из рабочего быта мне писать трудно. Я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало и вот по какой причине: я занят. Я очень интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги. Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги. Я всегда пишу по чистой совести и так как вижу. Отрицательные явления жизни в советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я – сатирик)». Эти идеи писатель отразил как в «Белой гвардии», так и в Письме Правительству СССР от 28 марта 1930 года. Следователи еще до допроса ознакомились с булгаковским дневником, где содержались резко негативные оценки сменовеховцев. Никаких репрессий против Булгакова не последовало.

Роман был посвящен второй жене писателя Любови Евгеньевне Белозерской-Булгаковой.

К роману «Белая гвардия» тесно примыкают рассказы «В ночь на 3-е число», «Я убил» и «Налет». Те же события, что и в «Белой гвардии», отразились и в неоднократно уже упоминавшемся в нашей книге рассказе «Необыкновенные приключения доктора». Этот рассказ – самый ранний по времени появления, если брать только рассказы, где отразились те же события жизни писателя, что и в «Белой гвардии».

Также и в неоднократно упоминавшемся уже рассказе «Необыкновенные приключения доктора», опубликованном во втором номере журнала «Рупор» за 1922 год, запечатлены, среди прочего, и два киевских переворота, ставшие основным содержанием «Белой гвардии». Главный герой рассказа, доктор N., явно автобиографичен. «Необыкновенные приключения доктора» во многом отражают события жизни Булгакова в период с конца 1918 до начала 1920 года. Как мы уже отмечали, этот рассказ – единственное булгаковское произведение, где писатель признает факт мобилизации близкого себе по жизненным обстоятельствам героя не только в гетманскую и петлюровскую, но также и в Красную, и в Белую армии. Булгакову опасно было признаваться в службе у белых. Поэтому он скрывал свое медицинское образование, особо подчеркивал в рассказе, что это не его собственные воспоминания, а записки друга, который то ли погиб во время Новороссийской эвакуации армии генерала А.И. Деникина в марте 1920 года, то ли благополучно эмигрировал в Буэнос-Айрес. Булгаков особо предупреждал сестру Надю, в письме от 26 апреля 1921 года, не вести с его владикавказской знакомой актрисой О.А. Мишон никаких разговоров на медицинские темы и внушить ей, что до того как заняться журналистикой, он окончил не медицинский, а естественный факультет.

В «Необыкновенных приключениях доктора» главный герой так вспоминает события, связанные с падением гетмана Скоропадского: «Меня мобилизовала пятая по счету власть (правительство Скоропадского действительно было в Киеве пятой по счету властью, если первой считать Временное правительство, здесь Булгаков абсолютно точен. – ***Б.С.)***… Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился… К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это «ихние». На западной пулеметы – «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще – вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут…»

«Ваша часть (какая, к черту, она моя!) на Владимирской». Бегу на Владимирскую и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех,

где «моя» часть… Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу – какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:

– Держи его! Держи!

Я оглянулся – кого это?

Оказывается, меня!

Тут только я сообразил, что надо было делать – просто-напросто бежать домой. И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор.

Те кричат:

– Стой!

Но как я ни неопытен во всех этих войнах, я понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах!»

Несколько иначе этот эпизод изложен в «Белой гвардии», где военный врач Алексей Турбин, в отличие от безымянного доктора в рассказе, добровольно вступивший в офицерскую дружину, тоже спасается от петлюровцев, но менее успешно, и в результате получает ранение. Думается, что в этот день, 14 декабря, петлюровцы за Булгаковым не гнались, и он спокойно приехал домой на извозчике, когда стала ясна бесполезность сопротивления, как об этом и рассказала Т.Н. Лаппа. Писатель запечатлел здесь свое бегство от петлюровцев в феврале 1919 года при отступлении из Киева войск Украинской Народной Республики. В момент создания «Необыкновенных приключений доктора» (а рассказ был написан в начале марта 1922 года) Булгаков, как кажется, еще не писал «Белую гвардию», поэтому и предпочел в одно контаминировать события, происшедшие с ним 14 декабря 1918 года и в ночь со 2-го на 3-е февраля 1919 года.

Рассказ «В ночь на 3-е число», имеющий подзаголовок «Из романа «Алый мах», был опубликован 10 декабря 1922 года в Литературном приложении к берлинской газете «Накануне». Если роман «Алый мах» – не мистификация, то, скорее всего, это первоначальное название романа «Белая гвардия», и в данном случае мы имеем дело с ранней редакцией «Белой армии». Текст рассказа чрезвычайно близок к тексту того окончания «Белой гвардии», которое не было опубликовано из-за закрытия журнала «Россия» в мае 1926 года. Рассказ отличается от «Белой гвардии» прежде всего фамилиями героев. Доктор Алексей Турбин здесь именуется доктором Михаилом Бакалейниковым, Николка Турбин – Колькой Бакалейниковым, Леонид Юрьевич Шервинский – Юрием Леонидовичем, Елена Тальберг – Варварой Афанасьевной, причем в тексте рассказа она не сестра доктора Бакалейникова, а его жена. Данное обстоятельство является

существенным для реконструкции первоначального замысла романа. Судя по всему, в 1922 году, после того как Булгаков воссоединился в Москве с Тасей, на семейном фронте у писателя было всё благополучно, и он хотел сделать Тасю, которой собирался посвятить роман, одной из главных героинь. Тогда он собирался слить в образе жены доктора Бакалейникова черты Таси и своей сестры Вари, с которой у жены доктора Бакалейникова общие имя и отчество. Неизвестно, фигурировал ли в тот момент в замысле романа Тальберг, восходящий к мужу В.А. Булгаковой Л.С. Каруму, но даже если и фигурировал, он никак не мог быть мужем Варвары Афанасьевны, поскольку ее мужем был доктор Бакалейников. Вероятно в дальнейшем, по мере того как происходило охлаждение в отношениях Булгакова с Т.Н. Лаппа, писатель существенно изменил замысел и сделал Алексея Турбина холостым. А Варвара Афанасьевна Бакалейникова, превратившись в сестру Алексея Турбина Елену Турбину-Тальберг, стала в первую очередь воплощением в романе Варвары Афанасьевны Карум-Булгаковой. Этот образ, вероятно, сохранил и какие-то черты Т.Н. Лаппа. Возможно, в трансформации главной героини романа из жены в сестру главного героя сыграл свою роль и начавшийся в январе 1924 года роман с Любовью Евгеньевной Белозерской, ставшей второй женой писателя. Но некоторые черты Т.Н. Лаппа в образе Елены Турбиной, несомненно, сохранились. В частности, страстная молитва Елены за жизнь тяжело больного брата больше напоминает молитву жены и в основе, скорее всего, имеет болезнь самого Булгакова во Владикавказе весной 1920 года, когда его, лежавшего в тифу, выходила Т.Н. Лаппа. Несомненно также, что клинически точное описание тифозного бреда Алексея Турбина и всего течения болезни отражает собственный печальный опыт Булгакова, свалившегося в сыпном тифу во Владикавказе весной 1920 года, что не позволило ему покинуть город вместе с отступающими белыми войсками.

Из персонажей «Белой гвардии» в рассказе под тем же именем фигурирует инженер Василий Лисович. Имена героев рассказа оказываются гораздо ближе к именам реальных прототипов. Для Михаила Бакалейникова и Алексея Турбина прототипом послужил сам Михаил Булгаков, для Кольки Бакалейникова и Николки Турбина – его брат Николай, для Варвары Афанасьевны и Елены Турбиной-Тальберг – сестра Варвара Афанасьевна Булгакова (по мужу – Карум), для Юрия Леонидовича и Леонида Юрьевича Шервинского – друг Булгакова и двоюродный племянник мужа Вари Булгаковой Леонида Сергеевича Карума Юрий Леонидович Гладыревский. По свидетельству первой жены Булгакова Т.Н. Лаппа, описанный в рассказе «В ночь на 3-е число» и в

соответствующих главах «Белой гвардии» эпизод имел место в действительности, когда в ночь со 2-го на 3-е февраля 1919 года, во время отступления петлюровских войск из Киева, Булгаков был мобилизован как военный врач, видел страшное убийство еврея у Цепного моста, а затем смог отстать от петлюровцев и, рискуя быть расстрелянным за дезертирство, добрался домой, запыхавшись от быстрого бега и испытав сильное нервное потрясение. Тогда Т.Н. Лаппа на самом деле ждала мужа вместе с В.А. Булгаковой (Карум) и братьями Иваном и Николаем Булгаковыми. В рассказе запечатлено потрясшее автора убийство еврея: «Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидал секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь, у входа на проклятый мост… Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже «ух». Как-то странно, подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно побольше хотел захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию».

Совпадение соответствующих глав «Белой гвардии» и рассказа «В ночь на 3-е число», особенно в случае с той редакцией окончания романа, которая предназначалась для публикации в журнале «Россия», практически полное, текстуальное, с очень небольшой редакционной правкой и вставками. Здесь Турбин, мобилизованный в петлюровскую армию, лично наблюдает убийство еврея, а до этого – издевательство пана куренного над одним из своих солдат и корит себя «интеллигентской мразью». А вот в варианте финала, опубликованном в Париже в 1929 году, Турбин уже не мобилизуется в петлюровскую армию, и убийство еврея в Слободке мы наблюдаем уже как бы глазами автора.

Между тем в автобиографии, написанной в октябре 1924 года, Булгаков отмечал, что недавно закончил роман «Белая гвардия», который писал в течение года. В свете этого сообщения невероятно, чтобы «Белая гвардия», пусть даже в ранней редакции под названием «Алый мах», была уже почти закончена к декабрю 1922 года – времени публикации рассказа «В ночь на 3-е число». Скорее всего, на самом деле роман был начат с одной из последних глав, запечатлевшей событие, в наибольшей мере потрясшее Булгакова, – первую насильственную смерть человека на его

глазах и при полном бессилии что-нибудь изменить. До этого писателю, по крайней мере, однажды приходилось видеть смерть – в 1915 году в его присутствии застрелился близкий друг Борис Богданов. Происшедшее тогда потрясло Булгакова, но все же это было не убийство, а самоубийство. Человек добровольно лишил себя жизни, ее не отняли у него насильно. Случай у Цепного моста (куда в «Театральном романе» позднее писатель приведет кончающего с собой драматурга Максудова) потряс Булгакова и, думается, навсегда остался его самым сильным впечатлением.

Финал рассказа «В ночь на 3-е число» в тексте «Белой гвардии» отсутствует, но концовка рассказа уже в конденсированном виде содержит будущий финал романа: «Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улицы, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки от Слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгинула черная лента, пересекшая город, в мраке на другой стороне. Небо висело: бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь – путь серебряный, млечный».

Здесь то же общепримиряющее звездное небо – символ морального абсолюта, здесь восходящая над городом звезда Венеры – богини любви, но звезда «чуть красноватая» – от обильно пролитой на земле крови. В начале же «Белой гвардии» над городом «особо высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская Венера и красный, дрожащий Марс», звезды богини любви и бога войны, символы умиротворения и насилия. Вероятно, мысль о таком вступлении и заключении романа была у Булгакова еще в пору написания рассказа. В финале «Белой гвардии» говорится о грядущем исчезновении войны – меча. В рассказе же с небосклона исчезает звезда бога войны – Марс. Если в момент гибели человека у моста доктор Бакалейников, как и доктор Турбин, видит, что звезда Венеры чудесным образом сливается со вспышкой артиллерийского разрыва, то в финале «Белой гвардии» Венера вновь обретает свой обычный, играющий облик, склеившись опять после чудовищного взрыва. Это олицетворяет грядущее восстановление быта и бытия.

Рассказ «Налет», имеющий подзаголовок «В волшебном фонаре», был опубликован в газете «Гудок» 25 декабря 1923 года. Здесь впервые в булгаковском творчестве появляется сцена, ставшая позднее одной из наиболее важных в пьесе «Бег» (1928). В рассказе красноармеец Стрельцов перед лицом неминуемой смерти обличает захвативших его в плен бандитов (возможно, петлюровцев, так как действие происходит на

Украине) и гибнет, не проявляя страха перед своими палачами. В «Беге» – гневные слова в лицо генералу-вешателю Хлудову бросает вестовой Крапивлин, однако потом малодушно просит пощады, что, впрочем, не спасает его от петли. В «Налете», несомненно, отразились воспоминания Булгакова о происшедшем на его глазах убийстве еврея петлюровцами в Киеве у Цепного моста в ночь со 2-го на 3-е февраля 1919 года. Однако главный герой рассказа еврей Абрам чудом остается жив после расстрела, а погибает только его русский товарищ Стрельцов. Сам расстрел происходит у штабелей дров, как и потрясшее Булгакова убийство. В рассказе «Налет» дрова, много лет спустя привезенные в клуб, где работает Абрам, провоцируют его на воспоминания о происшедшей трагедии. Показательно, что и в «Налете», и в рассказе «Я убил», и в пьесе «Бег» герои решаются на открытый протест против насилия с риском для жизни. Стрельцов, как и Крапилин, – явно из народа, а не из интеллигенции, чем, вероятно, Булгаков и объясняет его смелость, тогда как более интеллигентный Абрам во все время налета испытывает одно только чувство сильнейшего страха.

Рассказ «Я убил» был опубликован в номерах 44 и 45 журнала «Медицинский работник» за 1926 год. Это произошло уже после того как стало ясно, что окончание романа «Белая гвардия» в журнале «Россия» уже не появится, поскольку журнал был закрыт. Главное действующее лицо рассказа – автобиографический доктор Яшвин. Рассказ примыкает к ранее опубликованному в том же журнале «Медицинский работник» циклу «Записки юного врача» и появившемуся там же позднее рассказу (или повести) «Морфий». В рассказе «Я убил», как и в рассказе «В ночь на 3-е число» и в романе «Белая гвардия» запечатлено потрясшее Булгакова в ночь со 2-го на 3-е февраля 1919 года в Киеве у Цепного моста убийство еврея. Здесь петлюровский полковник Лещенко (в рассказе «В ночь на 3-е число» фигурирует полковник Мащенко) рукояткой пистолета убивает неизвестного дезертира (не еврея) на глазах доктора. В «Белой гвардии» же и в рассказе «В ночь на 3-е число» убийство неизвестного еврея у Цепного моста совершает ударом шомпола по голове безымянный куренной. «Я убил» – единственный рассказ, где интеллигент, имеющий автобиографические черты, действительно, а не только в воображении, как доктор Бакалейников из «В ночь на 3-е число» и доктор Турбин из «Белой гвардии», карает палача-петлюровца. Последней каплей, переполнившей чашу терпения доктора Яшвина, стали обвинения, брошенные ему в лицо женщиной, мужа которой расстреляли петлюровцы: «Какой вы подлец… вы в университете обучались – и с этой рванью… На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не

свел… А вы ему перевязочку делаете?…» На убийство Яшвина провоцирует приказ Лещенко дать женщине 25 шомполов. Вместо перевязки доктор стреляет полковнику в голову из браунинга. Бакалейникову и Турбину для этого требуются воображаемые большевики-матросы, и они потом корят себя «интеллигентской мразью» за трусость и нерешительность. Доктор же Яшвин в конце рассказа с удовлетворением констатирует: «О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту». Как и более ранний «Налет», рассказ «Я убил» представляет собой повествование от лица главного героя уже в мирной обстановке о событиях Гражданской войны. Этот рассказ – последнее по времени создания произведение, где перед интеллигентом встает дилемма, убивать или не убивать палача. Вероятно, к 1926 году Булгаков уже пришел к убеждению, что в случае повторения ситуации ночи со 2-го на 3-е февраля 1919 года он бы теперь действовал решительно и беспощадно.

Семья Турбиных – это в значительной степени семья Булгаковых. Турбина – девичья фамилия бабушки Булгакова со стороны матери, Анфисы Ивановны, в замужестве – Покровской. Фамилия «Турбины» происходит от слова «турба», означающего морду у кошки и собаки, а также лошадиное рыло. Это слово – финского происхождения. В карельском языке слово turba, а в финском языке слово turpa означают «морда». Иногда турбой в насмешку называли и человеческое лицо. Вероятно, подобное прозвище могли дать человеку с неприятным, некрасивым лицом. В украинском языке и некоторых русских говорах «турба» означает беспокойство, хлопоты. В этом значении данное слово могло стать прозвищем беспокойного человека. Вероятно, именно этот последний вариант этимологии фамилии «Турбины» Булгаков и имел в виду в «Белой гвардии». Ведь он показывал в романе огромное беспокойство, которое сотворила в стране революция.

Роман был начат в 1922 году, после смерти матери писателя, Варвары Михайловны Булгаковой, последовавшей 1 февраля 1922 года. В романе смерть матери Алексея, Николки и Елены Турбиных отнесена к маю 1918 года, ко времени ее брака с давним другом, врачом Иваном Павловичем Воскресенским, которого Булгаков откровенно недолюбливал.

Скажем здесь несколько слов о родителях Михаила Афанасьевича. Его отец, Афанасий Иванович Булгаков, статский советник и профессор богословия, родился 17/29 апреля 1859 года в семье православного священника Ивана Авраамьевича Булгакова и Олимпиады Ферапонтовны Булгаковой (урожденной Ивановой).

Фамилия «Булгаков» происходит от тюркского существительного

«булгак», которое, в свою очередь, является производным от глагола «булга». Глагол имеет значения «махать», «перемешивать», «взбалтывать», «мутить», «махать», «качаться», «биться». От него, кстати сказать, происходит русский жаргонный глагол «булгачить», означающий «скандалить, производить переполох, беспокоить, будоражить». Слово же «булгак» буквально означает «гордо ходящий человек» или просто «гордец». Здесь есть некоторое сходство в этимологии с фамилией «Турбин», поскольку слово «турба» в одном из своих значений – это беспокойство.

Афанасий Иванович окончил в 1881 году Орловскую духовную семинарию и как один из наиболее выдающихся ее выпускников был официально «предназначен» для поступления в Киевскую духовную академию, которую он окончил в 1885 году. Два года преподавал греческий в Новочеркасском духовном училище. В 1886 году опубликовал в Киеве «Очерки истории методизма» и в следующем году был удостоен за это сочинение степени магистра богословия, определен в академию доцентом по кафедре общей гражданской истории, а с начала 1889 года переведен на кафедру истории и разбора западных исповеданий. В 1902 году он был избран экстраординарным профессором, 11 декабря 1906 года удостоен степени доктора богословия, а 8 февраля 1907 года Святейший синод утвердил Афанасия Ивановича Булгакова в звании ординарного профессора. Это произошло тогда, когда он был уже смертельно болен нефросклерозом, от которого и скончался 14 марта 1907 года. Так Михаил и его шесть братьев и сестер осиротели. Будущему писателю было тогда 15 лет.

1 июля 1890 года Афанасий Иванович женился на учительнице женской прогимназии города Карачева Варваре Михайловне Покровской, матери Булгакова. Варвара Михайловна, урожденная Покровская, во втором браке – Воскресенская, родилась 5/17 сентября 1869 года в городе Карачеве Орловской губернии, в семье соборного протоиерея. Она окончила Орловскую женскую гимназию с программой мужских гимназий. В 1888–1890 годах была учительницей в 4-м классе Карачевской женской прогимназии. У них с Афанасием Ивановичем было семеро детей: Михаил (1891), Вера (1892), Надежда (1892), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902). После смерти мужа Варвара Михайловна с 1908 года работала казначеем во Фребелевском обществе. В 1906 году она познакомилась с врачом-педиатром Иваном Павловичем Воскресенским, который был младше ее почти на десять лет, а в мае 1918 года вышла за него замуж. 5 июля 1920 года они повенчались. Булгаков не одобрял связь

матери с Воскресенским, возможно, из-за того, что Иван Павлович был значительно младше своей возлюбленной. По воспоминаниям Т.Н. Лаппа, «Михаил… все возмущался, что Варвара Михайловна с Воскресенским… Он каждую субботу приезжал в Бучу (поселок в 30 км от Киева, где была дача семьи Булгаковых. – ***Б.С.)***, а если они были в Киеве, приходил все время, поздно возвращался. Даже ночевать оставался где-то там… отдельно… не знаю, Михаила это очень раздражало. Он мне говорил: «Я просто…». Он выходил из себя. Конечно, дети не любят, когда у матери какая-то другая привязанность. Или они уходили гулять куда-то там на даче, он говорит:

«Что это такое, парочка какая пошла». Переживал. Он прямо говорил мне: «Я просто поражаюсь, что мама затеяла роман с доктором». Очень был недоволен». В «Белой гвардии» временем смерти матери Турбиных назван как раз май 1918 года, когда состоялся брак матери с И.П. Воскресенским и когда она навсегда оставила «дом Турбиных». Булгаков не хотел говорить в романе о новой семье матери, но любовь к ней сохранил на всю жизнь – вспомним авторский монолог в «Белой гвардии»: «Мама, светлая королева, где же ты?» И рядом с этим горькое: «Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?»

Варвара Михайловна скончалась от тифа в Киеве 1 февраля 1922 года. Булгаков не смог приехать на похороны матери из Москвы по причине отсутствия средств (этот и последующие месяцы были самыми тяжелыми, недаром в булгаковском дневнике 9 февраля 1922 года было отмечено: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем»). Согласно записям сестры Булгакова, Надежды, в феврале 1922 года, после кончины Варвары Михайловны, Михаил написал письмо: «М. А. смертью матери был потрясен. Письмо это – вылитая в словах матери скорбь: обращаясь к матери на Ты (с большой буквы), он пишет ей о том, чем она была в жизни детей; пишет о необходимости сохранить дружбу всех детей во имя памяти матери… Михаил Афанасьевич взял это письмо у сестры «посмотреть» и не вернул…». В ноябре 1939 года, уже будучи смертельно больным, Булгаков, как свидетельствуют дневниковые записи НА. Булгаковой, говорил ей: «Мать. Ее замужество с Иваном Павловичем. Булгакова-Воскресенская. (Узнал об этом только, посетив могилу, прочтя на памятнике). «Я достаточно отдал долг уважения и любви к матери, ее памятник – строки в «Белой гвардии».

Хотя И.П. Воскресенский, как мы помним, помог Булгакову избавиться от тяжкого недуга и Михаил об этом догадывался, его

отношение к Ивану Павловичу не изменилось. В 1918 году Варвара Михайловна, выйдя замуж за Воскресенского, переехала к нему на Андреевский спуск, в дом № 38, который располагался по соседству с прежней квартирой, «домом Турбиных». По словам Т.Н. Лаппа, Булгаков «очень переживал» это событие. Об отношениях матери с Воскресенским Булгаков не хотел упоминать даже в романе, и ее отсутствие в турбинской квартире предпочел объяснить иначе. Очевидно, уход матери к Воскресенскому старший сын переживал особенно болезненно именно в мае 1918 года еще и потому, что тогда казалось, что жизнь булгаковской семьи, почти все члены которой собрались вместе, наконец-то стала как-то налаживаться после революционных бурь в гетманском Киеве, под сенью германских штыков.

Надо признать, что нелюбовь Михаила к новому мужу матери не разделялась его братьями и сестрами. Например, брат Николай 16 января 1922 года писал матери из Загреба, куда занесла его судьба вместе с остатками армии Врангеля: «После довольно бедственного года, проведенного мною в борьбе за существование, я окончательно поправил свои легкие и решил снова начать учебную жизнь. Но не так легко это было сделать: понадобился целый год службы в одном из госпиталей, чтобы окончательно стать на ноги, одеться с ног до головы и достать хоть немного денег для начала тяжкого в нынешние времена учебного пути. Это была очень тяжелая и упорная работа: так, например, я просидел взаперти 22 суток один-одинешенек с оспенными больными крестьянами, доставленными из пораженного эпидемией уезда. Работал в тифозном отделении с 50 больными, и Бог меня вынес целым и невредимым. Все это смягчалось сознанием, что близка намеченная цель. И, действительно, я скопил денег, оделся, купил все необходимое для одинокой жизни и уехал в Университет (Загребский), куда меня устроил проф. Лапинский по моим бумагам. Сначала работал, сколько сил хватало, чтобы показать себя. Теперь я освобожден от платы за нравоучение и получаю от Университета стипендию, равную 20–25 рублей мирного времени. Половину этого (или немного менее) отнимает квартира, отопление, освещение, а остальное на прочие потребности жизни: еду и остальные…

Милый, добрый Иван Павлович, как я счастлив сознанием, что Вы стали близким родным человеком нашей семье. Сколько раз я утешал себя мыслью, что Вы с Лелей поддержите мою добрую мамочку, и все волновался за Ваше здоровье. С Вашим образом у меня связаны самые лучшие, самые светлые воспоминания, как о человеке, приносившем нашему семейству утешение и хорошие идеи доброго русского сердца и

примеры безукоризненного воспитания.

На словах мне трудно выразить все то, что Вы сделали маме в нашей трудной жизни, нашей семье и мне на заре моей учебной жизни. Бог поможет Вам, дорогой Иван Павлович».

После смерти отца Булгаков ощущал себя старшим мужчиной в семье. В автобиографическом рассказе «Красная корона» мать не случайно обращается к главному герою: «Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший». Иван Павлович же, по мере сближения с матерью, грозил занять его место и, очевидно, вызывал симпатию младших братьев и сестер. Возможно, именно в этом крылась главная причина неприятия Михаилом нового мужа матери.

Но вернемся к истории первого булгаковского романа. Рукопись «Белой гвардии» не сохранилась. Как говорил Булгаков своему другу П.С. Попову в середине 20-х годов, «Белая гвардия» была задумана и написана в 1922–1924 годах. По свидетельству перепечатывавшей роман машинистки И.С. Раабен, первоначально роман задумывался как трилогия, причем в третьей части, действие которой охватывало весь 1919 год, Мышлаевский оказывался в Красной Армии, как Рощин из «Хождения по мукам» Алексея Толстого. Не исключено, что здесь у мемуаристки слились образы Мышлаевского и Рощина, причем Мышлаевского из пьесы «Дни Турбины», где герой, имея в виду предстоящую мобилизацию в Красную Армию, с удовлетворением замечает, что будет служить в русской армии. Думаю, что на самом деле Булгаков все-таки не собирался делать столь симпатичного героя красным, тем более что его прототип благополучно эмигрировал.

Отрывок из ранней редакции романа «В ночь на 3-е число» был опубликован в берлинской газете «Накануне». Не исключено, что под «Алым махом» подразумевалось общее наступление Красной Армии, начавшееся в конце 1918 года, после германской капитуляции, и завершившийся в конце 1919 – начале 1920 года разгромом Вооруженных сил Юга России. В качестве возможных названий романов предполагавшейся трилогии в воспоминаниях современников фигурировали «Полночный крест» и «Белый крест». В обоих случаях, очевидно, имелся в виду электрический крест на памятнике Святому Владимиру, возникающий в начале и в конце романа и символизирующий вечные христианские ценности, сохраняющиеся, несмотря на все бури и кровопролитие.

В фельетоне «Самогонное озеро», появившемся в 1923 году, Булгаков так отозвался о «Белой гвардии»: «А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, от которого небу станет жарко…» Однако во второй

половине 20-х годов в беседе с П.С. Поповым писатель назвал «Белую гвардию» романом «неудавшимся», хотя «к замыслу относился очень серьезно». А в автобиографии, написанной в октябре 1924 года, Булгаков зафиксировал: «Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей». Но Булгакова мучили сомнения насчет литературных достоинств романа. В дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 года он зафиксировал их в дневнике: «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу». А 5 января 1925 года записал: «Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь и «Белая гвардия» не сильная вещь».

Что ж, наверное, по сравнению с «Мастером и Маргаритой» «Белую гвардию» можно признать романом не до конца удавшимся. Но и современники и в еще большей степени потомки справедливо считали роман одним из лучших романов о Гражданской войне и едва ли не единственным, где события показаны объективно и в изображении и белых, и большевиков нет никакой карикатурности.

Из-за того что в СССР роман «Белая гвардия» так и не был опубликован полностью, а зарубежные издания конца 20-х годов были малодоступны на родине писателя, он не удостоился особого внимания прессы. Правда, известный критик Александр Воронский в конце 1925 года успел назвать «Белую гвардию» произведением «выдающегося литературного качества», за что в начале 1926 года получил резкую отповедь главы Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) Леопольда Авербаха в рапповском органе – журнале «На литературном посту». В дальнейшем постановка по мотивам романа «Белая гвардия» пьесы «Дни Турбиных» во МХАТе осенью 1926 года переключила внимание критики на это произведение, и о самом романе забыли. Вместе с тем существовала и высокая оценка «Белой гвардии» авторитетным современником. Поэт Максимилиан Волошин пригласил Булгакова к себе в Коктебель и 5 июля 1926 года подарил ему акварель с примечательной надписью: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу российской усобицы, с глубокой любовью…» Тот же Волошин в письме издателю альманаха «Недра» Н.С. Ангарскому (Клестову) в марте 1925 года утверждал, что «как дебют начинающего писателя «Белую гвардию» можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого». Булгаков при переделке текста романа в конце 20-х годов убрал некоторые цензурно острые моменты, например, фразу: «Турбин дал себе слово не читать газет, тем более украинских». В повести «Собачье сердце», запрещенную цензурой, она трансформировалась в совет профессора

Преображенского: «Не читайте до обеда советских газет». В пассаже об украинских газетах Булгаков, возможно, опирался на свидетельство Романа Гуля в «Киевской эпопее»: «Пугали нас украинские газеты: «Нова Рада» и «Видродження». В обеих велась сильная кампания против «добровольцев» и приводились действительно веские аргументы. Так, по «Видродження», на собравшейся в Киев спилке появился крестьянин с вырезанным языком. Язык вырезан карательным отрядом. Здесь же, в музее, сидело довольно много таких карателей, не стеснявшихся рассказывать о своих подвигах. «Нова Рада» приводила факты грабежей добровольцев. И тут же, в музее, приходилось узнавать, что она не лгала».

Писатель также несколько облагородил ряд действующих лиц, в частности Мышлаевского и Шервинского, явно с учетом развития этих образов в «Днях Турбиных». В целом же в пьесе характеры героев оказались психологически более глубокими, не такими рыхлыми, как в романе. Главное же, действующие лица теперь не дублировали друг друга.

Прототипы «Белой гвардии»

В романе Булгаков прибег к типизации образов, а также значительно сжал время действия. Так, в действительности подступившие к Киеву войска Директории во главе с Симоном Петлюрой и Владимиром Винниченко начали артиллерийский обстрел города уже вечером 21 ноября 1918 года, а описанные в романе похороны офицеров и юнкеров состоялись 27 ноября. У Булгакова же в романе с момента начала боев под Городом и до его взятия петлюровцами 14 декабря проходит всего трое суток. Главный герой, Алексей Турбин, хоть и явно автобиографичен, но, в отличие от писателя, не земский врач, только формально числившийся на военной службе, а настоящий военный медик, много повидавший и переживший за три года мировой войны. Он в гораздо большей степени, чем Булгаков, является одним из тех тысяч и тысяч офицеров, которым приходится делать свой выбор после революции, служить вольно или подневольно в рядах враждующих армий. Булгаков в «Белой гвардии» противопоставляет друг другу две группы офицеров. С одной стороны, это те, кто «ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку», а с другой стороны – «вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, – отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь». Зная результаты Гражданской войны, Булгаков явно на стороне вторых, ибо убежден, что обуздать народную стихию могут только большевики, при всей их несимпатичности. Но и тех офицеров, которых ненависть к большевикам побуждает драться, он не осуждает. И в романе братья Турбины, Мышлаевский, Студзинский, Карась, Малышев, Най-Турс – все те, кто готов пойти в безнадежный и неравный бой, написаны с любовью и выглядят совсем иначе, чем несимпатичный расчетливый Тальберг, знающий об обреченности Города и потому предпочитающий заранее покинуть поле боя. Но все-таки лейтмотивом «Белой гвардии» становится идея сохранения Дома, родного очага, несмотря на все потрясения войны и революции, а домом Турбиных выступает реальный дом Булгаковых на Андреевском спуске, 13.

Достаточно широко известно, что семья Турбиных имеет своими основными прототипами семью Булгаковых, однако в целях художественной типизации Булгаков намеренно сократил число ее членов. Как вспоминал зять Булгакова Л.С. Карум, в период, к которому относится

действие романа «Белая гвардия», в Киеве, в доме на Андреевском спуске находилось почти все булгаковское семейство: «После Октябрьской революции, с закрытием земства, Михаил приехал в Киев и действительно занялся врачебной практикой… В большой булгаковской квартире осталась молодежь: Михаил с женой, его сестры Вера и Варвара с мужем, два брата – Николай, только что поступивший на медицинский факультет, и Иван, гимназист 8 класса. Остался еще один из племянников, Константин, другой, Николай, уехал в Японию». В романе же из всех сестер Булгаковых-Турбиных осталась только Елена Васильевна, имеющая своим прототипом сестру Булгакова и жену Карума Варвару Афанасьевну. Также братьев осталось только двое вместо трех: Алексей Васильевич, имеющий прототипом самого Михаила Афанасьевича, и Николка, прототипом которого послужил его брат Николай. Сохранился также племянник Карума Николай Судзиловский, который в то время действительно проживал на Андреевском спуске и о котором мы скажем далее. А вот Костю-«японца» Булгаков из романа убрал, равно как и своего родного брата Ивана и сестру Веру с ее мужем Николаем Николаевичем Давыдовым, потомком знаменитого поэта-партизана Дениса Давыдова. И, что еще важнее, в романе отсутствует героиня, восходящая к первой жене Булгакова, Татьяне Николаевне Лаппа, Тасе, хотя не исключено, что некоторые ее черты воплотились в образе Елены Турбиной. Показательно, что как раз в период работы над «Белой гвардией» Булгаков познакомился со своей второй женой, Любовью Евгеньевной Белозерской, и именно ей посвятил свой первый роман. Но начинал-то свой роман Булгаков еще до знакомства с Любовью Евгеньевной. И тот факт, что в «Белой гвардии» Алексей Турбин сделан холостым и для его жены места среди героев не нашлось, может свидетельствовать о том, что Булгаков в тот момент, когда начинал писать «Белую гвардию», уже разлюбил Тасю и подумывал о поиске новой спутницы жизни.

В целом же квартира Турбиных оказалась гораздо менее населенной, чем была в действительности в то время квартира Булгаковых на Андреевском спуске, 13.

В 1906 году Булгаковы сняли квартиру в этом доме, на долгие годы ставшем их пристанищем и известном миллионам читателей как «Дом Турбиных». Сейчас там находится Киевский музей Михаила Булгакова. Этот дом много лет спустя, уже в 1965 году, когда Булгаков вновь стал входить в моду, и в самый канун публикации «Мастера и Маргариты», отыскал писатель киевлянин Виктор Некрасов, архитектор по первой профессии. Он так вспоминал о своих впечатлениях от исторического

здания: «Андреевский спуск – лучшая улица Киева… Крутая, извилистая, булыжная. Новых домов нет. Один только. А так – одно-двухэтажные… Так он и останется со своими заросшими оврагами, садами, буераками, с теряющимися в них деревянными лестницами, с прилепившимися к откосам оврагов домиками, голубятнями, верандами, с вьющимися грамофончиками, именуемыми здесь «кручеными панычами», с развешанными простынями и одеялами, с собаками, с петухами… И вот мы стоим перед этим самым домом № 13 по Андреевскому спуску. Ничем не примечательный двухэтажный дом. С балконом, забором, двориком, «тем самым», с щелью между двумя дворами, в которую Николай Турбин прятал свои сокровища. Было и дерево, большое, ветвистое, зачем-то спилили, кому-то оно мешало, затемняло».

А в очерке, написанном вскоре после первых посещений «дома Турбиных» (очерк так и назывался), Виктор Платонович описал, как он его нашел: в романе дан совершенно точный его портрет. «Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – первый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями… Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна».

Ничто с тех пор не изменилось. И дом, и дворик, и сарайчики, и веранда, и лестница под верандой, ведущая в квартиру Василисы (Вас. Лис.) – Василия Ивановича Лисовича, – на улицу первый этаж, во двор – подвал. Вот только сад исчез – одни сарайчики.

Первый мой визит, повторяю, был краток. Я был с матерью и приятелем, приехали мы на его машине, и времени у нас было в обрез. Войдя во двор, я робко позвонил в левую из двух ведущих на веранду дверей и у открывшей ее немолодой дамы-блондинки спросил, не жили ли здесь когда-нибудь люди по фамилии Турбины. Или Булгаковы.

Дама несколько удивленно посмотрела на меня и сказала, что да, жили, очень давно, вот именно здесь, а почему меня это интересует? Я сказал, что Булгаков – знаменитый русский писатель, и что все, связанное с ним…

На лице дамы выразилось еще большее изумление.

– Как? Мишка Булгаков – знаменитый писатель? Этот бездарный венеролог – знаменитый русский писатель?

Тогда я обомлел, впоследствии же понял, что даму поразило не то, что бездарный венеролог стал писателем (это она знала), а то, что стал знаменитым…»

Потом, в «Белой гвардии», Булгаков с ностальгической любовью описывал такой уютный мир родного дома, безвозвратно потонувший в революцию: «Много лет… в доме № 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях».

А Виктору Некрасову соседи Булгакова рассказывали о профессорском семействе: «Очень они были веселые и шумные. И всегда уйма народу. Пели, пили, говорили всегда разом, стараясь друг друга перекричать… Самой веселой была вторая Мишина сестра. Старшая посерьезнее, поспокойнее, замужем была за офицером. Фамилия его что-то вроде Краубе (на самом деле Л.С. Карум. – ***Б.С.)*** – немец по происхождению. – (Так, поняли мы, – Тальберг…) – Их потом выслали, и обоих уже нет в живых (на самом деле Л.С. Карум умер в 1968 году в Новосибирске. – ***Б.С.)***. А вторая сестра – Варя – была на редкость веселой: хорошо пела, играла на гитаре… А когда подымался слишком уже невообразимый шум, влезала на стул и писала на печке: «Тихо!».

Как хорошо помнят читатели, в романе Турбины тоже очень любили оставлять на печке актуальные политические комментарии в шутливой форме. И еще семейство домовладельца инженера В.П. Листовничего, выведенного в «Белой гвардии» в образе «несимпатичного» Василисы, нарисовало такой портрет Михаила Булгакова: «Миша был высокий, светлоглазый, блондин. Все время откидывал волосы назад. Вот так – головой. И очень быстро ходил. Нет, дружить не дружили, он был значительно старше, лет на двенадцать (речь идет о дочери Листовничего Инне. – ***Б.С.)***. Дружила с самой младшей сестрой Лелей. Но Мишу помнит хорошо, очень хорошо. И характер его – насмешливый, ироничный, язвительный. Не легкий, в общем. Однажды даже отца ее обидел. И совершенно незаслуженно». Действительно, Булгаков из всех сестер больше всех любил младшую – Елену (Лелю). По свидетельству Т.Н. Лаппа, «Леля из всех сестер самая хорошенькая была. Когда мы с Михаилом обвенчались, она еще маленькая была, играла во дворе с дочкой Листовничего…»

В «Белой гвардии» Булгаков показывает нам, как революция и

Гражданская война нарушили норму жизни. Символом этой нормы становятся такие детали домашнего уюта, как абажур и скатерть: «Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна… Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни… Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства…»

Интересно, что в статье «Бессознательное» П.С. Попов в качестве примера «развития творческой фантазии на основе впечатлений, сохранившихся в памяти», привел булгаковскую «Белую гвардию»: бегство Тальберга в Германию. Сборы. «А потом… потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте, пусть воет вьюга – ждите, пока к вам придут». Это место Попов связал с воспоминаниями Булгакова о лампе в отцовском кабинете, зафиксированными в беседе с писателем: «Особое значение для меня имеет образ лампы с абажуром зеленого цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений – образа моего отца, пишущего за столом. Если мать мне служила стимулом создания романа «Белая гвардия», то по моим замыслам образ отца должен быть отправным пунктом для другого замышляемого мною произведения». Очевидно, речь шла о будущем романе «Мастер и Маргарита».

Жизнь Булгаковых в Киеве осложнялась напряженными отношениями с домовладельцем. Квартиру на Андреевском спуске они снимали у инженера-архитектора Василия Павловича Листовничего. В «Белой гвардии» Булгаков вывел его в образе Василисы – инженера Василия Лисовича, человека жадного и несимпатичного, начисто лишенного мужества. Вполне возможно, что прототип как раз был совсем неплохим человеком. Он купил дом, когда Булгаковы уже жили там, но оставил их в покое и сам поселился на нижнем этаже. Домовладельцу не нравился шум, который производили поздними вечерами собиравшиеся у Михаила друзья, не нравились и булгаковские пациенты – венерические больные, которых тому приходилось принимать на квартире. Т.Н. Лаппа вспоминала: «Иногда у Михаила возникали конфликты с хозяином дома Василием Павловичем, чаще всего из-за наших пациентов, которых он не хотел видеть в своем

доме. Наверное, он боялся за дочь Инну».

Вскоре после прихода петлюровцев в дом на Андреевском спуске явились бандиты и, не найдя в квартире Булгаковых ценных вещей, зашли к Листовничим. По воспоминаниям Татьяны Николаевны и дочери Листовничего И.В. Кончаковской, они кое-чем смогли там поживиться. Так что соответствующий эпизод в «Белой гвардии» – это не плод булгаковской фантазии. Не выдуманы и сцены, где Турбины и Мышлаевский поют царский гимн. И.В. Кончаковская свидетельствовала, что при петлюровцах, не при гетмане, нечто подобное было, хотя и не совсем так, как описано в романе: «Как-то у Булгаковых наверху были гости; сидим, вдруг слышим – поют: «Боже, царя храни…» А ведь царский гимн был запрещен. Папа поднялся к ним и сказал: «Миша, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку ставить?» И тут вылез Николка: «Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем!» А вообще-то Николай у них был самый тактичный…»

У Булгакова и в самом деле было немало конфликтов с домовладельцем и в юности, и в более зрелом возрасте, и в «Белой гвардии» он отыгрался на этом образе на славу. Что ж, наверное, хороших домовладельцев не бывает, особенно если он сам занимает квартиру в том же доме, только на первом этаже. Булгаковы, жившие на втором этаже, иной раз даже заливали семейство Листовничих, что, понятно, восторга не вызвало и привело к неприятному выяснению отношений. О том, что отношения с семьей домовладельца были плохие, вспоминала и первая жена Булгакова, Татьяна Николаевна Лаппа: «Они Булгакова терпеть не могли и даже побаивались. Говорили про него: «Неудавшийся доктор». Все время жаловались: «Нет покоя от вас…». Естественно, семье Василия Павловича не понравилось, как он был изображен в «Белой гвардии», тем более что судьба прототипа «Василисы» была трагична. В.П. Листовничий либо погиб при попытке бежать с баржи, на которой большевики, отступая из Киева в конце августа 1919 года, эвакуировали заложников, либо, напротив, благополучно сумел добраться до берега Припяти, а потом и до Константинополя, где просил одного общего знакомого передать семье, чтобы она не пыталась его найти. В любом случае жена и дочь о его судьбе ничего достоверно не знали и больше никогда не видели.

Кстати сказать, Николка Турбин признает, что Василиса «какой-то симпатичный стал после того как у него деньги поперли», потому что основной грех, который делает Лисовича несимпатичным, – это все-таки не трусость, а стяжательство.

Важное место в булгаковском романе занимает киевская первая Александровская гимназия. 22 августа 1901 года Михаила Булгакова

приняли в первый класс этой знаменитой гимназии. 8 июня 1909 года он ее благополучно окончил, получив аттестат зрелости. Аттестат, прямо скажем, был далеко не блестящим. Будущий всемирно известный писатель удостоился высших оценок только по двум предметам – Закону Божьему и географии.

Булгаков так запечатлел родную гимназию в «Белой гвардии»: «Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный влажный снег зимнего учебного года, видел плац из окна… По бесконечному коридору и во второй этаж в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль шла гусеница… На кровном аргамаке, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном пространстве».

По точному определению Николая Полетики, учившегося в Александровской гимназии в 1905–1914 годах, «Киевская первая гимназия была консервативной, но не реакционной».

Он вспоминал: «Во главе нашей гимназии, как и других казенных гимназий, стояли, как правило, монархисты (директор, инспектор), часть учителей тоже была монархически настроена. Но образование и, главное, воспитание в нашей гимназии, при соблюдении монархической внешности и форм, было либерально-оппозиционным, прогрессивным и свободомыслящим. Нас старались воспитать людьми. Уважение к человеческому достоинству выражалось даже в том, что к гимназистам приготовительного класса обращались на «вы», «ты» говорилось лишь в порядке близкого знакомства и дружеского расположения. Официальное обращение к нам было – «господа гимназисты».

Император Александр I в 1811 году даровал Киевской гимназии, названной его именем, широкие права. Воспитанников готовили для поступления в университеты. Генерал П.С. Ванновский, ставший в 1901 году министром народного просвещения и выдвинувший лозунг «сердечного попечения о школе», стремился привлечь для работы в гимназиях университетских преподавателей. В Киеве для такого

эксперимента была выбрана Александровская гимназия. Основные курсы в ней вели доценты и профессора местного университета и Политехнического института. Так, профессор Киевского, а в дальнейшем Московского университета, известный философ Г.И. Челпанов читал спецкурсы по философии, логике и психологии. После 1906 года его сменил доцент университета А.Б. Селиханович, который преподавал еще и литературу. За работу, содержавшую сравнительный анализ философии Канта и Юма, Селиханович был удостоен университетской серебряной медали. Преподаватель он был требовательный, к гимназии подходил почти с теми же мерками, что и к студентам университета, и уже пятиклассникам задавал читать университетский учебник философии В. Виндельбанда. Лекции Селихановича наверняка запомнились Булгакову, ведь не случайно имя и отчество этого преподавателя – Александр Брониславович – писатель дал одному из героев «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» капитану Студзинскому.

Паустовский, учившийся вместе с будущим писателем, так описал Булгакова: «…был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом была удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора. Но в этой особенности Булгакова не было между тем ничего, что отдаляло бы его от реальной жизни. Наоборот, слушая Булгакова, становилось ясным, что его блестящая выдумка, его свободная интерпретация действительности – это одно из проявлений все той же жизненной силы, все той же реальности. Существовал мир, и в этом мире существовало как одно из его звеньев – его творческое юношеское воображение».

По словам Паустовского, в рассказываемых Булгаковым историях «действительность так тесно переплеталась с выдумкой, что граница между ними начисто исчезала», а «изобразительная сила этих рассказов была так велика, что не только мы, гимназисты, в конце концов начинали в них верить, но верило в них и искушенное наше начальство».

Справедливости ради отметим, что сохранились и несколько иные воспоминания о Булгакове-гимназисте. Известный киевский врач-кардиолог Евгений Борисович Букреев вместе с Михаилом учился в приготовительном классе Второй гимназии, а потом и в Первой гимназии, но уже на разных отделениях. В 1980 году он так рассказывал о Булгакове: «В первых классах был шалун из шалунов. Потом – из заурядных гимназистов. Его формирование никак не было видно… Про него никто бы не мог сказать: «О, этот будет!..» – как, знаете ли, говорили в гимназиях про каких-то гимназистов, известных своими литературными или другими

способностями. Он никаких особенных способностей не обнаруживал…»

Судя по аттестату, Булгаков учился далеко не блестяще. Здесь спорить не приходится. И часто шалил. Тут Букреев прав. Паустовский вспоминает, как характеризовало Булгакова гимназическое начальство: «Ядовитый имеете глаз и вредный язык, – с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. – Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе (Паустовский называет семью Булгаковых «насквозь интеллигентной семьей». – ***Б.С.)***. Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора Маслобоем! Неприличие какое! И срам! Глаза при этом у Бодянского смеялись». Однако относиться к мемуарам Букреева с полным доверием вряд ли возможно. Он не был близок с Булгаковым, учился с ним в разных классах и отличался от будущего писателя по политическим убеждениям (себя в ту пору Евгений Борисович числил анархистом, а Михаила считал, по его собственному выражению, «квасным монархистом», правда, без свойственного социальным низам или богатым помещикам черносотенного оттенка). В булгаковский круг общения мемуарист, очевидно, не входил, Булгакова – рассказчика и фантазера – почти не знал. Между тем о Булгакове как о чудесном сочинителе в гимназические годы вспоминает и его сестра Надежда: «Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас, давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры. Он был человек всесторонне одаренный: рисовал, играл на рояле, карикатуры сочинял». Из увлечений Булгакова того времени Надежда Афанасьевна выделяла футбол – игру, только начавшую в ту пору завоевывать популярность в России. Несомненно, что будущий писатель полнее всего раскрывался в кругу родных и друзей, а учеба в гимназии не была для него на первом месте.

Позднее, в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных», Булгаков перенес действие в здание Александровской гимназии. Именно там располагается артиллерийский дивизион, куда вступают добровольцами его герои. Как кажется, ни в каком артиллерийском дивизионе Булгаков никогда не служил, и в те декабрьские дни часть, куда он пошел добровольцем, не располагалась в Александровской гимназии. В мортирном дивизионе короткое время в 1917 году и в начале 1918 года служил прапорщиком Андрей Михайлович Земский, муж Надежды Афанасьевны Булгаковой. Возможно, это обстоятельство, равно как и служба в артиллерии прототипа Мышлаевского Н.Н. Сынгаевского, подсказали Булгакову идею отправить своих героев служить в артиллерийскую часть.

Михаилу Афанасьевичу очень нужно было перенести кульминацию

действия своего любимого романа именно в это здание, с которым было связано столько светлых и забавных воспоминаний. Актер Марк Прудкин, игравший в «Днях Турбиных» Шервинского, вспоминал, как во время гастролей в Киеве Булгаков повел мхатовцев на экскурсию по городу, рассказав много интересного о памятных с детства местах. А в здании гимназии разыграл целый спектакль: «Михаил Афанасьевич в момент, когда мы пришли в здание бывшей Александровской гимназии, где теперь помещается одно из городских учреждений. И вот, не смущаясь присутствием сотрудников этого учреждения, он сыграл нам почти всю сцену «В гимназии» из «Турбиных». Он играл и за Алексея Турбина, и за его брата Николку и за петлюровцев».

Николка Турбин имел прототипами младших братьев Булгакова – главным образом Николая, но частично и Ивана. Оба они участвовали в Белом движении, были ранены, сражались до конца. Иван, интернированный в Польше вместе с войсками генерала Н.Э. Бредова, позднее добровольно вернулся в Крым к генералу Врангелю и оттуда уже отправился в эмиграцию. Николай же, по ранению эвакуированный в Крым (14/27 марта 1920 года Варвара Михайловна сообщала дочери Наде, что у Николая повреждено правое легкое и, не долечив, «пришлось отправить его на юг…»), служил вместе с Л.С. Карумом в Феодосии. В Крыму он был, вероятно, по выпуску из училища, произведен в прапорщики (сохранилась фотография Николая Афанасьевича в форме с погонами прапорщика). Однако негативного отношения к мужу сестры, в отличие от старшего брата, у него не было. В письме матери из Загреба 16 января 1922 года Н.А. Булгаков упоминает встречи «у Варюши с Леней» с двоюродным братом Константином Петровичем Булгаковым во время службы в Добровольческой армии и передает привет Каруму Это письмо было первым письмом Николая Афанасьевича Булгакова оставшимся в России родным после окончания Гражданской войны, которое дошло до нас. Так что к тому моменту, когда он начал работу над «Белой гвардией», Михаил Афанасьевич уже твердо знал, что его братья живы. Ведь письмо Николая было ответным на письмо матери, направленное в конце 1921 года на его загребский адрес. Следовательно, еще ранее Варвара Михайловна получила письмо от кого-то из эмигрировавших сыновей, либо от Николая, либо от Ивана, находившегося в тот момент в Болгарии. Да и из письма Н.А. Булгакова от 16 января 1922 года следовало, что Иван жив, и брат поддерживает с ним связь. Но в романе все равно сохранился намек на возможную гибель Николки. Вероятно, Булгаков хотел дать понять читателям, что такие чистые и наивные юноши, каким получился Николка

в романе, искренне верившие в белое дело, не могли уцелеть в Гражданской войне. Не случайно в сне Елены у Николки во лбу – венчик с иконками.

Скажем кратко о биографии прототипа Николки Турбина. Николай Афанасьевич Булгаков родился 20 августа (1 сентября) 1898 года. В начале октября 1917 года он поступил в киевское Инженерное училище. Однако юнкером, пережив драматические дни октябрьских боев, пробыл недолго. В конце декабря 1917 года он стал студентом медицинского факультета Киевского университета.

Из Крыма прототип Николки Турбина эвакуировался в ноябре 1920 года вместе с Русской армией генерала барона П.Н. Врангеля в Галлиполи, откуда в 1921 году перебрался в Хорватию (тогда – часть Королевства сербов, хорватов и словенцев), где поступил в Загребский университет на медицинский факультет.

Узнав, что братья живы, Булгаков стремился им помочь. Так, 23 января 1923 года в письме сестре Вере он признавался: «С печалью я каждый раз думаю о Коле и Ване, о том, что сейчас мы никто не можем ничем облегчить им жизнь», а 8 октября 1928 года в письме к сестре Наде обещал позаботиться «насчет денег для Коли». Однако в 1929 году в связи с прекращением публикаций в печати и снятием с репертуара пьес Булгаков уже не мог больше посылать денег братьям на чужбину. Положение Николая Булгакова к тому времени существенно изменилось в лучшую сторону. После окончания Загребского университета он был оставлен там при кафедре бактериологии в аспирантуре. В 1929 году прототип Николки удостоился звания доктора философии. Он специализировался по бактериофагам. На его работы обратил внимание первооткрыватель бактериофага профессор Феликс д'Эрелль и вызвал к себе в Париж. Туда Николай Афанасьевич прибыл в августе 1929 года, о чем сообщил 17 августа брату в Москву: «…Условия дают мне возможность скромно жить, ни от кого не завися, я этого давно не имел».

В 1932 году Николай Афанасьевич женился на Ксении Александровне Яхонтовой, дочери профессора-эмигранта, а в декабре 1935 года по поручению д'Эрреля отбыл в Мексику, где в течение трех месяцев читал лекции. В 1941 году после начала германо-югославской войны Николай Булгаков как югославский подданный был арестован немецкими оккупационными властями во Франции и отправлен в лагерь для интернированных в районе Компьена, где стал работать врачом. Он участвовал в Сопротивлении, содействовал побегу нескольких узников. После войны Николай Афанасьевич работал в Пастеровском институте. Умер он от разрыва сердца 13 июня 1966 года в парижском пригороде

Кламаре и был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. За научные достижения Николай Афанасьевич был награжден французским правительством орденом Почетного легиона. Как видим, его судьба сложилась вполне благополучно, несмотря на тяготы первых лет эмиграции.

В «Белой гвардии» упоминается близкий к семье Турбиных священник отец Александр. Именно он в начале романа, после похорон матери Турбиных, предрекает героям новые испытания и зачитывает цитату из Апокалипсиса: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь». Речь идет об Александре Александровиче Глаголеве, настоятеле церкви Николы Доброго у подножия Андреевского спуска и близком друге семьи Булгаковых. Т.Н. Лаппа так характеризовала А.А. Глаголева: «Отец Александр был исключительно добрым, мягким и образованным человеком. Он знал много языков, преподавал в академии церковную археологию и древнееврейский язык».

Судьба Александра Александровича Глаголева, человека доброго и незаурядного, была трагичной, как и весь XX век для России. Протоиерей Александр Глаголев родился 14 февраля 1872 года в семье священника в Тульской губернии. Там же он окончил духовную семинарию, а потом Киевскую духовную академию, где был профессором кафедры древнееврейского языка и библейской археологии и занимал должность ректора. Также он был цензором в Духовно-цензурном комитете, преподавал Закон Божий в Фундуклеевской женской гимназии и служил настоятелем церкви святого Николы Доброго. В 1898 году получил степень кандидата богословия. В 1900 году 28-летний Александр Глаголев защитил в КДА магистерскую диссертацию «Ветхозаветное библейское учение об Ангелах» – выдающийся труд, который привлек внимание к молодому талантливому ученому. Глаголев был членом комиссии по научному изданию славянской Библии, принимал участие в издании Православной богословской энциклопедии. По просьбе А.П. Лопухина он написал комментарии на Третью и Четвертую книги Царств для «Толковой Библии», публиковался в различных журналах, особенно в «Трудах Киевской духовной академии». О. Александр знал 18 классических и европейских языков.

Его внучка, Магдалина Алексеевна Глаголева-Пальян, так вспоминала о дедушке: «Ему были присущи смирение и простота. Не та sancta simplicitas, о которой говорят в отношении детей или простаков, которые многого не понимают. А простота от мудрости. Мудрость и предельное незлобие – любовь к людям».

Отец Александр Глаголев выступил свидетелем защиты в известном процессе по делу Менделя Бейлиса. Как эксперт-библеист, он доказал, что в иудаизме нет ритуальных убийств, что способствовало оправданию подсудимого.

В годы Первой мировой войны о. Александр Глаголев был полковым священником 5-го Каргопольского драгунского полка, где рядовым, а потом унтер-офицером служил будущий Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Что еще важнее, полк входил в состав 5-й кавалерийской дивизии, которой долгое время командовал генерал П.П. Скоропадский, будущий гетман Украины и персонаж булгаковских «Белой гвардии» и «Дней Турбиных». О. Александр наверняка был знаком с будущим гетманом и, думаю, Булгаков в изображении Скоропадского опирался, в числе прочего, и на его рассказы.

18 августа 1916 года приказом № 159 по 5-му Каргопольскому драгунскому полку его командир полковник Петерс объявил: «Приказом по ведомству протопресвитера Военного и морского духовенства от 11 июля с. г. № 31 полковой священник отец Александр Глаголев оставляет наш полк, с которым неотлучно пробыл с самого начала войны. Полк привык и любил его пастырское слово, которое зачастую являлось сильной нравственной поддержкой в трудные моменты войны.

На поле боя отец Александр не только утешал раненых своим задушевным словом, но и оказывал посильную помощь в перевязке их.

Во время затишья своими беседами в эскадронах и командах отец Александр умел завоевать глубокую симпатию среди драгун: его слушали и понимали. Его речи были ясны и чрезвычайно полезны для нравственной подготовки людей. От лица службы благодарю отца Александра за его полезную деятельность во вверенном мне полку.

С глубоким сожалением полк расстается со своим пастырем и прощаясь с Вами, каждый верующий скажет: «Да заповедает Господь Бог Ангелам своим охранять тя во вех путях твоих».

В 1924 году Киевская духовная академия была закрыта, а в 1934 году власти начали разрушать храм Николы Доброго. Еще в 1931 году о. Александр Глаголев был арестован в первый раз. Полгода священника продержали в Лукьяновской тюрьме, но выпустили за отсутствием улик. Вторично его посадили в 1937 году, инкриминировав ему «активное участие в антисоветской фашистской организации церковников». Вот что вспоминала М.А. Глаголева-Пальян:

«В 1937 году полностью сбылось предсказание Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет – все дозволено». 17 октября 1937 года арестовали (17

ноября 1937 года расстреляли) священника Михаила Едлинского, друга дедушки, который служил в Набережно-Никольской церкви с дедушкой вплоть до ареста». А в ночь с 19 на 20 октября 1937 года, еще до рассвета, «черный ворон» подкатил к жилищу Александра Глаголева. «Мама, – продолжает Магдалина Алексеевна, – по всем инстанциям ходила сама, всюду называя себя дочерью о. Александра Глаголева. С ночи записывалась на прием к следователю, прокурору. Выстаивала в очередях для посылки денег. Это тоже являлось тестом: если деньги в тюрьме принимают, значит, человек еще находится здесь, на месте.

В конце ноября 1937 года, дождавшись своей очереди у следователя, мама услышала:

– Он… умер.

– Когда, как?

– Разговор окончен.

Мы пережили смерть дедушки. Ходили за утешением и заочным погребением к дедушкиному другу – архиепископу Антонию Абашидзе, жившему на Кловском спуске в маленькой хибарке. Он когда-то преподавал в Тифлисской семинарии и был учителем Сталина. Может быть, поэтому его не тронули». А далее появилась надежда. А вдруг священник жив? Ведь когда Татьяна Павловна попробовала передать деньги в тюрьму, их приняли. Затеплилась надежда. А вскоре по большому доверию ей сообщили о том, что Глаголев «скоро будет послан по этапу, можно передать теплые вещи». Вещи приняли… «Мама, – пишет Магдалина Глаголева-Пальян, – снова записывается к тому следователю, который сказал о дедушкиной смерти. Прием ведет другой. Отвечает: «Находится под следствием».

– А когда принимает товарищ такой-то? – (мама называет фамилию).

– Он не работает.

– Что, в отпуске?

– Нет, он враг народа.

Папа ночами ходил на Лукьяновское кладбище. Из тюрьмы туда вывозили трупы в грузовиках, открывали борт машины и сбрасывали тела в общую могилу. Там папа предполагал узнать дедушку. Только в 1944 году в Москве маме ответили официально, что А.А. Глаголев умер 25.11.37 года от уремии и сердечной недостаточности. Так служба НКВД всячески пыталась скрыть следы своего преступления.

Через шестьдесят лет, в феврале 1997 года я была допущена ознакомиться с тюремным делом за № 71156 ФП на Александра Александровича Глаголева, арестованного 20 октября 1937 года по

обвинению в активном участии в антисоветской фашистской организации церковников. Преступление по ст. 54–10 и 54–11 УК УССР. У меня создалось впечатление, что над материалами «дела» позднее усердно «поработали».

Полагаю, что на самом деле А.А. Глаголев был расстрелян по приговору внесудебной «тройки», а позднее семье, заметая следы преступления, сообщили, что он умер в тюрьме от болезни.

Думаю, что Булгаков так и не узнал о гибели о. Александра. Последний раз в Киеве Михаил Афанасьевич был в августе 1937 года, когда возвращался после отдыха на даче актера В.А. Степуна в Богунье под Житомиром. В дневниковых же записях Елены Сергеевны за конец 1937-го и последующие годы имя Глаголева нигде не упоминается. Вряд ли бы она упустила столь важное для мужа событие. Сообщать же об арестах, а тем более о гибели арестованных в письмах было не принято. Письма очень часто перлюстрировались, и излишняя откровенность могла сама по себе послужить поводом для новых арестов.

Главные герои романа – семья Турбиных и их друзья относятся к Белой гвардии, тщетно пытающейся противостоять как обтекающей Город петлюровской стихии, так и нависающей над ним с севера голодной, но стальной Красной Армии. Прототипами главных героев «Белой гвардии», помимо членов семьи Булгаковых, стали киевские друзья и знакомые писателя, как и он, учившиеся в Александровской гимназии. Чужеродным элементом в семье является Сергей Тальберг, как и Турбины, имеющий вполне конкретного прототипа.

Как известно, в результате публикации «Белой гвардии» сильно испортились отношения Булгакова с сестрой Варей и ее мужем Л.С. Карумом, ставшим впоследствии одной из жертв операции «Весна», а также со знакомым поэтом Сергеем Васильевичем Шервинским, чьей фамилией был награжден не самый привлекательный персонаж романа (хотя в пьесе «Дни Турбиных» он уже гораздо симпатичнее).

Прототип Тальберга Леонид Сергеевич Карум оставил обширные воспоминания «Моя жизнь. Рассказ без вранья», где многие эпизоды своей биографии, отразившиеся в «Белой гвардии», изложил в собственной интерпретации и с оценками, прямо противоположными булгаковским. Мемуарист свидетельствует, что он очень рассердил Булгакова и других близких своей жены, явившись на свадьбу в мае 1917 года (как и свадьба Тальберга с Еленой, она была за полтора года до описываемых в романе событий) в мундире, при всех орденах, но с красной повязкой на рукаве. В романе братья Турбины осуждают Тальберга за то, что он в марте 1917 года

«был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова». Карум действительно был членом исполнительного комитета Киевской городской думы и участвовал в аресте генерал-адьютанта Н.И. Иванова, в начале Первой мировой войны командовавшего Юго-Западным фронтом, а в феврале 1917 года предпринявшего по приказу императора неудачный поход на Петроград для подавления революции. Карум отконвоировал генерала в столицу.

Л.С. Карум в своих мемуарах пытался доказать, что он гораздо лучше Тальберга и не лишен понятия о чести, но невольно лишь подтвердил булгаковскую правоту. Чего стоит эпизод с попыткой поцеловать руку арестованному и препровождаемому в Петроград генералу Н.И. Иванову, дабы «выразить старому генералу всю мою симпатию к нему и показать, что не все из окружающих являются его врагами» (этот жест Карум явно делал на тот случай, если власть переменится, и Иванов вновь будет командовать). Или сцена в Одессе:

«Встретил на улице какого-то знакомого по академии офицера… Он, узнав, что я пять дней должен болтаться один в Одессе, уговорил меня зайти к полковнику Всеволжскому очень интересному, якобы, человеку, у которого собирается ежедневно офицерское общество, в будущем долженствующее составить офицерскую дружину или даже возглавить отряд, который пойдет на бой с большевиками.

Мне делать было нечего. Я согласился.

Всеволжский занимал большую квартиру… В комнате человек 20 офицеров… Все молчат, говорит Всеволжский.

Говорит он много и хорошо о предстоящих задачах офицеров в восстановлении России. Уговаривает меня остаться в Одессе и не ехать на Дон.

– Но я здесь займу какую-либо должность и буду получать содержание? – спрашиваю я.

– Нет, – улыбается гвардейский полковник. – Ничего я Вам не могу гарантировать.

– Ну, тогда мне надо ехать, – говорю я. Больше я к нему не заходил».

Карум, как и Тальберг, был озабочен только карьерой, пайком и денежным содержанием, а не какими-то идейными соображениями, и потому с такой легкостью менял армии в годы революции и Гражданской

войны.

Фамилию Тальберг, между прочим, Булгаков дал несимпатичному герою «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» совсем не случайно. Дело в том, что вице-директором департамента полиции (Державной Варты) в министерстве внутренних дел в правительстве Скоропадского был Николай Дмитриевич Тальберг. Он родился 10/22 июля 1886 года в местечке Коростошев близ Киева. Булгаковский же Тальберг, напомню, в отличие от Карума, занимает должность помощника военного министра, тогда как Леонид Сергеевич всего лишь служил в ликвидационном отделе военно-юридического управления гетманского военного министерства. Н.Д. Тальберг происходил из потомственных дворян, но был не военным, а чиновником V класса, т. е. статским советником, как и отец Булгакова. В начале 1913 года он был назначен непременным членом Черниговского губернского по земским и городским делам присутствия. В Первую мировую войну Николай Дмитриевич состоял чиновником для особых поручений при Министре внутренних дел и, как и булгаковский Тальберг и Л.С. Карум, имел юридическое образование, только гражданское, а не военное. Н Д Тальберг был ярым монархистом и противником манифеста 17 октября 1905 года. Как и булгаковский Тальберг, Николай Дмитриевич после падения гетмана благополучно эмигрировал, только не в Германию, а в Румынию (Бессарабию), затем перебрался в Одессу, в 1919 году переехал в Болгарию, затем в Югославию, а позднее проживал в Берлине, где был профессором истории и активным участником монархического движения, членом Высшего монархического совета.

Вот как излагает биографию Тальберга в годы Гражданской войны его биограф В. Лукьянов: «Переворот большевиков застал его в Москве, куда он только что приехал для доклада своему другу. Выяснив вскоре существование тайной монархической организации, во главе которой стоял Н.Е. Марков, Тальберг вступил в нее, переехав с этой целью в Петроград. По указанию этой организации он выполнял ответственные поручения. В конце апреля 1918 года он был отправлен ею в Москву и в Киев. В мае он участвовал в небольшом тайном монархическом съезде, происходившем в Киеве. С разрешения местной монархической организации он поступил в Министерство внутренних дел правительства гетмана генерала П.П. Скоропадского и, борясь с революционными организациями, устраивал на службу бывших жандармских и полицейских чинов. После падения гетмана Тальберг добрался до Бессарабии, где прожил год. Вернувшись неудачно в Одессу, когда там началась эвакуация, он через Болгарию, Сербию, Австрию и Чехословакию попал в начале 1920 года в Берлин,

зная, что там начинают собираться русские монархисты». В конце 30-х годов Н.Д. Тальберг переехал в Австрию. После 1945 года он эмигрировал в США, где и умер 11 июня 1967 года в Джорданвилле. Там он, кстати сказать, преподавал в местной семинарии. Н.Д. Тальберг написал ряд трудов по истории Русской православной церкви и биографию К.П. Победоносцева.

Н.Д. Тальберга петлюровцы действительно собирались повесить. Вскоре после занятия украинскими войсками Киева армейская газета «Ставка» в заметке с красноречивым заголовком «Под суд!» писала о Тальберге: «Вице-директор департамента, мордобоец и палач, правая рука Аккермана (директора департамента полиции. – ***Б.С.****)*, организатор киевских наемных убийц и вешателей должен попасть в руки правосудия». По тону статьи можно было легко понять, что меньше смертной казни Николаю Дмитриевичу не светило.

С Н.Д. Тальбергом связана и тема слухов о гибели царской семьи, будто бы оказавшихся «несколько преувеличенными». В книге следователя Н.А. Соколова «Убийство царской семьи», вышедшей в 1925 году, был приведен текст допроса Соколовым 30 мая 1921 года в Берлине Н.Д. Тальберга. Тот показал: «В 1918 году, после Пасхи, одной монархической организацией, в которую я входил, на меня были возложены некоторые поручения и, между прочим, – войти в сношения с немецким представительством в России об обеспечении безопасности Государя Императора и Его Семьи. Я хорошо помню, что Царская Семья в это время была уже перевезена из Тобольска в Екатеринбург. Никто в нашей организации не мог себе объяснить, какими причинами был вызван ее переезд, но мы знали, что во главе власти в Екатеринбурге был Белобородов, о котором у нас имелись сведения как о «звере».

Нас беспокоила судьба Царской Семьи, и мы, кроме того, не могли развивать нашей работы, так как мы понимали, что это может грозить гибелью Семье, раз Она находится в руках большевиков. Я и должен был высказать все эти соображения кому следовало из представителей немецкой власти и добиться у них создания такой обстановки для Нее, чтобы Ей не грозило от большевиков никакой опасностью. Я отправился в Москву, где в то время находился граф Мирбах, и числа 5–6 мая по новому стилю я имел свидание с секретарем Мирбаха доктором Янсоном. Я высказал ему наши соображения и просил его доложить Мирбаху о нашей просьбе создать безопасность от большевиков для Царской Семьи. Янсон лично отнесся сочувственно к моей просьбе и просил меня указать ему способ, как создать эту безопасность. Я сказал, что в условиях

существующей действительности немцы могли бы это сделать чрез имевшиеся у них организации их военнопленных. Янсон спросил меня, достаточно ли будет для этого 500 человек. Я сказал ему, что я лично не могу ответить на этот вопрос, что его могут решить они сами. Он обещал мне доложить о нашей просьбе Мирбаху.

Тут же я уехал в Киев и вошел в сношения с немцами и там. Я обращался с нашей просьбой обезопасить от большевиков Царскую Семью к майору Гассе, заведывавшему политическим отделом оккупационных войск на Украине, и даже подал ему об этом докладную записку. Он ответил мне, что удовлетворение нашей просьбы зависит от Мирбаха.

Когда появилось в газетах сообщение большевиков об убийстве Государя, я не поверил этому. Я имел общение в Киеве также с немецкими офицерами главного командования, имевшими связь с Москвой по прямому проводу, обращался к ним за сведениями, но они мне отвечали, что у них никаких сведений нет. После панихиды по Государю я в соборе увидел князя Долгорукова, и он мне сказал, что Альвенслебен заранее предупреждал его о возможности появления важных сведений о судьбе Государя, к которым следует относиться с осторожностью. Это меня еще более укрепило в моем недоверии к большевистскому сообщению о смерти Государя. Больше показать я ничего не имею».

Булгаков эту книгу вряд ли успел прочесть при работе над «Белой гвардией», но хорошо был знаком со слухами о чудесном спасении царской семьи, ходившими в монархических кругах Киева. Кроме того, соответствующие материалы насчет слухов о чудесном спасении царской семьи были и в книге М.К. Дитерихса «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале», написанной по материалам Н.А. Соколова. Эта книга вышла еще в 1922 году во Владивостоке, и с ней Булгаков, как мы уже отмечали, скорее всего, был знаком.

Можно предположить, что Булгаков, по обыкновению, выбрал маскирующего прототипа (Н.Д. Тальберга), который призван был прикрыть основного прототипа (Л.С. Карума). Однако на этот раз фокус не удался. Не только Леонид Сергеевич и его жена сразу же поняли, кто стоит за похожим на крысу персонажем «Белой гвардии» и «Дней Турбиных», но и знакомые Булгаковых и Карумов, понятия не имевшие о Н.Д. Тальберге и, в лучшем случае, лишь слышавшие эту фамилию, сразу же вычислили Леонида Сергеевича в качестве главного прототипа. Кстати, в пьесе Тальбергу 35 лет и он старше как Н.Д. Тальберга, которому в 1918 году было только 32 года, так и Л.С. Карума, которому к тому времени исполнилось лишь 30 лет. Вполне вероятно, что года рождения Н.Д. Тальберга Булгаков не знал,

но, возможно, видел его хотя бы на фотографиях в газетах, и решил, что тот выглядит лет на тридцать пять. Поэтому писатель и сделал персонажа старше Карума, в надежде приблизить его возраст к возрасту исторического Тальберга, чтобы замаскировать настоящего прототипа.

Сестра Булгакова Варя, послужившая прототипом Елены Турбиной (Тальберг) в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных», родилась в 1895 году в Киеве и окончила киевскую Екатерининскую женскую гимназию, а затем – три курса Киевской консерватории по классу фортепиано. После свадьбы с Карумом она переехала в Петроград, а затем в Москву, где поступила на немецкое отделение заочных Московские высших курсов иностранных языков. Она также продолжала занятия музыкой. В мае 1918 года они с мужем вернулись в Киев. Варвара Афанасьевна умерла в 1954 году в психиатрической лечебнице в Новосибирске от последствий сильнейшего склероза.

Дочь Ирина вспоминала: «Я жила в верующей семье. Мама, в отличие от своих сестер, ходила в церковь, в нашем доме в Киеве бывало духовенство… Мама жила с бабушкой, Варварой Михайловной, до последних дней ее жизни… В доме царил христианский дух Булгаковых».

Религиозность Варвары Афанасьевны Булгаковой, равно как и ее матери, Варвары Михайловны, подтверждает и Т.Н. Лаппа: «Варвара Михайловна была очень верующая. Варя верующей была. Она зажигала лампадки под иконами, и вообще». Поэтому в романе именно Елена Турбина-Тальберг обращает к Богу искреннюю молитву, благодаря которой выздоравливает Алексей Турбин.

Дочь владельца дома на Андреевском спуске, 13, где жили Булгаковы, Василия Михайловича Листовничего Ирина Васильевна Кончаковская вспоминала впоследствии: «Варя была на редкость веселой: хорошо пела, играла на гитаре… Любимицей матери была Варя. Ее никто не называл Варей, все называли Варюшей. Она была из всей семьи самая изящная, самая хорошенькая… Если кому-то из молодых надо было что-либо попросить у матери, обращались к Варе: «Варя, похлопочи».

Л.С. Карум в мемуарной книге «Моя жизнь. Роман без вранья», начатой вскоре после смерти жены, так описывал свое сватовство к ней, не скрывая, что любви к будущей жене у него и тогда не было и впоследствии не возникло: «В Вареньке меня привлекла, во-первых, прекрасная репутация, которой она пользовалась, все, решительно все, кто ее знал: врачи, с которыми она работала в госпитале… знакомые… преподаватели… и другие в один голос говорили о замечательно хорошей девушке, Вареньке Булгаковой; во-вторых, общество, которое ее окружало,

этот сонм молодежи, от которой я уже начинал отходить: ведь мне было уже 28 лет… Наконец, я считал, что я попадаю в интеллигентную среду: Варенька была дочерью покойного профессора Духовной Академии…

Я бывал в феврале и марте (1917 года. – ***Б.С.)*** почти ежедневно (в доме на Андреевском спуске. – ***Б.С.)***, за исключением только дней, когда совершенно не было времени.

В один из мартовских вечеров Варенька вышла проводить меня на лестницу парадного входа этого удивительного дома, в котором Булгаковы жили и который был одновременно и одноэтажным (со двора), и двухэтажным (парадный ход), и трехэтажным (с улицы). Прощаясь с ней, я сказал: – Варенька, я люблю Вас… Будьте моей женой.

Варенька ничего не ответила, но по всему я догадался, что она согласна. Я поцеловал ей руку и вышел.

Варвара Михайловна Булгакова, моя будущая теща, приняла мое предложение очень настороженно.

– Да любите ли Вы ее? – все спрашивала она.

Как раз в коридоре, когда мы остались вдвоем, она снова спросила меня:

– Вы любите Вареньку?

Я ответил:

– Люблю.

Я хотел семейной жизни. Я хотел любить, но у меня не получалось. Но Варенька была прекрасная девушка, она доверилась мне, и я это понимал, хотя не всегда соблюдал это доверие.

После того как я сделал предложение, Варвара Михайловна предложила мне обедать у них. Я приезжал к ним вечером в совершенном изнеможении. Уходил поздно, а утром надо было снова вставать в семь часов утра.

После того как я сделал предложение, дела пошли быстрее. Свадьба была назначена на 30 апреля (13 мая н. ст., поэтому в «Белой гвардии» свадьба Тальберга и Елены Турбиной отнесена к маю 1917 года: «Через год после того как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом… белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе. Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна». – ***Б.С.***).

В воскресный день я пошел с Варенькой на Крещатик и там купил два хороших золотых кольца семьдесят четвертой пробы. На одном я дал написать «Варвара», на другом – «Леонид» и поставил число нашей

помолвки – 27 марта 1917 года.

Мне теперь пришлось поближе познакомиться с семьей Булгаковых. Приехал в отпуск старший брат Вареньки, Михаил Булгаков, – военный врач.

Он отнесся ко мне очень официально и сухо.

У него оказался хороший голос – бас. Он немного играл на пианино, наигрывая, пел арию Дон-Базилио из «Севильского цирюльника» и арию Мефистофеля из «Фауста»… Он служил где-то в Смоленской губернии… Как-то в разговоре Михаил Булгаков признался, что он пишет заметки из жизни земского врача» (речь шла, несомненно, о будущих «Записках юного врача»).

Т.Н. Лаппа не слишком жаловала Л.С. Карума. Она вспоминала:

«Карум Леонид Сергеевич – это вот Тальберг… Он вообще неприятный был. Его все недолюбливали… Я как-то заняла у Вари денег. Потом мы сидели с Михаилом, пьем кофе, икры, что ли, купили… А он сказал кому-то, что вот, деликатесы едят, а денег не платят. Вообще, он нехорошо поступил. Он ведь был у белых. И в Феодосии был у белых. Потом пришли красные, он стал у красных. Преподавал где-то… военную тактику, что ли. Ну, красные все равно узнали. Тогда он смылся и приехал в Москву к Наде. Тут его арестовали и Надиного мужа вместе с ним… Но Варя его любила. Она потом Михаилу такое ужасное письмо прислала: «Какое право ты имел так отзываться о моем муже… Ты вперед на себя посмотри. Ты мне не брат после этого…»

О том, что Варя Леонида любила, свидетельствует и вторая жена Булгакова Л.Е. Белозерская: «Посетила нас и сестра Михаила Афанасьевича Варвара, изображенная им в романе «Белая гвардия» (Елена), а оттуда перекочевавшая в пьесу «Дни Турбиных». Это была миловидная женщина с тяжелой нижней челюстью. Держалась она, как разгневанная принцесса: она обиделась за своего мужа, обрисованного в отрицательном виде в романе под фамилией Тальберг. Не сказав со мной и двух слов, она уехала. Михаил Афанасьевич был смущен». Эта сцена произошла в 1925 году, и с тех пор контакты сестры Вари с Булгаковым почти прекратились.

Надо учитывать, что в 1918 году, когда Карум служил у гетмана, его продовольственный паек обеспечивал потребности всех живущих в доме на Андреевском спуске, в том числе и Михаила с Тасей. Леонид Сергеевич в мемуарах возмущался, что когда решили жить коммуной, «возникли некоторые неприятности. У Михаила, начинающего врача, была небольшая практика. Это было понятно и все с радостью согласились предоставить

ему необходимый кредит. Но Михаил начал злоупотреблять кредитом. В то время как все члены коммуны в то тяжелое время жили, как говорится, «в обрез»… Михаил в дни, когда у него были заработки, не думал отдавать долги, а предпочитал тратить деньги на вечеринки с вином и дорогими закусками. На вечеринки приходили его друзья, тоже молодежь, любившая покушать на дармовщину…»

Карум был человек практичный, расчетливый, немного скуповатый. Он не был трусом – до марта 1916 года, пока его не откомандировали в Константиновское училище, в составе своего полка он был на фронте, имел несколько орденов, в том числе довольно ценимый офицерами орден Св. Владимира 4-й степени с мечами. Хотя тут могли сыграть свою роль и хорошие отношения с командиром полка. Главное же, Леонид Сергеевич предпочитал приспосабливаться к любой власти, если она начинала одерживать верх, и не желал драться ни за одну власть. Булгаков же сохранял верность принципам и на компромиссы не шел и советскую власть никогда не поддерживал, а собственного зятя презирал за приспособленчество и карьеризм (в деникинской армии Карум стал полковником).

Леонид по крайней мере однажды изменил Варе с ее старшей сестрой Верой. Она окончила киевскую женскую гимназию, затем – Фребелевский педагогический институт. Во время Первой мировой войны работала медсестрой в госпиталях. Вот что написал о своей измене Карум в мемуарах «Моя жизнь. Рассказ без вранья»: «Смерть Варвары Михайловны не слишком огорчила Ивана Павловича и, видимо, он был не прочь снова жениться… Такой быстрый переход от матери к дочери возмутил Вареньку и Лелю, и они оба заявили Ивану Павловичу, что в случае приезда Веры к нему (на Андреевский спуск, 38. – ***Б.С.)***, они обе уйдут от него… Из Симферополя она приехала довольно-таки драной. Когда она поправилась к следующему 1923-му году, я, памятуя старое, стал немного за ней ухаживать. Как-то весной 1923-го года, зайдя к ней (на Андреевский спуск, 13. – ***Б. С.)***, я застал ее за мытьем пола. Высоко подняв подол и обнажив свои действительно красивые ноги, Вера мыла пол. Я не удержался и взял ее. Для нее теперь уже это особого значения не имело, так как за последние 5 лет она переменила не менее десятка любовников. Она с 1918 года прошла, видно, «огонь и воды и медные трубы». Я условился встретиться с ней в погребке, вечером. Но тут я осрамился. Взять ее я не мог. Обстановка ли, боязнь, что войдут, нервировали меня. И я… расписался. Ну, что делать! Она же отнеслась к этому безразлично. Через год Иван Павлович, человек постный, ей видно надоел, и она отправилась в Москву. Иван

Павлович не очень ее задерживал». Возможно, до Булгакова каким-то образом дошли сведения о том, что сестра Вера была любовницей как Воскресенского, так и Карума. Это наверняка усилило его неприязнь к отчиму и зятю и добавило черных красок в образ Тальберга в «Днях Турбиных».

Скажем несколько слов о биографии прототипа Тальберга. Леонид Сергеевич Карум родился в Митаве (сейчас Елгава, Латвия) 7 декабря 1888 года в семье служащего, отставного армейского поручика. Леонид был крещен по православному обряду. Отец был остзейским немцем, а мать, в девичестве Мария Федоровна Миотийская, – русской. Карум в 1906 году поступил в киевское Константиновское военное училище, а после его окончания вышел офицером в 19-й пехотный Костромской полк, расквартированный в Житомире.

В Первую мировую войну сражался на фронте, затем был направлен в Петроград на учебу в Александровскую Военно-юридическую академию, которую закончил с отличием в конце 1917 года. После двух лет обучения слушатели Академии получали право сдать экзамен на гражданского юриста, но из-за ухода на фронт Карум не успел сдать такой экзамен. В марте 1916 года он был направлен преподавателем юридических дисциплин в Константиновское военное училище. Весной 1917 года газета «Киевская мысль» писала: «…Вчера в 6 часов вечера в театре Троицкого народного дома открылось Собрание офицерских, юнкерских и солдатских депутатов Киевского гарнизона… Председатель совета офицерских депутатов капитан Л.С. Карум… открыл заседание. Обращаясь к собравшимся, капитан Карум провозгласил «ура» в честь «Народной могучей армии свободной великой России». Булгаков спародировал этот эпизод, заставив Тальберга считать голоса в цирке во время избрания гетмана.

30 апреля (13 мая) 1917 года Карум сочетался браком с сестрой Булгакова Варей. Он вспоминал «…Наступил день нашей свадьбы, которая была назначена на пять часов вечера в Религиозно-просветительском обществе на Большой Житомирской, 9. Булгаковы посещали эту церковь, так как одним из организаторов общества был отец Вареньки. Кроме того, церковь находилась очень близко, во втором доме от угла Владимирской улицы».

По свидетельству Карума, он очень рассердил Булгакова и других близких своей жены, явившись на свадьбу (как и свадьба Тальберга с Еленой, она была за полтора года до описываемых в романе событий) в мундире, при всех орденах, но с красной повязкой на рукаве. Братья

Турбины осуждают Тальберга за то, что он в марте 1917 года «был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова». Карум действительно был членом исполнительного комитета Киевской городской думы и участвовал в аресте генерал-адьютанта Н.И. Иванова, в начале Первой мировой войны командовавшего Юго-Западным фронтом, а в феврале 1917 года предпринявшего по приказу императора неудачный поход на Петроград для подавления революции. Карум отконвоировал генерала в столицу.

После окончания Военно-юридической академии Карум в начале 1918 года получил назначение в Департамент земледелия, который был эвакуирован из Петрограда в Москву. В начале января 1918 года Леонид Сергеевич и Варвара Афанасьевна прибыли в Москву. Вскоре Карум успешно выдержал экзамены на гражданского юриста в Московском университете.

При Скоропадском он служил в юридическом отделе военного министерства в звании сотника кандидатом на военно-судебную должность. В декабре 1917 года Карум покинул Киев и вместе с братом Булгакова Иваном, которого мать, опасаясь петлюровской мобилизации, отправила с зятем, прибыл в Одессу, а оттуда в Новороссийск. Прототип Тальберга поступил в белую Астраханскую армию, ранее поддерживавшуюся немцами, стал здесь председателем суда и был произведен в полковники. Возможно, это обстоятельство подсказало Булгакову повысить Тальберга до полковника в пьесе «Дни Турбиных». Бывший начальник штаба Киевского военного округа генерал Н.Э. Бредов, знавший Карума еще по его деятельности в исполнительном комитете Киевской думы, при переходе Астраханской армии в состав Вооруженных сил Юга России генерала А.И. Деникина настоял на его увольнении. Так что слова Тальберга в романе, что он может рассчитывать на покровительство Деникина, который был командиром его дивизии, звучат злой иронией. Только благодаря влиятельным знакомым Каруму удалось получить должность преподавателя права в Феодосии, куда было эвакуировано Константиновское училище. В Феодосию он и уехал в сентябре 1919 года, забрав с собой из Киева жену. К зятю в Феодосию отправился и брат Булгакова Николай, раненый в октябрьских 1919 года боях в Киеве. Возможно, это обстоятельство побудило писателя связать

будущую судьбу Николки в «Белой гвардии» с Перекопом. После того как в апреле 1920 года главнокомандующим стал П.Н. Врангель, Карум ушел из училища и стал военным представителем при латвийском консуле в Крыму, а также работал юристом в Феодосийском уездном кооперативном союзе. Он вместе с женой остался в Феодосии и при красных, снова стал преподавать в стрелковой школе и в 1921 году вернулся вместе с школой в Киев. В конце пребывания белых в Крыму Карум в качестве адвоката взялся защищать арестованных феодосийских большевиков, участвовавших в кооперативном движении. Большевики, которых он защищал, дали Каруму самые положительные рекомендации. В Феодосии у Леонида с Варей 10 апреля 1921 года родилась дочь Ирина. Карум остался преподавать в стрелковой школе, которая в 1921 году была переведена в Киев.

В 20-е годы жизнь семьи Карумов в материальном отношении наладилась. В 1922–1926 годах Леонид Сергеевич был помощником начальника и начальник учебной части Киевской объединенной школы им. Каменева, а потом стал военным руководителем и профессором Киевского института народного хозяйства. Он носил в петлицах и на рукаве ромб, что тогда соответствовало генеральской должности. Вот что доносили о нем сексоты ОГПУ в середине 20-х годов: «Среди преподавателей, чувствуется, много всякой «сволочи», но дело свое они, очевидно, знают и делают хорошо… Подбор преподавателей, в особенности офицерья, больше всего зависит от Карума. Карум – это лиса, которая знает свое дело. Но, вероятно, нет… в школе более ненадежного человека, как Карум. В разговоре о политработе и вообще с политработниками он даже не может сдержать язвительной улыбки… Есть у него и большая склонность к карьеризму… Учебой ворочает начальник ученой части Карум, который много времени уделяет работе на стороне (лекции читает в гражданских вузах и живет за 7 верст от школы). Сам очень толковый, способный, но все на скорость отделывает».

Карум свидетельствовал в мемуарах: «В 1924 году наша семья, я, Варенька, Ирочка, и мама моя, становились на ноги и уже жили хорошо». Однако благополучие длилось недолго. Первый звонок прозвенел 5 ноября 1929 года. В этот день Карум был арестован как бывший белый офицер и обвинен в участии в мифическом заговоре. Заступничество нескольких большевиков, которым Карум помогал в 1920 году в Крыму, выступая адвокатом на их процессах, на этот раз спасло его. Через два месяца, 9 января 1930 года, Леонида Сергеевича освободили. Однако из училища и института уволили. Карум отправился в Москву, где стал преподавателем

военных дисциплин в МГУ. 12 января 1931 года он был вновь арестован и на этот раз отправлен на пять лет в концлагерь в Минусинск, но благодаря ударному труду освободился через три года, после освобождения был сослан в Новосибирск, где к нему присоединилась Варвара Афанасьевна вместе с дочерью, продав квартиру в Киеве. В отличие от Елены Турбиной в «Белой гвардии» и особенно в пьесе «Дни Турбиных», сестра Булгакова Варя мужу никогда не изменяла. Сохранилась ее записка, переданная супругу после ареста: «Любимый мой, помни, что вся моя жизнь и любовь для тебя. Твоя Варюша». Здесь Карум преподавал немецкий язык, а позднее возглавил кафедру иностранных языков в Новосибирском медицинском институте, а в 1948 году добился снятия судимости. Варя также преподавала немецкий язык в Новосибирском педагогическом институте.

Надо отдать должное Леониду Сергеевичу, сумевшему приспособиться и сохранить семейное благополучие и благосостояние даже в экстремальных условиях после ареста и заключения в лагерь, ему удалось уцелеть, несмотря на офицерство и службу в белых армиях, в дьявольской мясорубке 1937–1938 годов. Булгаков, в отличие от Карума, приспосабливаться и обеспечивать благосостояние семьи, пусть даже ценой нравственных компромиссов, не умел и не желал.

Сохранилась любопытнейшая рукопись Л.С. Карума «Горе от таланта» (1967), посвященная анализу булгаковского творчества. Здесь прототип следующим образом характеризовал Тальберга:

«Наконец, десятым и последним из белогвардейцев – это генерального штаба капитан Тальберг. Он собственно даже не в Белой гвардии, он служит у гетмана. Когда начинается «заваруха», он садится на поезд и уезжает, не желая принимать участия в борьбе, исход которой для него вполне ясен, но за это навлекает на себя ненависть Турбиных, Мышлаевского и Шервинского. – Почему он не взял с собой жену? Почему он «крысиной походкой» ушел от опасности в неизвестность? Он – «человек без малейшего понятия о чести». Для Белой гвардии Тальберг – личность эпизодическая». Автор «Горя от таланта» стремится как бы оправдать Тальберга: отказался от участия в безнадежной борьбе, жену не взял с собой, потому что ехал в неизвестность. Самого же писателя Карум характеризовал почти теми же словами, что и враждебная тому марксистская критика 20-х годов: «Да, талант Булгакова был именно не столько глубок, сколько блестящ, и талант был большой… И все же произведения Булгакова не народны. В них нет ничего, что затрагивало народ в целом.

Вообще, у него народа нет. Есть толпа загадочная и жестокая. В

произведениях Булгакова есть известные слои царского офицерства или служащие, или актерская и писательская среда. Но жизнь народа, его радости и горести по Булгакову узнать нельзя. Его талант не был проникнут интересом к народу, марксистско-ленинским миросозерцанием, строгой политической направленностью. После вспышки интереса к нему, в особенности к роману «Мастер и Маргарита», внимание может потухнуть». В письме правительству 28 марта 1930 года Булгаков процитировал сходный с карумовским отзыв критика Р.В. Пикеля, появившийся в «Известиях» 15 сентября 1929 года: «Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества».

В «Рассказе без вранья» Карум следующим образом охарактеризовал свою реакцию на появление «Белой гвардии»: «В романе описывается 1918 год в Киеве. Мы журнал «Смену вех» (так Леонид Сергеевич по памяти ошибочно называет журнал «Россия». – ***Б.С.***) не выписывали, поэтому Варенька и Костя (К.П. Булгаков. – ***Б.С.)*** купили его в магазине. – «Ну и не любит же тебя Михаил», – сказал мне Костя.

Я знал, что Михаил меня не любит, но не знал действительных размеров этой нелюбви, переросшей в подлость. Наконец, я прочел этот злосчастный номер журнала и пришел от него в ужас. Там, среди других, был описан человек, по наружности и некоторым фактам похожий на меня, так что не только родные, но и знакомые узнали в нем меня, по морали этот человек стоял очень низко. Он (Тальберг) при наступлении петлюровцев на Киев бежит в Берлин, бросает семью, армию, в которой служит, поступает как какой-то мерзавец.

В романе описана семья Булгакова. Он описывает случай моей командировки в Лубны во время власти гетмана при петлюровском восстании. Но затем начинается вранье. Героиней романа сделана Варенька. Других сестер нет вовсе. Матери тоже нет. Затем описаны в романе все его собутыльники. Во-первых, Сынгаевский (под фамилией Мышлаевский), это был студент, призванный в армию, красивый и стройный, но больше ничем не отличающийся. Обыкновенный собутыльник. В Киеве он на военной службе не был, затем познакомился с балериной Нежинской, которая танцевала с Мордкиным, и при перемене, одной из перемен власти в Киеве, уехал на ее счет в Париж, где удачно выступал в качестве ее партнера в танцах и мужа, хотя был на 20 лет моложе ее.

Собутыльники были описаны довольно точно, но только с благородной стороны, из-за чего впоследствии было у Булгакова много хлопот.

Во-вторых, описан был Юрий Гладыревский, мой двоюродный

племянник, офицер военного времени лейб-гвардии стрелкового полка (под фамилией Шервинский). Он во время гетмана служил в городской милиции, в романе же он выведен в качестве адъютанта гетмана (в действительности в романе Шервинский – адъютант командующего армией генерала Белорукова, а в адъютанты гетмана он превратился только в пьесе. – ***Б.С.)***. Это был малоинтеллигентный юноша 19-ти лет, умевший только пить и подпевать Михаилу Булгакову. И голос у него был небольшой, ни для какой сцены не пригодный. Он уехал с родителями во время Гражданской войны в Болгарию, и более сведений я о нем не имею.

В-третьих, описан Коля Судзиловский, его тоже можно узнать по внешней обрисовке, бывший в то же время киевским студентом, немного наивный, немного заносчивый и глуповатый юноша, тоже 20-ти лет. Он выведен под именем Лариосика». В другом месте своих мемуаров Карум пишет о прототипе Лариосика немного подробнее: «В октябре месяце появился у нас Коля Судзиловский. Он решил продолжать обучение в университете, но был уже не на медицинском, а на юридическом факультете. Дядя Коля просил Вареньку и меня позаботиться о нем. Мы, обсудив эту проблему с нашими студентами, Костей и Ваней, предложили ему жить у нас в одной комнате со студентами. Но это был очень шумливый и восторженный человек. Поэтому Коля и Ваня переехали скоро к матери на Андреевский спуск, 36, где она жила с Лелей на квартире у Ивана Павловича Воскресенского. А у нас в квартире остались невозмутимый Костя и Коля Судзиловский».

Карум прямо утверждал, что его изображение в виде Тальберга в булгаковском романе и в пьесе спровоцировало интерес к нему ОГПУ, что и привело к аресту. Вряд ли это мнение справедливо. Операция «Весна» была направлена против бывших царских и белых офицеров, а Леонид Сергеевич наверняка проходил у чекистов по всем учетам как бывший капитан царской и полковник деникинской армии. Карум писал: «Я был очень взволнован, потому что знакомые узнавали в романе и пьесе Булгаковскую семью, должны были узнать или подозревать, что Тальберг – это я.

Эта выходка Булгакова имела и эмпирический – практический смысл. Он усиливал насчет меня убеждение, что я гетманский офицер, и у местного Киевского ОГПУ. Ведь «белые» офицеры не могли служить в «красной» армии. Конечно, писатель свободен в своем произведении и Булгаков мог сказать, что он не имел в виду меня: вольно и мне себя узнавать, но ведь есть и карикатуры, где сходство нельзя не видеть. Я написал взволнованное письмо в Москву Наде, где называл Михаила

«негодяем и подлецом» и просил передать письмо Михаилу. Как-то я пожаловался на такой поступок Михаила.

– Ответь ему тем же! – ответил Костя.

– Глупо, – ответил я.

А впрочем я жалею, что не написал небольшой рассказик в чеховском стиле, где рассказал бы и о женитьбе из-за денег, и о выборе профессии венерического врача, и о морфинизме и пьянстве в Киеве, и о недостаточной чистоплотности в денежном отношении (Под женитьбой из-за денег здесь имеется в виду первый брак Булгакова – с Т.Н. Лаппа, дочерью действительного статского советника и председателя Саратовской губернской казенной палаты, т. е. ведавшего губернскими финансами. Также и профессию венерического врача, по мнению Карума, будущий писатель выбрал исключительно из материальных соображений. С началом Первой мировой войны и революции в глубь страны хлынул поток беженцев, а потом и возвращающихся с фронта солдат, среди которых наблюдался всплеск венерических заболеваний, поэтому профессия венеролога стала особенно доходной. – ***Б.С.***).

Но в семье у нас все вскоре забылось. Как я уже писал, через год, на Рождество 1925 года Варенька ездила к сестрам в Москву. Она останавливалась у Нади, но у Нади кто-то, кажется муж ее, Андрей, заболел заразной болезнью. Квартира была маленькая, изоляция была невозможна. В гостиницу в Москве было не попасть, или надо было очень дорого платить. И Вареньке пришлось на несколько дней поселиться у Михаила. В это время Михаил был уже второй раз женат на разведенной жене фельетониста Василевского (Не-Буква), на Любови Белозерской.

Варенька была в ужасе от их жизни. Большую часть суток они проводили в кровати, раздетые, хлопая друг друга пониже спины и приговаривая: «Чья это жопочка?» Когда же Михаил был одет и уходил из дому, он говорил Вареньке:

– Люба – это мой крест, – и горько при этом вздыхал.

Прожив год с Белозерской, он развелся с ней и женился на этот раз уже прочно, на секретарше Немировича-Данченко, бывшей жене генерала Шиловского.

Это была прочная связь и Шиловская прибрала его к рукам (Карум здесь ошибается. Секретарем В.И. Немировича-Данченко была не третья жена Булгакова, Елена Сергеевна Шиловская (урожденная Нюрнберг. – ***Б.С.)***, а ее родная сестра Ольга Сергеевна Бокшанская.

Я видел его после 1924 года один раз. Когда я, потеряв в Киеве и военную, и гражданскую службу, приехал в Москву и оставался, как всегда,

у Нади. И, подымаясь по лестнице к Наде, видел его оттуда спускающимся. Мы сделали вид, что не узнали друг друга.

Михаил Булгаков умер в 1940 году богатым человеком, написав 8 пьес, которые ставились в театрах Москвы, и все его имущество перешло к его жене.

Недавно я слышал, что жена его, не особенно горюя о смерти Михаила, сошлась и живет с каким-то литератором. Мне называли, да я забыл его фамилию. А первая его жена, Тася, тоже вышла замуж и живет в Геленджике».

Насчет богатства Булгакова Леонид Сергеевич сильно преувеличивал. Из всех написанных пьес, инсценировок и либретто при его жизни более или менее регулярно шли только «Дни Турбиных» и «Мертвые души». Доходы от них, а также жалованье, сначала – режиссера-ассистента во МХАТе, затем – либреттиста в Большом театре, конечно, позволяли относительно безбедно существовать, тем более что Евгений Александрович Шиловский платил алименты на сына Сергея, оставшегося с Еленой Сергеевной. Однако до настоящего богатства обласканных властью писателей и драматургов ему было очень далеко.

Племянник Карума Николай Николаевич Судзиловский (урожденный Николай Владимирович Капацын) родился 5/17 февраля 1896 года в Нижнем Новгороде в семье капитана Владимира Алексеевича Капацына и его жены Александры Семеновны. О дате рождения свидетельствуют копии метрической выписки из книг Варваринской приходской церкви Нижнего Новгорода: «5 февраля 1896 года родился, а 6 февраля крестился сын делопроизводителя управления Вельского уездного воинского начальника капитана Владимира Алексеевича Капацына и его жены Александры Семеновны, нареченный именем Николай». Однако вскоре после смерти матери, в 1908 году, Николай был усыновлен семьей своей бездетной двоюродной бабушки Варвары Федоровны, которая была замужем за статским советником Николаем Михайловичем Судзиловским. Она была дочерью статского советника Миотийского и родной сестрой матери Леонида Сергеевича Карума, Марии Федоровны Миотийской. Согласие на усыновление отец Коли дал еще в марте 1905 года, но только 13 января 1911 года по высочайшему указу было дано разрешение на изменение отчества Николая Владимировича Судзиловского на Николаевич.

Н.Н. Судзиловский, чей приемный отец служил в качестве непременного члена Волынского губернского по воинской повинности присутствия в Житомире, в 1913 году поступил на тот же медицинский

факультет Киевского университета Св. Владимира, что и Булгаков, но вскоре из-за трудностей учебы перевелся на юридический факультет. В 1915 году он был зачислен в киевское Константиновское военное училище, где преподавал его дядя Л.С. Карум. По его окончании Николай Судзиловский был произведен в подпоручики, но в действующей армии ни дня не служил, тем более что она к моменту окончания им училища почти полностью разложилась. 31 января 1918 года он был признан негодным к воинской службе по состоянию здоровья и отправлен в отставку. Возможно, здесь сказались связи отца, да и здоровьем, как кажется, Коля Судзиловский действительно не блистал. Так что Лариосик был в общем-то прав, когда аттестовал себя у Турбиных «человеком невоенным». После отставки он возобновил занятия на втором курсе юрфака.

В квартире Булгаковых на Андреевском спуске Судзиловский появился еще в октябре, а вовсе не 14 декабря 1918 года, в день падения гетмана Скоропадского, как романный Лариосик. Т.Н. Лаппа вспоминала, что тогда у Карумов «жил Судзиловский – такой потешный! У него из рук все падало, говорил невпопад. Не помню, то ли из Вильны он приехал, то ли из Житомира. Лариосик на него похож».

В 1919 году Николай Николаевич вступил в ряды Добровольческой армии, и его дальнейшая судьба неизвестна. По словам Л.С. Карума, он погиб, но так ли это, сказать трудно, поскольку в данном случае Леонид Сергеевич питался слухами.

Т.Н. Лаппа свидетельствует, что любовь Лариосика к Елене Турбиной не была чистой фантазией драматурга, поскольку Судзиловский действительно был влюблен в прототипа Елены – Варю Булгакову (Карум): «Родственник какой-то из Житомира. Я вот не помню, когда он появился… Неприятный тип. Странноватый какой-то, даже что-то ненормальное в нем было. Неуклюжий. Что-то у него падало, что-то билось. Так, мямля какая-то… Рост средний, выше среднего… Вообще, он отличался от всех чем-то. Такой плотноватый был, среднего возраста… Он был некрасивый. Варя ему понравилась сразу. Леонида-то не было…»

Ярослав Тинченко предложил другого кандидата на роль прототипа Лариосика – еще одного Николая Судзиловского. У него с Судзиловским номер один общие не только фамилия и отчество, но также и год рождения, и отец статский советник, происходящий из дворян Могилевской губернии, и троечные аттестаты, и учеба на юридическом факультете, и жительство в Житомире, и пребывание в Киеве в 1918–1919 годах. Вот только на медицинском факультете Судзиловский номер два никогда не учился. И вот беда – отчества «Николаевич» Судзиловский номер два никогда не носил, и

связей с родней Карума, в отличие от Судзиловского номер один, Тинченко проследить так и не удалось.

Тем не менее приведем биографию и Судзиловского номер два, отметив, какие поразительные совпадения бывают в жизни.

Николай Васильевич Судзиловский родился 7/19 августа 1896 года в деревне Павловка Чаусского уезда Могилевской губернии в имении своего отца, статского советника и уездного предводителя дворянства. В 1916 году он учился на юридическом факультете Московского университета. В конце года Судзиловский поступил в 1-ю Петергофскую школу прапорщиков, откуда был исключен за неуспеваемость в феврале 1917 года и направлен вольноопределяющимся в 180-й запасной пехотный полк. Оттуда он был направлен во Владимирское военное училище в Петрограде, но уже в мае 1917-го исключен оттуда. Чтобы получить отсрочку от военной службы, Судзиловский женился, а в 1918 году вместе с женой переехал в Житомир, где находились тогда его родители. В дальнейшем жена его бросила. Летом 1918 года прототип Лариосика безуспешно пытался поступить в Киевский университет. В 1919 году Николай Васильевич вступил в ряды Добровольческой армии, и его дальнейшая судьба, как и судьба настоящего прототипа Лариосика, неизвестна.

Некоторые исследователи, в частности Я. Тинченко, считают А.М. Земского прототипом Федора Николаевича Карася-Степанова в «Белой гвардии», но подобная гипотеза выглядит маловероятной. Земский как раз в июле 1917 года окончил Николаевское артиллерийское училище в Киеве. А с Надей Булгаковой Андрей Михайлович познакомился еще в 1916 году в Москве, где он был студентом историко-филологического факультета Московского университета, а она – слушательницей Московских высших женских курсов. Земские уехали из Киева еще летом 1917 года, сначала в Царское Село, где находился запасной артиллерийский дивизион А.М. Земского, а затем в Самару, куда дивизион был эвакуирован в марте

1918 года. Там Андрей Михайлович успел несколько месяцев послужить в Народной армии Комуча (Комитета членов Учредительного собрания), боровшейся против большевиков. Это впоследствии ему вышло боком. 31 января 1931 года Земский был арестован и сослан на пять лет в Восточную Сибирь и Казахстан, но уже в 1933 году ему разрешили вернуться в Москву. Общего у Земского с Карасем – только служба в артиллерии. В описанный в «Белой гвардии» период времени он находился за многие сотни верст от Киева.

Что же касается прототипа Карася, то Т.Н. Лаппа вспоминала, что у Сынгаевских был приятель, которого все звали «Карасем». Вот он-то и

послужил прототипом романного Карася. А в пьесе «Дни Турбиных» Карась исчез, слившись с образом капитана Студзинского. Очевидно, друга Сынгаевского прозвали «Карасем» за внешность. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, он был «невысокого такого роста, толстенький, лицо круглое. Симпатичный был. Вот чем занимался, не знаю».

Прототипом поручика Шервинского послужил еще один друг юности Булгакова Юрий Леонидович Гладыревский, певец-любитель (это качество перешло и персонажу), служивший в войсках гетмана Павла Петровича Скоропадского, но совсем не адъютантом. Потом он эмигрировал. Интересно, что в романе и пьесе «Дни Турбиных» Шервинского зовут Леонид Юрьевич, а в более раннем рассказе «В ночь на 3-е число» соответствующий ему персонаж именуется Юрий Леонидович, как и прототип. В этом же рассказе Елена Тальберг (Турбина) названа Варварой Афанасьевной, как и сестра Булгакова, послужившая прототипом Елены. Капитан Тальберг, ее муж, был во многом списан с мужа Варвары Афанасьевны Булгаковой, Леонида Сергеевича Карума, остзейского немца по происхождению, кадрового офицера, служившего вначале Скоропадскому а потом большевикам, у которых он преподавал в стрелковой школе. Любопытно, что в варианте финала романа, в журнале «Россия» доведенном до корректуры, но так и не опубликованном из-за закрытия этого печатного органа, Шервинский приобретал черты не только оперного демона, но и Л.С. Карума, у которого, кстати, в качестве знака различия был нашит на гимнастерку ромб: «– Честь имею, – сказал он, щелкнув каблуками, – командир стрелковой школы – товарищ Шервинский.

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клуба входило ярко-кукольным.

– Это ложь, – вскричала во сне Елена. – Вас стоит повесить.

– Не угодно ли, – ответил кошмар. – Рискнете, мадам.

Он свистнул нахально и раздвоился. Левый рукав покрылся ромбом, и в ромбе запылала вторая звезда – золотая. От нее брызгали лучи, а с правой стороны на плече родился бледный уланский погон…

– Кондотьер! Кондотьер! – кричала Елена.

– Простите, – ответил двуцветный кошмар, – всего по два, всего у меня по два, но шея-то у меня одна и та не казенная, а моя собственная. Жить будем.

– А смерть придет, помирать будем… – пропел Николка и вышел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый

венчик с иконками. Елена мгновенно поняла, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи».

Как известно, прототип Шервинского Ю.Л. Гладыревский в Красной Армии никогда не служил, тогда как прототип Тальберга Л.С. Карум действительно был преподавателем советской стрелковой школы в Киеве.

Юрий (Георгий) Леонидович Гладыревский родился 26 января (7 февраля) 1898 года в Либаве (Лиепае) в дворянской семье. В Первую мировую войну он дослужился до чина подпоручика Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка. В последние недели гетманщины он состоял в штабе белогвардейских добровольческих формирований князя Долгорукова (в романе – Белорукова). После прихода в Киев в начале февраля 1919 года красных ЮЛ. Гладыревский работал в Белом подполье и, возможно, при этом служил для маскировки в Красной Армии. Отсюда Шервинский – красный командир в том варианте финала «Белой гвардии», который должен был появиться в журнале «Россия». Позднее, очевидно, Булгаков узнал о подлинной судьбе Ю.Л. Гладыревского и убрал из финального образа Шервинского красноармейские атрибуты. После вступления в город Добровольческой армии Юрий Леонидович был произведен сразу в капитаны своего родного лейб-гвардейского полка. Во время октябрьских боев в Киеве он был легко ранен. Позднее, в 1920 году, участвовал в боях в Крыму и в Северной Таврии, он был еще раз ранен и вместе с Русской армией П.Н. Врангеля эвакуировался в Галлиполи. В эмиграции зарабатывал на жизнь пением и игрой на фортепиано. Умер он 20 марта 1968 года во французском городе Канны.

Поручик Виктор Викторович Мышлаевский был списан с булгаковского друга детства и юности Николая Николаевича Сынгаевского. Первая жена Булгакова, Т.Н. Лаппа, следующим образом описала Сынгаевского в своих воспоминаниях: «…Мышлаевский – это Коля Сынгаевский… Он был очень красивый… Высокий, худой… голова у него была небольшая… маловата для его фигуры… Глаза, правда, разного цвета, но глаза прекрасные». Портрет персонажа во многом повторяет портрет прототипа: «…И оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной и печальной и привлекательной красотой давней настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб был чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному

лицу маленький и неправильный женский подбородок». Тут черты Сынгаевского сознательно соединены с приметами сатаны – разными глазами, мефистофелевским носом с горбинкой, косо срезанными ртом и подбородком. Позднее эти же приметы обнаружатся у Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Любопытно, что, по свидетельству Н.К Крупской, разные глаза были у Ленина. Булгаков, работавший под началом Крупской в ЛИТО Главполитпросвета, возможно, знал об этом факте, что могло подтолкнуть его к мысли сделать вождя большевиков прототипом Воланда. А в «Белой гвардии» с Аполлионом (Авадоном) – ангелом-губителем Апокалипсиса, повелителем бездны, смерти и ада, предводителем полчищ саранчи, отождествляется военный вождь и создатель Красной Армии Троцкий. Кстати сказать, в средние века Авадона рассматривали как могущественного военного советника ада. К Троцкому же, в какой-то мере, восходит и Абадонна (Авадон) «Мастера и Маргариты», одинаково губительно относящийся ко всем воюющим сторонам. Но находившееся в тот момент под запретом имя Троцкого уже не упоминалось.

Карум был абсолютно прав в том, что Сынгаевский был вторым мужем известной русско-польской балерины Брониславы Нижинской, которая была сестрой великого танцовщика Вацлава Нижинского. Оба они танцевали в труппе хореографа и танцовщика Михаила Мордкина. Б. Нижинская родилась в январе 1891 года. Сынгаевский мог быть немного моложе своей жены, но уж точно не на десять лет. В романе возраст Мышлаевского не указан, а в первой редакции пьесы «Дни Турбиных», называвшейся «Белая гвардия» и наиболее близкой к роману, Мышлаевскому правда, произведенному уже в штабс-капитаны, в конце 1918 года – 27 лет (в окончательной редакции, где Алексей Турбин стал полковником-артиллеристом и постарел с 30 до 38 лет, Мышлаевский был его ровесником и тоже состарился до 38 лет, превратившись в кадрового офицера). В этом случае, если возраст Мышлаевского совпадал с реальным возрастом Сынгаевского, то Николай Николаевич должен был родиться в 1891 году как и Михаил Булгаков, как и Бронислава Нижинская. Да и Т.Н. Лаппа, сама родившаяся 23 ноября (5 декабря) 1892 года, в беседе с Л.К. Паршиным подтвердила, что Сынгаевский, как и сам Булгаков, равно как и другие гимназические друзья мужа, все были «нашего примерно возраста». Так что насчет десятилетней разницы в возрасте между Сынгаевским и его женой Карум, который терпеть не мог не только Булгакова, но и его друзей-собутыльников, явно приврал, стараясь скомпрометировать Николая и представить его молодым Альфонсом при стареющей прима-балерине.

Т.Н. Лаппа следующим образом описала семью Сынгаевских:

«У них большая семья была. Варвара Михайловна дружила раньше с матерью Сынгаевского. Они жили на Мало-Подвальной улице. Маленький домик у них был, в саду… Он (Сынгаевский. – ***Б.С.***)… все мечтал о балете, хотел в балетную школу поступить. Перед приходом петлюровцев он пошел в юнкеры…»

Вероятно, время поступления в юнкера Сынгаевского Татьяна Николаевна по памяти значительно сдвинула, так как из дневниковой записи Надежды Афанасьевны Булгаковой от 16 сентября 1916 года следует, что Сынгаевский в тот момент был в Москве и собирался на фронт: «Не могу отделаться от одного впечатления: грустных глаз Коли Сынгаевского вчера в передней, грустных, больших не по обычному и детских. 20-го он едет со своей артиллерийской бригадой на фронт. Вот. Ужасно почему-то оставило это во мне большое впечатление». Между прочим, тогда в Москве Булгаков с Сынгаевским разминулись буквально на пару дней, так как Михаил с Тасей в начале 20-х чисел сентября приехали в Москву на три дня в связи с призывом.

Между прочим, из этой дневниковой записи можно сделать вывод о том, что Сынгаевский успел повоевать и получить офицерский чин. А то, что он кончил юнкерское училище в 1916 году и сделал это, скорее всего, после университета (последующая успешная коммерческая деятельность выдает в нем неплохое образование), позволяет предположить, что они с Булгаковым были примерно одного возраста. Кстати сказать, Сынгаевский вполне мог быть выпущен из училища подпоручиком, а в дальнейшем, уже при Временном правительстве, когда чины раздавались довольно обильно, его могли произвести и в поручики, как и Мышлаевского.

Бронислава Нижинская в 1919 году открыла балетную «Школу движения» в Киеве, которую посещал Сынгаевский, и между ними завязался роман. К тому времени балерина рассталась со своим первым мужем – танцовщиком Александром Кочетовским, от которого у нее было двое детей. Сын Лев погиб в автомобильной аварии, а дочь Ирина пошла по стопам матери и тоже стала известной балериной. Она действительно уехала из Киева в 1920 году и в следующем году стала главным хореографом труппы Сергея Дягилева в Париже. Причем для того чтобы Нижинской и ее матери разрешили эмигрировать из Киева, потребовалась, по свидетельству жены Вацлава Нижинского Ромолы Нижинской, петиция к Ленину, подписанная лечащими врачами Вацлава, больного тяжелой формой шизофрении. В этой петиции эмиграция Брониславы и ее матери обосновывалась необходимостью ухода за сыном и братом. Вероятно, Булгаков знал об этой истории, и она могла подтолкнуть его к тому, чтобы

поэту Ивану Бездомному в «Мастере и Маргарите» был поставлен диагноз шизофрения. В разрешении на эмиграцию Брониславе Нижинской и ее родне было отказано. Но она вместе с Сынгаевским смогла прогастролировать во всех пограничных городах между Киевом и польской границей, а затем перейти границу, которая тогда была еще не на замке. Кстати сказать, первый контракт о работе танцовщиком у Сергея Дягилева Сынгаевский подписал в Париже еще 11 ноября 1920 года. До 1938 года Нижинская и Сынгаевский оставались в Европе, преимущественно во Франции. Сынгаевский танцевал партию Шаха в поставленном ею балете «Спящая принцесса».

В 1935 году Сынгаевский, управлявший автомобилем, попал в аварию вблизи Парижа, во время которой погиб его пасынок Лев, а он сам и падчерица Ирина были серьезно ранены. В 1938 году Нижинская с Сынгаевским эмигрировали в США, где основали новую балетную школу. Нижинская была также возлюбленной Федора Шаляпина, но никогда не была замужем за ним. Впрочем, роман с Сынгаевским, как кажется, был чисто платоническим. До самой смерти Николая, превратившегося в Америке в Nicolas Singaevsky в 1968 году в Лос-Анджелесе они с Брониславой были вместе. Николай был ее импресарио, а иной раз и переводчиком, так как по-английски она говорила не слишком бегло. Интересно, что прототипу Мышлаевского, в отличие от героя, который так и не стал Мышлаенко, фамилию все-таки пришлось сменить. Он стал Николя Сингаевски, или, если произносить на американский манер, Николасом Сингаевски. Возможно, Булгаков знал об этой перемене имени и обыграл ее в пьесе.

Бронислава пережила своего второго мужа на четыре года и скончалась в феврале 1972 года в Лос-Анджелесе. Были ли дети у Сынгаевского и Нижинской, неизвестно. К сожалению, мемуары Брониславы Нижинской, «Ранние воспоминания», доведены только до начала Первой мировой войны, т. е. обрываются задолго до ее знакомства с Сынгаевским.

Не исключено, что имя жены Сынгаевского – Бронислава подсказала Булгакову отчество одного из героев «Белой гвардии» – штабс-капитана Александра Брониславовича Студзинского. В романе он представлен чистым поляком, что подчеркивается многочисленными полонизмами в его речи. В пьесе же «Дни Турбиных» о польском происхождении Студзинского, произведенного здесь уже в штабс-капитаны, свидетельствуют в первую очередь фамилия и отчество. Хотя в одном из черновиков пьесы остался очень примечательный диалог между

Студзинским, выправившим себе новые документы с новой украинской фамилией, чтобы уйти вместе с петлюровцами из Города, к которому приближаются красные, и Мышлаевским:

«Студзинский. Сейчас. *(Достает бумагу. Мышлаевскому.)* На.

Мышлаевский *(читает)*. Так… гм… Борисович… Ты находишь, что это красивее, чем Брониславович?

Студзинский. Все у тебя шутки.

Мышлаевский. Да какие тут шутки! Дело совершенно серьезное. Студзенко… Черт знает, что за фамилия! Какой ты Студзенко, когда тебя акцент выдает? Когда с тобой заговоришь, так кажется, что кофе по-варшавски пьешь…»

На предложение Студзинского пойти вслед за петлюровцами штабс-капитан выдвигает аргумент, окрашенный явной булгаковской симпатией: «Так. Мерси. С обозами этой рвани… Мышлаенко… Нет, знаешь, я уж Мышлаевским останусь».

Однако подчеркивать польский акцент Студзинского в пьесе не было никакой нужды, так что от этого колоритного диалога Булгаков в конце концов отказался.

Что же касается Мышлаевского, то у него и в романе, и в пьесе польского – только фамилия. То же самое, вероятно, можно сказать и о Николае Николаевиче Сынгаевском, хотя в дальнейшем, женившись на польке, польский язык он, вероятно, выучил.

Интересно, что в реальной жизни к профессиональному искусству из прототипов героев «Белой гвардии» имел отношение только прототип Мышлаевского Николай Сынгаевский, который стал профессиональным балетным танцовщиком, причем сразу же после падения Скоропадского. А вот прототип Шервинского Юрий Гладыревский в опере никогда не пел и после падения Скоропадского продолжил службу у белых. Правда, в эмиграции ему, как кажется, пришлось иной раз использовать свой талант певца. Можно сказать, что Булгаков в какой-то мере наделил Шервинского судьбой Сынгаевского, тогда как основной прототип, Юрий Гладыревский, до конца честно сражался на стороне белых, вместе с ними эмигрировал, а в эмиграции никаким искусством не занимался. Подобно Мышлаевскому Сынгаевский, несомненно, обладал организаторскими и деловыми способностями, иначе не был бы многолетним успешным импресарио-менеджером у Брониславы Нижинской. Можно предположить, что придавая Мышлаевскому и Студзинскому черты опытных боевых офицеров, Булгаков использовал свой опыт общения с русскими офицерами на фронте Первой мировой войны в 1916 году, когда несколько

месяцев работал в полевых госпиталях на Юго-Западном фронте, а также, в еще большей степени, свое знакомство с офицерами-белогвардейцами в период пребывания в составе Вооруженных сил Юга России на Северном Кавказе в конце 1919 – начале 1920 года.

Вероятно, значимы для Булгакова инфернальные черты у таких героев, как Мышлаевский, Шервинский и Тальберг. Последний не случайно похож на крысу (гетманская серо-голубая кокарда, щетки «черных подстриженных усов», «редко расставленные, но крупные и белые зубы», «желтенькие искорки» в глазах, – в «Днях Турбиных» он прямо сравнивается с этим малоприятным животным). Крыс, как известно, традиционно связывают с нечистой силой. Кому-то из них, а быть может, и всем троим, в последующих частях трилогии (а до закрытия журнала «Россия» в мае 1926 года Булгаков, видимо, надеялся продолжить роман) скорее всего предстояло служить в Красной Армии своего рода наемниками (кондотьерами), таким образом спасая свои шеи от красноармейского клинка или чекистской пули.

Булгаков предсказал в финале романа два варианта судьбы тех участников Белого движения – либо служба красным с целью самосохранения, либо гибель, которая суждена Николке Турбину, как и брату рассказчика в «Красной короне», носящему то же имя.

На практике, как показали события, происшедшие уже после написания «Белой гвардии», даже честная служба красным не спасла от гибели большинство бывших белогвардейцев и даже просто бывших офицеров императорской армии. Уже со второй половины 20-х годов, после вынужденного ухода Троцкого из военного ведомства, они начали подвергаться различным притеснениям и репрессиям и под всяческими предлогами увольняться из армии. А в ходе операции «Весна», проведенной ОГПУ в 1930–1931 годах в рамках ликвидации мнимого заговора бывших офицеров, будто бы связанных с белой эмиграцией, только на Украине были расстреляны 573 человека, а не менее 5 тыс. человек по всему Советскому Союзу арестованы и либо приговорены к заключению в лагерь и ссылке, либо были просто изгнаны из армии. В эти числа входят как те, кто находился в Красной Армии, так и служащие гражданских учреждений и пенсионеры. Из тех же, кому посчастливилось уцелеть в ходе «Весны», Большой террор 1937–1938 годов удалось пережить очень немногим из бывших офицеров, поскольку бывшие белогвардейцы были одной из основных групп, против которых этот террор был направлен.

Стоит добавить, что Сынгаевские в Киеве жили почти по тому же

адресу, по которому в «Белой гвардии» проживает семейство Най-Турсов – Мало-Подвальная, 13 (в романе – Мало-Провальная, 21). У Николая было пять сестер, с одной из которых, Ириной, один из братьев Булгаковых имел роман. Не исключено, что она послужила прототипом Ирины Най-Турс в романе.

Прототипом же Юлии Марковны Рейсс, по мнению украинского историка Ярослава Тинченко, послужила Наталья Владимировна Рейс, дочь полковника генерального штаба Владимира Владимировича Рейса, который в 1900 году вышел в отставку в чине генерал-майора и скончался в 1903 году. Как считает Тинченко, в «Белой гвардии» Булгаков очень точно описал обстановку квартиры на Мало-Подвальной, 14, по соседству с Сынгаевскими, где Наталья Владимировна после развода с мужем жила в начале 1910-х годов. По предположению Тинченко, у нее с Булгаковым мог быть кратковременный роман в 1910–1911 годах.

Интересно, что в том варианте окончания романа, который так и не появился в журнале, в образе Юлии Рейсс в большей мере подчеркивались порочные черты. Алексей Турбин, угрожая ей револьвером, взятым у Мышлаевского, пытается выяснить, была ли она любовницей Шполянского – предтечи антихриста Троцкого, а та вздыхает с облегчением, что вопрос не касается ее политической связи с руководителем «Магнитного Триолета». И здесь же во сне он видит Шполянского без лица, что выдает его дьявольское происхождение. Человек с онегинскими баками целует Юлию, и чей-то голос, то ли Шполянского, то ли автора, предупреждает: «Эх, доктор Турбин. Не нужно, забудьте Юлию, бросьте, плохая она женщина! Ждут вас лучшие, хорошие. Будут они у вас на пути, но не здесь, а далеко на теплом юге, куда кинет вас судьба». Впоследствии, когда стало ясно, что в «России» опубликовать окончание романа не удастся, а значит, о задуманной трилогии придется забыть, слова про будущих женщин Турбина на юге Булгаков вычеркнул. Из этой фразы можно предположить, что доктор Турбин в так и ненаписанном продолжении «Белой гвардии» должен был оказаться, как и доктор Булгаков, на юге России, на Северном Кавказе.

Во сне Турбин пытается застрелить Шполянского, но браунинг не стреляет: опасен этот окаймленный баками Онегин, и чувствуется за ним грозная поддержка… Турбин уже чувствует, что пришла чрезвычайная комиссия по его турбинскую душу.

Сестра Николая Сынгаевского Валентина послужила прототипом «роковой женщины» Юлии Рейсс. По воспоминаниям Т.Н. Лаппы, В.Н. Сынгаевская была «очень такая… своеобразная девица… крикливо

одевалась. Не знаю, то ли замужем она была, то ли нет». Вспомним, что спасение от преследующих его петлюровцев Алексей Турбин находит в домике на Мало-Провальной, в таинственном домике в сиреневом саду у не менее таинственной Юлии Рейсс. Но был ли, как в романе, у Михаила Булгакова роман с Валентиной Сынгаевской, ничего не известно. Интересно только, что и у Мышлаевского, и у Рейсс – нос с горбинкой. Вероятно, это наследственная черта Сынгаевских. Не исключено, что у двух братьев Булгаковых, Михаила и Николая, были кратковременные романы с двумя сестрами Сынгаевскими, соответственно, Валентиной и Ириной.

Единственный героический персонаж булгаковского романа, полковник Най-Турс, представляет Белую гвардию. Он, судя по всему, имел весьма конкретного и неожиданного прототипа.

И полковнику Най-Турсу в «Белой гвардии», которого Булгаков характеризовал П.С. Попову как «идеал русского офицерства», даны перед смертью программные слова, которые повторит потом, умирая, любимый булгаковский герой полковник Алексей Турбин в «Днях Турбиных», обращаясь к брату Николке: «Унтер-офицер Турбин, брось геройство к чертям!»

Своему другу П.С. Попову Булгаков говорил во второй половине 20-х годов, что «Най-Турс – образ отдаленный, отвлеченный. Идеал русского офицерства. Каким бы должен быть в моем представлении русский офицер». Из этого признания обычно делают вывод, что настоящих прототипов у Най-Турса не было, поскольку среди участников Белого движения будто бы не могло быть настоящих героев. Между тем прототип существовал, но называть вслух его имя в 20-е годы и позднее было небезопасно.

Вот биография одного из видных кавалерийских командиров Вооруженных сил Юга России, имеющая явные параллели с биографией романного Най-Турса. Она написана парижским историком-эмигрантом Николаем Николаевичем Рутычем (Рутченко) и помещена в составленный им «Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России» (1997): «Шинкаренко Николай Всеволодович (лит. псевдоним – Николай Белогорский). Генерал-майор… В 1912–1913 гг. участвовал добровольцем в болгарской армии в войне против Турции… Был награжден орденом «За храбрость» – за проявленное отличие при осаде Адрианополя. На фронт Первой мировой войны вышел в составе 12-го Уланского белгородского полка, командуя эскадроном… Георгиевский кавалер и подполковник в конце войны. В Добровольческую

армию прибыл одним из первых в ноябре 1917 года. В феврале 1918 года был тяжело ранен (в ногу. – ***Б.С.)***, заменяя пулеметчика в бронепоезде в бою у Новочеркасска».

Стоит добавить, что родился Шинкаренко в 1890 году, следовательно, в 1918 году ему было 28 лет. Строго говоря, он был награжден Георгиевским оружием Высочайшим приказом от 7 февраля 1916 года. В тот момент он числился в 1-м конно-горном артиллерийском дивизионе, но был награжден за отличие в 12-м Уланском белгородском полку. А в 1917 году, будучи подполковником, уже при Керенском, он был удостоен Георгиевского креста 4-й степени.

Комментаторы давно установили, что Белградского гусарского полка, в котором Най-Турс командовал эскадроном и заслужил «георгия», в русской армии не существовало. За образец Булгаков как раз и взял вполне реальный 12-й Уланский белгородский полк. Совпадают и обстоятельства гибели Най-Турса и ранения Шинкаренко: оба с пулеметом прикрывали отступление своих.

Шинкаренко в 1917 году был подполковником. Поскольку Най-Турс в романе был командиром эскадрона, он тоже должен был в 1917 году носить звание подполковника. Ведь в армейских гусарских полках командир эскадрона – это должность подполковничья. Полковником Най-Турс мог стать уже в армии гетмана, точно так же, как и полковник Малышев, который носит еще свои старые подполковничьи погоны.

Но откуда Булгаков мог узнать о Шинкаренко? Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к дальнейшей биографии Николая Всеволодовича. В феврале 1918 года он выжил, но вынужден был остаться на территории, занятой красными. Шинкаренко пришлось скрываться вплоть до возвращения Добровольческой армии на Дон весной 1918 года. Вновь присоединившись к своим, он возглавил отряд, а потом полк кавказских горцев в Сводно-Горской дивизии. Шинкаренко произвели в полковники, а в июне 1919 года он временно принял командование Сводно-Горской дивизией, с которой отличился под Царицыном. Осенью 1919 года Сводно-Горская дивизия была переброшена на Северный Кавказ для борьбы с начавшимся на территории Чечни и Дагестана восстанием против белых. Согласно «Боевому составу Вооруженных сил Юга России на 5/18 октября 1919 года», эта дивизия числилась среди войск Северного Кавказа. Как раз в это время здесь же служил военным врачом Булгаков. Правда, точно неизвестно, был ли тогда Шинкаренко вместе со своей дивизией, а если был, то встречался ли с Булгаковым. В романах «Тринадцать щепок крушения» и «Вчера» он (точнее – автобиографический герой полковник

Подгорцев-Белогорский) после ранения под Царицыном пребывает в госпитале (вполне возможно – во владикавказском, где работал Булгаков). Потом действие возобновляется весной 1920 года, когда главный герой оказывается в районе Сочи в рядах Кубанской армии. Основная ее масса капитулировала перед красными, но Шинкаренко вместе с частью кубанцев и горцев удалось избежать сдачи в плен и эвакуироваться в Крым. Кстати сказать, одним из отрядов белых в районе Сочи в январе 1920 года командовал полковник Мышлаевский. Не отсюда ли Булгаков взял фамилию одного из героев своего романа?

Необходимо оговориться, что романы Белогорского – это художественные произведения, где документально точные описания ряда боев соседствуют с вымыслом. Об этом автор даже предупреждает читателей в специальном примечании. Вообще о событиях своей жизни, в период после боев под Царицыном и вплоть до прибытия в Крым, Шинкаренко рассказывал очень скупо. Может быть, причина заключалась в том, что он не считал борьбу с восставшими горцами славной страницей Белого движения. Тем более, что теми же горцами Николаю Всеволодовичу пришлось командовать почти всю Гражданскую войну. Но в его романе «Вчера», написанном уже после Второй мировой войны, речь идет об антисоветском восстании на Северном Кавказе в конце 20-х годов. При этом автор очень точно описывает как раз те районы Чечни, в которых осенью 1919 года побывал Булгаков. Их зарисовки мы находим в «Необыкновенных приключениях доктора» и в дневнике «Под пятой». Не исключено, что тогда же в тех же самых аулах побывал и полковник Шинкаренко.

В любом случае Булгаков на Северном Кавказе мог или лично встречаться с Николаем Всеволодовичем, либо слышать рассказы о нем от офицеров Сводно-Горской дивизии.

Какова же была дальнейшая судьба Шинкаренко? Гораздо более счастливой, чем у Най-Турса. За отличия в боях в Северной Таврии Врангель произвел Николая Всеволодовича в генерал-майоры и наградил орденом Св. Николая. Перед эвакуацией из Крыма Шинкаренко командовал Туземной дивизией. И в эмиграции он не сидел сложа руки, изыскивая любую возможность продолжить борьбу с большевизмом. В некрологе, опубликованном в феврале 1969 года в парижском журнале «Часовой», отмечалось: «Тяжелая и серая эмигрантская жизнь не удовлетворяла генерала Шинкаренко, и он рвался к действию. Сначала были попытки работать в России. Когда же вспыхнула гражданская война в Испании, он одним из первых прибыл в армию генерала Франко, был определен в

войска «Рекеттэ» (красные береты), тяжело ранен в голову на Северном фронте и произведен в поручики (лейтенанты). После окончания войны непрерывно проживал в Сан-Себастьяне (Испания) и отдался литературной деятельности». 21 декабря Николай Всеволодович был сбит грузовиком и погиб в возрасте 78 лет.

Интересно, что Шинкаренко, как и сам Булгаков и рожденный писательской фантазией Най-Турс, не отличался почтением к штабам. В эмиграции он в ряде брошюр высмеивал руководство основанного Врангелем Русского общевоинского союза (РОВСа). Шинкаренко ратовал за сохранение кадров белых армий в качестве вооруженных формирований в войсках одной из стран, готовой принять такие условия со стороны русской эмиграции. Шинкаренко-Белогорский утверждал, что руководители эмиграции живут только прошлым. В 1930 году «Часовой» дал критический отзыв на одну из брошюр Белогорского, где, в частности, было сказано, что под псевдонимом Белогорский скрывается генерал Шинкаренко. Однако идейные разногласия не помешали генералу в 1939 году опубликовать в «Часовом» свои очерки войны в Испании. Тогда же в журнале единственный раз было напечатано его фото. Оно доказывает, в частности, что Най-Турс обладает портретным сходством с Шинкаренко. Оба – брюнеты или темные шатены, среднего роста и с подстриженными усами. Да и в остальном они похожи. Вот что, например, писал в декабре 1929 года один из соредакторов журнала «Часовой» офицер-дроздовец Евгений Тарусский о книге Белогорского «Тринадцать щепок крушения»: «Белогорский – псевдоним, скрывающий имя одного из блестящих кавалерийских генералов нашей армии. «Тринадцать щепок крушения» проникнуты духом подлинного рыцарства и мужества, это художественный трактат о том, каким должен быть настоящий мужчина во всех жизненных обстоятельствах и в особенности в отношении женщины. Его герои особенно привлекательны этой своею мужественностью, мужским благородством, неизменно сохраняющими свою ценность равно во времена Росбаха или Трои или царицынских боев нашей Гражданской войны». Эту характеристику вполне можно применить и к булгаковскому Най-Турсу. И тот же Тарусский в ноябре 1929 года в «Часовом» утверждал, касаясь булгаковской «Белой гвардии»: «Если есть среди советских писателей большой талант, которого советская тирания губит и, без сомнения, в конце концов погубит, то это – Михаил Булгаков. Булгаков органически не может вывернуть шиворот-навыворот по «марксистскому» образцу свою талантливую и чуткую душу. Угрозами, доносами, яростью и ненавистью встретила советская наемная критика первую часть «Белой гвардии»,

романа, под которым за малыми купюрами – подписался бы любой белогвардейский писатель». Несомненно, образ Най-Турса был очень весомым аргументом в пользу такого заявления. Разница же между Булгаковым и эмигрантами-белогвардейцами заключалась в том, что автор «Белой гвардии» принимал Советскую власть как неизбежную и длительную реальность российской жизни, тогда как Шинкаренко, Тарусский и некоторые другие, как их называли в эмигрантской среде, «активисты» все еще мечтали об ее сравнительно скором свержении вооруженным путем с участием боевиков из эмиграции. Насчет же героизма рядовых, и не только рядовых, участников Белого движения у Булгакова с эмигрантами разногласий не было.

Назвать Най-Турса какой-нибудь украинской фамилией, близкой к фамилии прототипа, писатель не мог, потому что сражаться белградскому гусару приходилось против украинцев Петлюры, и украинская фамилия в данном контексте была бы неорганичной. Да и вполне возможно, что Булгаков фамилии Шинкаренко вообще не запомнил.

Можно предположить, что фамилия Най-Турс имеет чисто литературное происхождение. Дело в том, что ее при желании можно прочесть и как «найт Урс», т. е. «рыцарь Урс» («knight» по-английски значит «рыцарь»). «Urs» же по латыни – это «медведь». Так зовут одного из героев романа Г. Сенкевича «Quo vadis», раба-поляка, ведущего себя как настоящий рыцарь. Может быть, из-за этого Най-Турсу дано распространенное польское имя «Феликс», что в переводе с латинского значит «счастливый». Сенкевич не только прямо упоминается в тексте «Белой гвардии». Начало булгаковского романа является легко узнаваемым парафразом начала романа Сенкевича «Огнем и мечом».

При описании крестьянских восстаний на Украине 1918 года Булгаков сообщает: «И в польской красивой столице Варшаве было видно видение: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся». Это место, вне всякого сомнения, восходит к следующим строкам из начала романа Сенкевича «Огнем и мечом», повествующего о восстании на Украине, поднятом в 1648 году гетманом Зиновием Богданом Хмельницким и получившем страшное в памяти поляков и евреев название «хмельничина», в ходе которого, по некоторым оценкам, было уничтожено до четверти всего еврейского населения Речи Посполитой, и Украина в какой-то момент стала judenfrei: «Над Варшавой являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю назначалось поститься и раздавали подаяние, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий». Однако этим параллели с творчеством

Сенкевича у Булгакова далеко не исчерпываются. Если прочесть самые первые фразы романа «Огнем и мечом»: «Год 1647 был год особенный, ибо многоразличные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями. Тогдашние хронисты сообщают, что «весною, выплодившись в невиданном множестве из Дикого Поля, саранча поела посевы и травы. Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах». Становится ясным генезис зачина «Белой гвардии»: «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимой снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс».

Еще один яркий эпизод «Белой гвардии» наверняка навеян «Огнем и мечом». Это сон Алексея Турбина, вдруг увидевшего в раю гусарского полковника Най-Турса, которому суждено в дальнейшем погибнуть от пуль петлюровцев, и вахмистра Жилина, еще в 1916 году павшего вместе с эскадроном белградских гусар. Най-Турс «был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком». А из слов Жилина, который сам «как огромный витязь возвышался» в светящейся кольчуге, мы узнаем, что в раю Най-Турс оказался «в бригаде крестоносцев». У Сенкевича в рай попадает рыцарь – богатырь Лонгин Подбипятка. Непременный спутник Подбипятки – гигантский меч, такой же, как у Ная в раю. Нагой труп Подбипятки его друзья отбили у казаков Хмельницкого. Друзья Ная находят его обнаженное тело в городском морге. И у Подбипятки, и у Най-Турса латинские имена – Лонгин (длинный) и Феликс (счастливый), однако долгой и счастливой жизни им не суждено.

В «Белой гвардии» изображение стихии крестьянского мятежа на Украине перекликается не только с «Огнем и мечом», но и с романом Сенкевича «Омуты». Здесь польский писатель под впечатлением событий революции 1905–1907 годов и постепенного погружения всего мира в пучину военной конфронтации, приведшей в конце концов к Первой мировой войне, гениально предвидел потрясения и страдания, выпавшие на долю человечества в XX веке. Он показал опасность доктрин, могущих провоцировать массовый стихийный взрыв возмущения черни, а также безразличие носителей этих доктрин к судьбе народа, к жизням людей, от имени и во имя которых они выступают. Героиня романа, 16-летняя скрипачка Марина Збыстовская гибнет во время революционного погрома, защищая свою скрипку. Эта смерть становится как бы следствием

нигилистических идей, проповедуемых влюбленным в Марину и застрелившимся после ее смерти студентом Ляскевичем. Шляхтич Гронский, выражая мысли Сенкевича, говорит нигилисту:

«Вы напоминаете собой плод, с одной стороны зеленый, а с другой гниющий. Вы больны. Этой болезнью и объясняется это безграничное отсутствие логики, основанное на том, что протестуя против войны, вы сами ведете войну; крича против военных судов, вы сами выносите приговор без суда и без разбора; протестуя против смертной казни, вы сами даете людям в руки браунинги и говорите им «убей!». Этой же болезнью объясняются ваши безумные порывы и ваше полнейшее равнодушие к тому, что будет впереди, равно как и к судьбе тех несчастных людей, которые служат вашим оружием. Пусть убивают, пусть грабят кассы, а что потом: повиснут ли они на перекладине, станут ли париями, все это вас не интересует. Ваш nihil дает вам возможность плевать и на кровь, и на нравственность. Вы настежь открываете двери заведомым нечестивцам и разрешаете им провозглашать не свое бесчестие, а вашу идею. Вы носите в себе гибель и Польшу ведете к гибели. В вашей партии есть люди искренние, готовые пожертвовать собой, но слепые, которые в слепоте своей служат не тому, кому думают».

Похороны же Марины символизируют грядущую гибель современной цивилизации в океане насилия:

«Идя за гробом Марины, д-р Шремский говорил Свидвицкому:

– Этот гроб имеет большее значение, чем мы думаем. Это – предвестник. Ошибка ли это? Нет. Это только случай. Мы сегодня хороним арфу, которая хотела играть людям, но которую растоптала своими грязными ногами чернь. Если так будет дальше, то возможно, что лет через десять, двадцать придется хоронить и нашу науку, и нашу культуру… Нужно просвещение, просвещение, просвещение…

– Просвещение без религии, – заметил Свидвицкий, – может воспитать только злодеев и экспроприаторов. Я думаю, что мы погибли безвозвратно. У нас остается только омут жизни, и не только омут на поверхности воды, под которой еще бывает спокойная глубь, но тот песчаный смерч, который бывает на земле. Теперь он идет с востока, и сухой песок заносит наши традиции, нашу цивилизацию, нашу культуру, – всю Польшу – и обращает ее в пустыню, на которой гибнут цветы и плодятся шакалы». Вслед за тем звучит похоронный марш, «Марш фюнебр» Фредерика Шопена.

У Булгакова в «Белой гвардии» таким же зловещим предзнаменованием выступают похороны офицеров, зарезанных мужиками. Эти похороны наблюдает Алексей Турбин, призывающий

сделать все, «чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью», той же социалистической болезнью, которой поражен Ляскевич. Булгаков разделял мнение Сенкевича о том, что спасение может прийти через просвещение народа. В пору написания «Белой гвардии» он верил в Бога, так что и мысль польского писателя о необходимости соединения просвещения с религией была тогда близка Булгакову. Не случайно именно страстная молитва Елены Турбиной ведет к выздоровлению тяжело больного Алексея и олицетворяет собой возможность грядущего выздоровления России от большевизма. Фигура Сенкевича, возникающая в облаке над Варшавой, – это образ автора не только «Огнем и мечом», но и «Омутов». И сразу после этого видения следует история старца Дегтяренко, которого пороли люди с красными бантами. Тут – перекличка с идеями «Омутов», где доказывается полная совместимость красных революционных бантов с насилием и террором.

Автор «Огнем и мечом» показывает весь ужас войны в эпилоге, запечатлев резню, устроенную польскими войсками татарам и казакам при Берестечко в 1651 году: «И настал день гнева, поражения и суда… Кто не был затоптан или не утонул, от меча погибнул. Реки сделались красны: непонятно было, кровь они несут или воду. Толпа обезумела, в сумятице люди давили друг друга, и сталкивали в воду, и шли ко дну… Дух убийства пронизал самый воздух в тех ужасных лесах, вселился в каждого: казаки с яростью стали защищаться. Схватки завязывались на болоте, в чаще, посреди поля. Воевода брацлавский отрезал убегающим путь к отступлению. Тщетно приказывал король своим воинам остановиться. Жалость иссякла в сердцах, и резня продолжалась до самой ночи – такая резня, какой не доводилось видеть и старым, бывалым солдатам: при воспоминании о ней у них долго еще волосы на голове шевелились. Когда же наконец тьма окутала землю, сами победители устрашились того, что сотворили. Не прозвучало над лагерем «Te Deum» (католическая молитва: «Тебя Бога, славим…» – ***Б.С.)*** и не радости слезы, но слезы печали и состраданья катились из благородных королевских очей…

Междоусобные войны… тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине и всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустела Речь Посполитая, пустела и Украина. Волки выли на развалинах городов; цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть вросла в сердца и отравила кровь народов-побратимов, и долгое время ни из одних уст нельзя было услышать слов: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

Сенкевич показывает неистребимость насилия: даже сторонник мира брацлавский воевода Адам Кисель вынужден участвовать в берестечской резне. С финалом «Огнем и мечом» перекликаются и заключительные строки «Белой гвардии».

Также вполне вероятной кажется гипотеза историка Сергея Фомина о том, что фамилия Най-Турс могла быть подсказана Булгакову сведениями о том, что сиамский принц Най-Пум был пажем вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны. В 1902 году он был произведен в корнеты Гусарского Его Величества полка. Крестным отцом Най-Пумы был сам император Николай II. Принца нарекли Николаем Николаевичем. Он командовал эскадроном Лейб-гвардии гусарского полка, дослужился до полковника, после Гражданской войны эмигрировал во Францию, а затем в Англию, где и умер в 1947 году. Правда, никаких монголоидных черт в облик Най-Турса Булгаков добавлять не стал.

Не исключено также, что Булгакову и Шинкаренко все же довелось встречаться на Северном Кавказе в конце 1919 или в начале 1920 года. Тогда прототип Най-Турса вполне мог быть тем раненым полковником, которого Булгаков вспоминает в своем дневнике в ночь на 24 декабря 1924 года вместе со стихами Василия Жуковского, ставшими позднее эпиграфом к булгаковской пьесе «Бег»: «Я смотрел на лицо Р.О. и видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал… Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р.О. (сотрудника редакции «Гудка». – ***Б.С.)***, одновременно – вагон, вагон, в котором я поехал не туда, куда нужно, и одновременно же – картину моей контузии под дубом и полковника, раненого в живот…

Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так.

– Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.

Меня же контузили через полчаса после него».

Возможно, Шинкаренко и был тем раненым в живот полковником. Булгаков мог решить, что тот умер, и это обстоятельство подсказало ему трагический конец Най-Турса, который, кстати, носит то же звание, что имел Николай Всеволодович в свою бытность на Северном Кавказе.

Описывая поиски трупа Най-Турса Николкой Турбиным в городском морге, Булгаков опирался как на собственный опыт (в бытность студентом-медиком ему неоднократно приходилось посещать анатомический театр), так и на статью известного русского генеалога полковника Николая Дмитриевича Плешко «Из прошлого провинциального интеллигента», опубликованную в 9-м томе берлинского «Архива русской революции» в

1923 году. Там, со ссылкой на свидетельство медсестры Марии Нестерович, утверждалось: «Много было убито офицеров, находившихся на излечении в госпиталях, свалочные места были буквально забиты офицерскими трупами… На второй же день после вторжения Петлюры мне сообщили, что анатомический театр на Фундуклеевской улице завален трупами, что ночью привезли туда 163 офицера. Господи, что я увидела! На столах в пяти залах были сложены трупы жестоко, зверски, злодейски, изуверски замученных! Ни одного расстрелянного или просто убитого, все – со следами чудовищных пыток. На полу были лужи крови, пройти нельзя, и почти у всех головы отрублены, у многих оставалась только шея с частью подбородка, у некоторых распороты животы. Всю ночь возили эти трупы. Такого ужаса я не видела даже у большевиков. Видела больше, много больше трупов, но таких умученных не было!.. Некоторые были еще живы, – докладывал сторож, – еще корчились тут… Окна наши выходили на улицу. Я постоянно видела, как ведут арестованных офицеров…». Фамилию мемуариста Булгаков присвоил незадачливому командиру гетманского бронедивизиона, которого погубила страсть к парадам. Как мы помним, во время парада капитан Плешко был опознан как офицер и убит петлюровцами. Судьба прототипа была куда благополучнее. Н.Д. Плешко умер в 1959 году в Америке.

В романе Булгаков социологически точно показывает массовые движения эпохи. Он демонстрирует вековую ненависть крестьян к помещикам и офицерам, и только что возникшую, но не менее глубокую ненависть к немцам-оккупантам. Все это и питало восстание, поднятое против немецкого ставленника гетмана П.П. Скоропадского лидером украинского национального движения СВ. Петлюрой. Для Булгакова Петлюра – «просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного восемнадцатого года», а стояла за этим мифом «лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, и спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии.

«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».

Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город.

И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь

ненависти при слове «офицерня»… Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять…

– А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!»

В финале романа «только труп и свидетельствовал, что Петурра не миф, что он действительно был…» Труп замученного петлюровцами еврея у Цепного моста, трупы сотен, тысяч других жертв – это действительность гражданской войны. А на вопрос «Заплатит ли кто-нибудь за кровь?» Булгаков дает уверенный ответ: «Нет. Никто». В тексте заключительной части романа, который Булгаков отдал в журнал «Россия» и который так и не был опубликован при жизни автора, слов о цене крови еще не было. Но позднее, в связи с работой над пьесой «Бег» и зарождением замысла романа «Мастер и Маргарита» вопрос о цене крови стал одним из основных, и соответствующие слова появились во втором томе парижского издания романа.

В булгаковском романе всячески подчеркивается мощь немцев, которая обрушивается в одночасье после военного разгрома и революции. Германия несколько иронически названа в романе «великой страной честных тевтонов». Но в романе описание мощи немцев неизменно сопровождается иронией: «С немцами шутки шутить нельзя, пока что… Что бы там ни было, а немцы – штука серьезная. Похожи на навозных жуков». Еще Алексей говорит, что «немцы – мерзавцы», поскольку бросают гетмана и население Города на произвол судьбы. При этом немцы кажутся героям непобедимыми, и само их поражение во Франции рассматривается как чудо: «Гальские петухи в красных штанах, на далеком европейском Западе, заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище: петухи во фригийских колпаках, с картавым клекотом налетали на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали, – и немцы! немцы! попросили пощады.

Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него, как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах – он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в Городе: видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах,

в течение часов, в течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета».

Немецкая армия рассматривается героями булгаковского романа как совершенная машина, которая, казалось, никогда не сломается. И вдруг эта машина ломается окончательно и бесповоротно.

Преувеличенные надежды на немцев, которые питают Турбины, их друзья и все киевское общество, – это следствие немцебоязни, которую испытывали русская армия и общество, начиная с разгрома армии генерала А.В. Самсонова в Восточной Пруссии в августе 1914 года. За весь период Первой мировой войны русской армии ни в одном сражении не удалось одержать победы над германской армией. Все сражения заканчивались либо победой немцев, либо, в лучшем случае, вничью. Соотношение потерь при этом было просто катастрофическим для российской стороны. Как сообщил в 2006 году российский историк С.Г. Нелипович в своей книге «Брусиловский прорыв», впервые подсчитавший потери российской армии непосредственно по донесениям полкового уровня, во второй половине 1916 года соотношение потерь как убитыми, так и пропавшими без вести на Северном и Западном фронтах, где русским войскам противостояли почти исключительно немецкие войска, было 7:1 не в нашу пользу, т. е. на одного убитого немца приходилось семь убитых русских солдат. А в некоторых других сражениях, в частности во время Горлицкого прорыва в мае 1915 года, соотношение потерь достигало 15:1.

Для Булгакова внезапное, непредсказуемое поражение Германии стало доказательством непредсказуемости течения всей человеческой истории. Эта идея получила дальнейшее развитие в романе «Мастер и Маргарита», где Воланд наглядно демонстрирует председателю МАССОЛИТа Берлиозу непредсказуемость даже самого ближайшего будущего.

Киевлянин Николай Полетика, выпускник все той же Первой Александровской гимназии, в мемуарах, опубликованных уже после Второй мировой войны, в общем рисует ту же атмосферу в Киеве летом и осенью 1918 года, что и Булгаков в «Белой гвардии», иногда в скрытой форме цитируя булгаковский роман:

«Гетманский режим был жестокой аграрной реакцией. Помещики и кулаки при помощи австро-германских войск мстили крестьянам за крестьянские выступления 1917–1918 гг. Враждебность крестьянских масс гетманскому режиму создавала ощущение его временности и непрочности. К восстановлению «царских порядков» присоединилась хорошо замаскированная пропаганда «единой и неделимой» России (Русский союз

с центром в Киеве) и скрытая поддержка русских офицерских организаций.

Поэтому надежды киевлян на мир и покой оказались недолговечными.

«Однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в Бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра – и не пушка и не гром, но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему Городу, скатился волнами в Город нижний – Подол и через голубой красивый Днепр ушел в московские дали… Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой Горе произошел взрыв».

Лысая Гора – это традиционное место шабаша ведьм. Разумеется, взрывы оружейных складов в Киеве не были следствием действий инфернальных сил, а явились результатом либо диверсии, либо халатности. Погибли 200 человек и около 10 000 остались без крова.

Кто был виновником взрыва – французские ли «шпионы», как намекала украинская печать, или «агенты большевиков», как утверждала киевская молва, – не удалось выяснить. Немцы произвели расследование, но результаты его сохранили в тайне.

Взрыв был такой силы, что тяжелые снаряды, поднятые им в воздух, полетели через весь Киев. Они засыпали Печерск, Подол, Соломенку. Огромное зарево пожара, багровые языки пламени, густые клубы дыма над городом напоминали картину Брюллова «Гибель Помпеи». Перепуганные киевляне бегали по улицам в поисках безопасных мест. Слухи о взрыве отравляющих газов, хранившихся в баллонах на Лысой Горе, еще более усилили панику. Но этого взрыва, к счастью, не произошло, однако пять дней Киев жил в ужасе, ожидая потока ядовитых газов с Лысой Горы. Но постепенно взрывы и пожары в городе прекратились, окровавленные фигуры исчезли, и Киев приобрел обычный будничный вид.

Киев сравнительно мало пострадал от взрывов: лишь на Печерске рухнуло несколько домов. Но город вторично остался без стекол, выбитых силой взрыва.

Однако ощущения спокойствия и безопасности, возникшего у киевлян после избрания гетмана, не стало.

Что делалось в отдаленных от Киева районах, в деревнях в 50

километрах от столицы, в городе не знали. До обывателя доходили лишь слухи, что немцы грабят мужиков и безжалостно порют их шомполами, расстреливают их из пулеметов и обстреливают деревни шрапнельным огнем. Вся украинская деревня пылала неутолимой злобой против гетмана, вернувшего землю помещикам. Поэтому мужицкая масса пошла к Петлюре. Да и за кем другим она могла бы пойти? За гетманом? Но за гетманом – помещики, и при гетмане их земли уплывут от крестьян. Только отдельные кулаки могли поддержать гетмана. За большевиками? Но ведь это все «жиды и комиссары». А против них была вся деревня, даже крестьянская беднота, тосковавшая о «собственном» клочке земли!

Имя Петлюры стало для крестьян Украины легендой, символом, в котором сплелись в одно и неутоленная ярость, и жажда мести, и надежды «щирых» украинцев, ненавидевших «Московию», какой бы она ни была – царской ли, большевистской или эсеровской. Они хотели сами «панувать» в своем доме – в «ридной Украини».

Вскоре, 30 июля 1918 года, в Киеве был смертельно ранен главнокомандующий германскими войсками на Украине фельдмаршал Герман фон Эйхгорн. Левый эсер Борис Михайлович Донской бросил бомбу в него и в его адъютанта. На допросе он заявил, что ЦК Партии левых социалистов-революционеров вынес «смертный приговор Эйхгорну за то, что он, являясь начальником германских военных сил, задушил революцию на Украине, изменил политический строй, произвел, как сторонник буржуазии, переворот, способствуя избранию гетмана, и отобрал у крестьян землю».

Донского публично повесили 10 августа. Булгаков запечатлел это событие в «Белой гвардии»: «Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине, фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий (в действительности – балтийский матрос. – ***Б.С.)*** и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца (на самом деле – через 11 дней. – ***Б.С.)*** не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия (на самом деле извозчик Ефрем Бычок, на котором Донской пытался скрыться с места покушения, твердил, что к покушению непричастен, и сам повесился в камере во время следствия. – ***Б.С.)***. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала…»

Киев был в панике. Шли массовые аресты. Обыватель встретил

убийство Эйхгорна со смешанными чувствами: хотя немцы выступали спасителями от большевиков, их надменность, чванство, жестокость, презрение к «русской (или украинской) свинье» возмущали обывателя. Поэтому многие злорадствовали.

«Таки убили! – говорили вслух на улицах. – Теперь очередь за Скоропадским!»

К этим противоречивым чувствам примешивался страх перед возможными репрессиями. По Киеву ходил слух о подготовке карательного обстрела Киева германской артиллерией. В городе, на базарах и в окрестных деревнях откровенно ликовали. Но до артиллерийского обстрела Киева дело не дошло.

Похороны Эйхгорна состоялись 1 августа. Гроб с его телом и гроб с телом адъютанта в торжественной траурной процессии пехоты, артиллерии и кавалерии были вынесены из Лютеранской церкви, где состоялось отпевание, поздно вечером при свете факелов доставлены на вокзал. Отсюда останки убитых отправили в Германию.

Боевая группа эсеров готовила покушение на Скоропадского, намеченное на тот момент, когда гетман после отпевания Эйхгорна должен был выйти из Лютеранской церкви. Но группа не успела изготовить снаряд. 2 августа все члены боевой группы были арестованы.

Бориса Донского в Лукьяновской тюрьме подвергли жестоким пыткам, требуя выдать сообщников. Его мучили три дня: жгли огнем, кололи, резали, загоняли под ногти булавки и гвозди, выдернули все ногти на ногах… Донской не выдал никого. 10 августа его судили в тюремной конторе военно-полевым судом и в тот же день в 4 часа дня при большом стечении народа повесили у арестантского дома на Лукьяновской площади. Его тело висело два часа на телеграфном столбе с надписью «Убийца фельдмаршала Эйхгорна». 11 августа Донского похоронили на Лукьяновском кладбище…

Любопытно, что гетман Скоропадский, сам едва не ставший жертвой покушения вслед за Эйхгорном, в своих мемуарах сказал о фельдмаршале несколько теплых слов:

«Эйхгорн был уважаемый дед в полном понимании этого слова, умный, очень образованный, с широким кругозором, доброжелательный, недаром же он внук философа Шеллинга. Ему не были присущи спесивость и заносчивость, которые иногда встречались среди немецкого офицерства».

Вполне возможно, что лично Эйхгорн действительно не был заносчивым человеком и не питал никакой ненависти к украинскому

народу. Но он стал символом ненавистной крестьянству германо-австрийской оккупации (у Скоропадского реальной власти не было, так как не было ни боеспособной армии, ни налаженного аппарата управления, ни сколько-нибудь популярной политической программы) и потому был убит.

Кстати, по словам Н. Полетики, «пан-гетман», как утверждали злые языки в Киеве, ни слова не понимает по-украински. Конечно, речи его переводились на украинский язык, но когда ему приходилось читать их «по бумажке», «щирых украинцев» так коробило его «украинское» произношение, что они тряслись от негодования, как трясется черт перед крестом. «Як нагаем бье» («точно нагайкой бьет»), – негодуя говорил известный украинский поэт Мыкола Вороний, который перевел в 1919 году «Интернационал» на украинский язык» (Поэт Мыкола Вороний был расстрелян одесскими чекистами в 1938 году).

Так что Булгаков совершенно справедливо поиздевался в «Днях Турбиных» над украинским языком гетмана и его адъютанта Шервинского. А в романе Алексей Турбин уличает Скоропадского в том, что он «не говорит на этом проклятом языке».

Известный историк философии Василий Васильевич Зеньковский, бывший в правительстве гетмана министром по делам вероисповеданий, в мемуарах утверждал: «Появление в Киеве немцев в первых числах марта возвращало к нормальной психологии – и это возвращение к былым формам жизни не просто отодвигало кошмар большевистского режима, но открывало простор для протеста и борьбы, для активного сопротивления ему. Пока держалось «социалистическое» правительство Голубовича, еще не могло быть полного расцвета всей этой психологии, но гетманщина, утверждавшая открыто и смело возврат к «буржуазному» порядку, сама была свидетельством и проявлением того, что жизнь возвращается к старым берегам…

Но, кроме психологического перелома, было и объективное содержание в социально-политической реставрации. Восстанавливался нормальный гражданский порядок, нормальные экономические отношения, стала воскресать промышленность, пошли в ход сахарные заводы (чему всячески содействовали, между прочим, немцы), появилась иностранная (конечно, лишь немецкая) валюта. Школы стали работать нормально, а с ними стала воскресать и вся культурная жизнь, художественная, идейная. Была уже достаточная атмосфера свободы, не стеснявшей даже оппозицию режиму. Стали появляться иностранные газеты, книги, стали возможны поездки в Австрию и Германию…»

Булгаков как раз и показывает это возвращение к норме на примере

быта семьи Турбиных, но тут же демонстрирует обманчивость этой нормы, предупреждая, что героям романа предстоит мучиться, проливать кровь и умирать. Гетман является в их глазах главным виновником того, что нарушенную революцией норму не удается сохранить. Скоропадский вел совершенно безумную политику. Рабочих он лишил 8-часового рабочего дня, вернув 12-часовой, лишил права на забастовки и профсоюзные объединения. У крестьян он не только отобрал захваченные ими помещичьи земли, но и заставил работать на помещиков и выполнять все требования немцев и австрийцев насчет реквизиции продовольствия. Последние были заинтересованы в сохранении помещичьих хозяйств, так как только в этих хозяйствах можно было быстро взять много хлеба. В результате Украина была охвачена крестьянскими восстаниями, и режим гетмана мог держаться, только опираясь на германские и австрийские штыки. При этом Павел Петрович с самого начала понимал, что войны Германии не выиграть, а значит, довольно скоро немецкие и австрийские войска покинут Украину. Но гетман надеялся, что на смену немецким придут войска Антанты. Однако этого не случилось. Правда, французские и союзные с ними войска, общей численностью до 60 тыс. человек, высадились в Одессе. Надеждой на приход французских сенегальских полков живут Турбины и их товарищи, надеющиеся отстоять город от Петлюры. Однако эти надежды тают с каждым днем. Поэтому на изразцах турбинской печи Николка пишет: «Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, – не верь. Союзники – сволочи». И безнадежностью веет от веселых куплетов на турбинской вечеринке накануне падения гетмана:

Игривы Брейтмана остроты,
И где же сенегальцев роты?

Г.Н. Брейтман был владельцем газеты «Последние новости» и по совместительству – антрепренером труппы киевской оперетты, так что остроты могли относиться как к публикациям газеты, так и к опереттам.

На самом деле французские войска так и не двинулись на Украину из Одессы и Крыма потому, что солдаты Антанты, только что с огромными жертвами победившие Германию, абсолютно не горели желанием воевать ни с петлюровцами, ни с большевиками. Предложить им какие-либо внятные цели войны на Украине французское правительство так и не смогло. А с ненадежными войсками опасно было отдаляться от портов высадки. К тому же руководители Антанты не видели каких-либо сил на

Украине, которым можно было бы оказать действенную помощь. Гетману не верили из-за его прогерманской позиции в недавнем прошлом, а также из-за отсутствия у него народной поддержки. Украинскую Народную Республику боялись поддерживать как из-за явной склонности поддерживающих ее масс к анархии, так и потому, что руководителей УНР подозревали в сепаратизме. А союзники в тот момент делали главную ставку на Колчака и Деникина, выступающих под лозунгами «единой и неделимой России».

В итоге Скоропадскому пришлось бежать в Германию, бросив на произвол судьбы защищавших его офицеров и добровольцев.

В романе Булгаков использует мотив «оборачиваемости» большевиков и петлюровцев. Отметим, что в действительности многие деятели украинского национального движения и части петлюровской армии нередко в ходе Гражданской войны или уже после ее окончания переходили на сторону большевиков либо, по крайней мере, признавали советскую власть. Так, один из руководителей Центральной рады и Директории известный писатель Владимир Кириллович Винниченко в 1920 году короткое время входил в состав Компартии Украины и украинского Совнаркома. Правда, продержался он в их составе недолго и предпочел эмигрировать, чем, несомненно, спас собственную жизнь: террора 1937–1938 годов он бы точно не пережил. Уже после окончания гражданской войны вернулся в СССР бывший председатель Центральной рады известный историк Михаил Сергеевич Грушевский. Умер он в ноябре 1934 года в Кисловодске от заражения крови, и есть серьезные основания полагать, что его смерть была организована чекистами. Тем более, что в конце 30-х годов все его труды были запрещены, а почти все родственники репрессированы.

Перешел к большевикам и один из ближайших соратников Петлюры Юрий Тютюнник, выпустивший в 1924 году в Харькове на украинском языке мемуары «С поляками против Украины», а позднее работавший в украинской кинематографии, написавший сценарий для знаменитого фильма Александра Довженко «Звенигора» и благополучно расстрелянный 20 октября 1930 года на Лубянке. Кстати сказать, в период действия романа «Белая гвардия» Тютюнник был начальником пробольшевистского Революционного штаба города Киева. 18 ноября его арестовали. Но в ночь с 13 на 14 декабря, перед самым вступлением армии Петлюры в город, Тютюнник вместе с остальными заключенными Киевской крепости обезоружил офицерский караул и занял почти весь Печерск.

Прототип одного из персонажей «Белой гвардии», ворвавшегося в

город петлюровского полковника Болботуна, полковник Петр Федорович Болбочан, бывший капитан царской армии, ранее командовавший 1-й Запорожской дивизией в армии Скоропадского, действительно в ноябре 1918 года встал на сторону Директории. Но уже в январе 1919 года Болбочан, который командовал Запорожским корпусом на Левобережной Украине, был арестован и обвинен в сдаче большевикам без сопротивления Полтавы и Харькова, репрессиях против рабочих и крестьян и намерении присоединиться к Добровольческой армии Деникина. Репрессии действительно имели место. Что же касается Полтавы и Харькова, то Болбочан вынужден был оставить их без боя, выполняя ультиматум командования дислоцированных в этом районе немецких войск. Немцы мечтали побыстрее выбраться с Украины, и им совсем не улыбалось оказаться втянутыми в бои между петлюровцами и большевиками. Впоследствии Болбочан был освобожден из-под ареста, но в начале июня был вновь арестован и 28 июня 1919 года был расстрелян по приговору военно-полевого суда. Его с полным на то основанием обвинили в попытке самовольно возглавить Запорожский корпус и свергнуть Директорию. Болбочан, родившийся 5 октября 1883 года в селе Геджев, в Бессарабии, в семье православного священника, был кадровым офицером царской армии, еще до Первой мировой войны служивший в 38-м Тобольском пехотном полку. Заметим также, что дивизия Болбочана 14 декабря 1918 года Киев не брала. В этот день ее части вступили в Полтаву и Харьков. Печерск на самом деле заняли не части полковника Болботуна (Болбочана), как в булгаковском романе, а отряд Юрия Тютюнника. Не исключено, что киевляне по незнанию приняли тютюнниковцев за болбочановцев.

Судя по сохранившимся фотографиям, полковник Болбочан был человеком среднего телосложения, с вытянутым худощавым лицом, с бородкой и усами, закрученными на вильгельмовский манер. Настоящего Болбочана Булгаков наверняка никогда не видел и поэтому изобразил полковника Болботуна, ориентируясь на придуманную фамилию, которая ассоциируется с чем-то круглым: «Толстый, веселый, как шар, Болботун катил впереди куреня, подставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя мундштук, роняя пену, поднималась на дыбы, то и дело встряхивая шестипудового Болботуна, и гремела, хлопая ножнами, кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник крутые нервные бока».

Упоминаемый в романе полковник Козырь-Лешко – это знаменитый полковник Алексей Козырь-Зирка. Он происходил из богатой казацкой семьи на Екатеринославщине и сельским учителем, в отличие от

булгаковского Козыря, никогда не был. Это утверждает украинский историк Ярослав Тинченко. Есть и другая версия биографии Козыря-Зирки. Ее привел в своей трилогии «Старая крепость» советский писатель Владимир Беляев. Он утверждал, что знаменитый атаман родился в Ровно в семье священника. В 1914 году его призвали в царскую армию. Козырь-Зирка был унтер-офицером в драгунском полку, в 1916 году очутился в Туземной дивизии. В 1917 году при Керенском его произвели в прапорщики. Осенью 1917 года он перевелся в украинизированную 3-ю кавалерийскую дивизию. Благодаря хорошим ораторским способностям он вскоре стал командиром украинского конного полка. Но в конце 1917 года его полк был разбит красными на родной Екатеринославщине. С остатками полка Козырь-Зирка прибыл в Киев, где принял участие в боях за город в январе 18-го. Затем он вступил в конный полк имени Кости Гордиенко, в котором в марте 1918 года вернулся на Украину и действовал на Полтавщине, Причерноморье и Крыму. После свержения Центральной рады Козырь-Зирка выступил против гетмана, после разгрома Таращанского восстания скрывался, затем примкнул к Коновальцу и по его поручению сформировал конный полк сичевой дивизии. С этим полком Козырь во время осады Киева неоднократно, в нарушение заключенного Петлюрой перемирия с немцами, совершал набеги на киевские предместья. После взятия Киева петлюровцами полк Козыря был отправлен в район Овруча и Коростеня, где прославился жуткими еврейскими погромами. Петлюра приказал полк расформировать, а атамана отдать под суд. После этого летом 1919 года Козырь-Зирка бежал к красным, где, по слухам, даже служил в ЧК. Это – по версии Тинченко. Владимир Беляев, вообще не упоминающий о службе Козыря-Зирки у красных, утверждает, что он до конца оставался в составе петлюровской армии и вместе с ней отступил в конце 1920 года в Польшу. Однако эта версия крайне сомнительна, поскольку Петлюра отдал приказ об аресте Козыря, который еврейскими погромами сильно компрометировал украинское национальное дело, и вряд ли бы снова принял его в ряды своей армии.

Вообще слухи о Козыре ходили самые разнообразные. Утверждали, будто он – то ли беглый галицкий каторжник, то ли граф из Белой Церкви. В романе Булгакова подобные слухи распространяются о Болботуне:

«– Болботун – великий князь Михаил Александрович.

– Наоборот: Болботун – великий князь Николай Николаевич.

– Болботун – просто Болботун.

– Будет еврейский погром.

– Наоборот: они с красными бантами.

– Бегите-ка лучше домой.

– Болботун против Петлюры.

– Наоборот: он за большевиков.

– Совсем наоборот: он за царя, только без офицеров.

– Гетман бежал?»

Заметим, что отряды Болбочана на самом деле погромов не творили, зато ими славился полк Козыря-Зирки. Булгаков, вполне возможно, был знаком с книгой Сергея Гусева-Оренбургского «Багровая книга. Погромы 1919–1920 гг. на Украине», впервые изданной в Харбине в 1922 году, т. е. как раз тогда, когда началась работа над «Белой гвардией». Гусев-Оренбургский посветил Козырю-Зирке немало строк. Он, в частности, отмечал: «Первые погромные действия начались как раз накануне нового 1919 года. Ареной их был город Овруч, Волынской губернии, и окрестные села. Больше двух недель беззащитное еврейское население находилось во власти петлюровского атамана Козырь-Зирки. Беспрерывные убийства, вымогательства, грабежи, продолжались до 16 января и закончились расстрелом у вокзала 32 человек». Гусев-Оренбургский также утверждал: «Исходил ли погром от командиров регулярных петлюровских войск, – Козырь-Зирка в Овруче, Семесенко в Проскурове, – атаманов различных банд, главарей повстанческих отрядов или деморализованных советских полков, – все они являлись полновластными владыками данного города или местечка и перед ними еврейское население стояло в течение дней или даже месяцев без просвета надежды на какое бы то ни было вмешательство или чью бы то ни было защиту. К этому надо прибавить то презрение к человеческой жизни и к чужому достоянию, которое привилось массам в течение многих лет внешней, а затем Гражданской войны, с ее красным и белым террором, контрибуциями, реквизициями, обысками, облавами, заложничеством…» Вероятно, Булгаков разделил мнение Гусева-Оренбургского о причинах погромов на Украине в годы Гражданской войны.

В «Багровой книге» Козырю-Зирке посвящена целая глава «Сатрапия атамана Козырь-Зирки. История Овручского погрома». Там, в частности, дан портрет Козыря, и это место явно было знакомо Булгакову: «О личности Козырь-Зирки в Овруче создались легенды.

Некоторые утверждают, что это некой граф из Белой Церкви и что Козырь-Зирка не его настоящее имя, а лишь псевдоним. Другие уверяют, что это беглый галицийский каторжник, в подтверждение чего ссылаются, между прочим, на татуировку, испещрявшую его руки.

Это молодой красавец.

Жгучий брюнет цыганского пошиба, с хорошими манерами, замечательный оратор, говоривший исключительно на галицийско-украинском наречии, хотя отлично понимал и русский язык.

Козырь-Зирка стал ориентироваться.

Первым делом счел он нужным познакомиться с настроением различных общественных групп. Для этого пригласил к себе городского голову, поляка Мошинского, и представителей разных общественных организаций, – преимущественно поляков и бывших царских чиновников.

О чем они говорили между собой?

Неизвестно.

Только об этом не трудно догадаться.

Затем, он решил познакомиться с представителем еврейского общества. Для этого он приказал арестовать и привести к нему еврейского духовного раввина. Раввин был арестован около двух часов дня и приведен в комендатуру.

Там его продержали до десяти вечера, и он все время подвергался издевательствам со стороны казаков.

В 10 вечера он предстал перед очи атамана.

Тот принял его крайне грубо.

После пристрастного допроса объявил ему:

– Я знаю, что ты большевик, что все твои родные большевики, что все жиды большевики. Знай же: я всех жидов в городе истреблю. Собери их по синагогам и объяви об этом.

Поздно ночью он отпустил раввина».

В следующей главе, названной «Слово и дело Козыря-Зирки», Гусев-Оренбургский пишет: «В ту же ночь казаки окружили крестьянскую подводу, на которой ехали евреи – гимназист и гимназистка из Мозыря. Казаки потребовали:

– Отдайте нам жиденят. Но крестьяне их отстояли.

За то проезжавшего через Овруч молодого еврея из Калинковичей они арестовали и привели к атаману.

– Ты из Калинковичей?

– Да.

И Козырь-Зирка на том основании, что он из Калинковичей, которые были в руках большевиков, объявил его большевиком.

Расстрелял.

Были также захвачены проезжавшие из местечка Нарочи два еврея, мелкие торговцы махоркой и спичками.

– Спекулянты! Привели к атаману. Раздели донага. Избивали

нагайками. Заставили плясать.

При этом одному всунули в рот пачку махорки, другому – коробку спичек. Сам Козырь-Зирка стоял с поднятым револьвером и грозил расстрелом, если они перестанут плясать…

Затем их заставили друг друга сечь,

И целовать сеченые места друг у друга.

…Заставили креститься…

Вдоволь натешившись, выгнали на улицу…

…голыми…

Следом выбросили платье.

В городе уже начались грабежи».

Гусев-Оренбургский описывает также погромы, устроенные казаками Козыря в близлежащих селах:

«В Потаповичах было четыре еврейских семейства.

Казаки вошли к ним и начали их грабить, убивать и насиловать женщин. В одном доме, где хозяин отсутствовал, осталось три его дочери и зять. У одной из дочерей были запрятаны на теле несколько сот рублей. Казаки забрали эти и другие деньги, а также и все ценное имущество.

Женщин они изнасиловали.

А так как девушки сопротивлялись, то их избили до того, что лица их превратились в сплошной кровоподтек.

Зятя, только что вернувшегося из плена, вывели во двор, где уже находился другой еврей.

Их подстрелили.

Зять был убит наповал, а другой еврей только ранен, но он притворился мертвым и тем спасся…

Затем отправились в село Гешово.

Там проживало несколько евреев, но все они успели разбежаться. Остался лишь глухой старик-меламед. Его казаки захватили с собой и повезли по направлению к Овручу. По дороге они встретили возвращавшегося в свое местечко старика шохета. Они его также захватили. И тут же обоих стариков…

…повесили на высоком дереве…

Одного при помощи телеграфной проволоки, другого – на ремешке. Этот последний, по рассказам крестьян, несколько раз срывался, но его каждый раз вновь подвешивали. Затем они их тут же сняли с высокого дерева и повесили на низком деревце, к которому прибили записку:

«Тому, кто их снимет, жить не более двух минут».

И потому крестьяне не давали их снимать.

Лишь когда трупы стали разлагаться, евреям удалось снять их и похоронить».

Пика резня достигла тогда, когда казаки Козыря 31 декабря 1918 года вновь взяли Овруч, занятый было пробольшевистскими повстанцами:

«Казаки рассыпались по городу.

Входили в дома, грабили деньги и имущество.

Избивали стариков.

Насиловали женщин.

Убивали молодых евреев.

Многие из приготовленных к расстрелу откупались деньгами, причем сумма выкупа бывала очень значительна. Так, в дом Розенмана поздно вечером явилось несколько казаков. В доме, кроме старухи-матери и двух дочерей, находились два сына, из которых один уже в продолжение нескольких недель лежал больной в кровати. Здоровому сыну они, приняв его за русского, велели уходить, но узнав от него, что он хозяйский сын, задержали. Потребовали, чтобы и больной сын оделся и пошел с ними. Но убедившись, что он действительно серьезно болен, и встать не может, оставили возле его кровати одного казака, а здорового вывели во двор.

Там они поставили его у стены.

Один медленно заряжал ружье.

Молодой человек стал их умолять не убивать его, обещая за себя большой выкуп.

– Дашь двенадцать тысяч? – спросил один. Молодой человек стал их уверять:

– Родные внесут эту сумму.

Тогда казаки ввели его обратно в дом, где мать и сестры лежали в глубоком обмороке. Женщин привели в чувство, и те начали искать в доме деньги.

Нашлось только две тысячи.

Казаки согласились принять эти деньги при условии, что остальные десять тысяч рублей им будут уплачены на следующий день к десяти часам утра. Действительно на следующий день в указанный час явились два казака и, получив условленные десять тысяч рублей, объявили, что Розенман отныне может жить спокойно.

– Имя ваше будет записано в штабе и больше никто вас беспокоить не будет.

Казаки сдержали слово.

Розенманов больше не беспокоили, между тем как к другим евреям на смену одним казакам приходили другие, причем последующие забирали

все, что не успевали захватить их предшественники.

Казаки ничем не брезговали.

Они снимали с евреев платье, сапоги, белье…

Любил Козырь-Зирка и повеселиться.

Он реквизировал еврейский оркестр, на обязанности которого было играть на всех казацких вечеринках. Под звуки музыки этого оркестра Козырь-Зирка однажды порол двух крестьян-большевиков.

Им было дано несчетное число ударов.

А затем их расстреляли.

Любил Козырь-Зирка и более «утонченные» развлечения.

Однажды вечером привели к нему 9 евреев, сравнительно молодых, и одного пожилого, тучного. Их казаки по улице гнали карьером. Когда евреи, запыхавшись, наконец, вошли в квартиру атамана, то сам он лежал раздетый на кровати, а на другой кровати лежал тоже раздетый сослуживец. Вошедшим евреям приказали:

– Пляшите.

Стали их поощрять нагайками, особенно тучного. Они крутились и кружились по комнате на забаву атамана.

– Пойте… еврейские песни!..

Оказалось, что никто из них не знает этих песен наизусть. Тогда сослуживец атамана стал на жаргоне подсказывать им слова песен.

Евреи повторяли их нараспев. Долго они пели и плясали, а Козырь-Зирка и его приятели весело смеялись.

После этого евреев вывели в другую комнату и на них надели шутовские головные уборы. Их привели обратно к атаману и каждому дали в руку свечку. Рассадили по стульям.

– Пойте!

Они пели.

Козырь-Зирка и его приятель так покатывались со смеху, что под последним даже провалилась кровать. Евреев заставили поднять кровать и привести ее в порядок, причем лежавший на ней офицер оставался в своем лежачем положении.

Один из евреев не вынес издевательств.

Заплакал.

Козырь-Зирка ему заметил:

– За слезы полагается 120 розог.

Еврей сказал:

– Я лучше буду петь.

– Ну, пой, – был ответ.

Еврей опять запел.

Делали антракт для отдыха артистов.

Во время одного антракта приятель атамана сказал:

– Пора им уже спустить штаны.

Но Козырь-Зирка в данном случае на это не соизволил согласиться. Натешившись вдоволь, он отпустил евреев и дал шофера в провожатые, дабы их не расстреляли караулы».

Казаки Козыря оставались в Овруче до 16 января 1919 года. За это время было убито до 80 евреев и ограблено 1200 еврейских домов.

В «Багровой книге» содержится определенный намек на гомосексуальность Козыря-Зирки. Интересно отметить, что друг Булгакова писатель Юрий Слезкин в повести «Шахматный ход» (1923) вывел перешедшего к красным петлюровского атамана батьку Выкруту, явно списанного с Козыря-Зирки. Он служит у красных, но собирается присоединиться к батьке Махно. Отметим, что летом 1923 года Булгаков присутствовал на чтении Слезкиным повести «Шахматный ход» у общих знакомых Коморских.

Слезкин ясно обозначил гомосексуальность героя: «Батько Выкрута был мужчиною с весом, имел глаза с хитринкой, прищуренный, густую, щетинистую бровь, долгие гайдамацкие усы и отменное брюхо. Дело свое знал крепко, но любил всего больше – жрать. Жрал он с таким смаком, что, глядя на него, никто не утерплевал – забирало за живое – слюнки текли. Борщ с помидорами, да с салом, да с грудинкою, да со сметаной, каша гречневая со шкварками и прожаренным луком, пампушки с медом, вареники с творогом и маслом, курник с пшенной кашей, варенец с солью и хлебом, пироги мясные, рыбные, капустные, колбасы копченые, колбасы жареные, колбасы кровяные – ничем не брезговал батько Выкрута все уминал плотно, заливая самогонкой.

Так и знали по деревням: пришел батько – подавай на стол.

Ну и волокли почем зря. Потому сытый человек – добер. Раздавал Выкрута мужикам порох, галантерею, скобяной товар, дозволял себе – сытый – ручку целовать, а баб не трогал. К бабам имел отвращение.

– Черт их знает – сыростью от них пахнет, – говорил он.

И очень за то его мужики любили.

– А тож нам такого и треба.

Может, потому и атаманом Выкрута заделался, что в городе пошел голод, а любил он хлеб легкий. Были такие, что признавали в нем станового пристава из Березнянской области Кроолевецкого уезда Черниговской губернии, того самого, который в пятнадцатом году Хведора Апанасенко –

молодого парня – от набора освободил, а после, когда Апанасенко женился, – завлек в лес и топором тяпнул: того самого пристава, который в осьмнадцатом году служил у немцев, а потом, говорят, помер. Только знали об этом такие люди, что лучше было бы им молчать пока что. Своя рубашка ближе к телу».

У Булгакова о гомосексуализме Козыря не говорится прямо, но передано его равнодушие к женскому полу, хотя и объясняется это вроде бы тем, что увлекает его лишь одно дело в жизни – война: «Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и забренчал сложной сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась с кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята. И один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к Козыреву маузеру. И не добрался, потому что Козырь маузер пристроил на себя». И, в отличие от героя Слезкина, он на первое место ставит не еду, а водку. Антисемитизм его отряду также не чужд, поскольку на всех заборах его гайдамаки пишут лозунги: «Бей жидив – звильняй Украину».

Козырь-Зирка, как свидетельствует «Багровая книга», строил евреев и заставлял их кричать «Слава Украине»:

«Вскоре подъехал на автомобиле атаман.

Евреи прокричали:

– Слава атаману… слава Украине! Он вышел из автомобиля.

Обратился к ним с речью, в которой стал перечислять все их «большевистские преступления». Речь он говорил на красивом галицийско-украинском наречии. Он высказал, что имеет право истребить всех евреев и сделает это, если пострадает хоть один казак. В Потаповичах он это уже сделал, причем собственноручно застрелил еврея-шпиона.

– Я истреблю всех евреев Овруча, если хоть один казак пострадает.

И советовал евреям.

– Если среди вас имеется хоть один большевик, задушите его собственными руками.

Он кончил свою речь. Евреи снова прокричали:

– Слава!

Казенный раввин предложил ему привести всех евреев к присяге на верность Украине и дать из своей среды боевой отряд.

Атаман ответил:

– Ни в еврейской присяге, ни в еврейском отряде не нуждаюсь. Я предоставляю евреям дышать воздухом Украины, но требую, чтоб они

помнили мои предостережения».

А вот как в булгаковском романе петлюровцы подходят к городу:

«– Слава! – кричала проходящая пехота желто-блакитному прапору.

– Слава! – гукал Гай перелесками».

И, может быть, вспомнив жуткий еврейский парад в Овруче, Булгаков пародирует петлюровский парад в захваченном Городе:

«– Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем. Петлюра, говорят, на площади. Петлюру смотреть.

– Дура, Петлюра в соборе.

– Сама ты дура. Он на белом коне, говорят, едет.

– Слава Петлюри! Украинской Народной Республике слава!!!

– Дон… дон… дон… Дон-дон-дон… Тирли-бомбом. Дон-бом-бом, – бесились колокола».

И именно Козыревы всадники убивают евреев, когда петлюровское войско спешно покидает войско под натиском красных. В описании убийств и грабежей, совершаемых петлюровцами, Булгаков использовал как данные «Багровой книги», так и собственные впечатления. Он учел, в частности, приводимое Гусевым-Оренбургским свидетельство о том, что петлюровцы Козыря не брезговали ничем, буквально раздевая свои жертвы. Точно так же бандиты, поступившие в петлюровскую армию (или выдающие себя за петлюровцев), раздевают Василису.

Булгаков также учел сообщение Гусева-Оренбургского о том, что Козырь возглавлял курень смерти, поэтому у его казаков в романе – черные шлыки.

В отличие от реального полковника Козыря, больше прославившегося еврейскими погромами, чем какими-либо военными успехами, Булгаков делает из своего Козыря прежде всего прирожденного военачальника. И именно на его полку демонстрирует силу Белой гвардии. Полковник Наай-Турс всего со 150 юнкерами смог основательно потрепать полк Козыря и задержать его победное вступление в город: «Трепля простреленным желто-блакитным знаменем, гремя гармоникой, прокатил полк черного, остроусого, на громадной лошади, полковника Козыря-Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом и хлестал по крупу жеребца плетью. Было от чего сердиться полковнику – побили Най-турсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие Козырины взводы, и шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй».

Возможно, Булгаков лично знал кое-кого из петлюровских полковников. Так, в Каменец-Подольском госпитале Булгаков, вполне возможно, был знаком с бывшим унтер-офицером австро-венгерской армии

Романом Ивановичем Самокишиным, перешедшим на сторону российской армии и работавшим в упомянутом госпитале санитаром. С началом антигетманского восстания он превратился в «батьку Самокиша» – одного из организаторов «вольного казачества» на Херсонщине и Екатеринославщине. В советской литературе он запечатлен в романе «Восемнадцатый год», где описывается, как его полк в новогоднюю ночь 1919 года выбил из Екатеринослава отряды Махно и большевиков.

Кстати, Самокишин прожил долгую жизнь и умер в 1971 году в возрасте 86 лет. В отличие от других петлюровских полковников он репрессирован не был. Когда Советы в 1939 году пришли в Западную Украину, он сменил местожительство и кочевал по домам своих шестерых детей, счастливо избегнув лап НКВД и МГБ.

Прототипом еще одного петлюровского военачальника, командира корпуса облаги полковника Торопца, послужил один из вождей украинского национального движения Евгений (Евген) Михайлович Коновалец. Он родился 14 июня 1892 года (н. ст.) в селе Жашков Львского уезда Восточно-Галицкой провинции Австро-Венгрии в семье учителя. Учился на юридическом факультете Львовского университета, стал одним из руководителей Украинского студенческого союза и организации «Просвита», членом молодежной фракции Украинской национально-демократической партии. В 1914 году он пошел добровольцем в легион Украинских сечевых стрельцов, в июне 1915 года, будучи прапорщиком австро-венгерской армии, попал в плен к русским во время боев за гору Макивка. В сентябре 1917 года он покинул лагерь военнопленных в Поволжье и с группой украинских сечевых стрельцов прибыл в Киев, где поступил на службу в Центральную раду. Рада пожаловала ему чин полковника, который позднее признал и гетман Скоропадский. Молва утверждала, что Коновалец был полковником австрийского генерального штаба. Эти слухи отразил в своем романе и Булгаков, который сделал Торопца австрийским генштабистом. На самом деле Коновалец не был профессиональным военным, никаких военных академий не кончал (а только окончание полного курса академии давало право на причисление к генеральному штабу), да и Львовский университет не успел окончить из-за войны, а в австрийской армии был всего лишь прапорщиком. Сперва Коновалец сформировал батальон сечевых стрельцов, который был затем развернут в полк с артиллерийской батареей и конным отрядом. Сам он в основном занимался политическими и организационными вопросами, а также пропагандой. Военные операции планировали несколько кадровых австрийских и российских офицеров, имевшихся в его штабе. В январе

1918 года курень сечевых стрельцов участвовал в подавлении восстания на заводе «Арсенал» совместно со сформированным Петлюрой Гайдамацким кошем. Как отмечает украинский историк Ярослав Тинченко, «в первые дни уличных боев основные события разгорелись в двух местах: на Печерске, возле завода «Арсенал» и на Владимирской улице, в районе Педагогического музея, где размещалась Центральная рада. Сюда отряды подольских красногвардейцев добрались по Андреевскому спуску. На Андреевском спуске вскоре начались отчаянные схватки между вытесненными из центра подольскими большевиками и сечевыми стрельцами Центральной рады. У подольских красногвардейцев штаб находился в самом низу Андреевского спуска – в обувной фабрике Матиссона, служащие фабрики одновременно были и бойцами отрядов. Сам штаб возглавляли подольские большевики портные М. Кугель и Цимберг, о существовании и происхождении которых упоминает и Михаил Булгаков». И далее Тинченко цитирует запись Николки Турбина на изразцах печки: «Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского райкома. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер, 1918 года, 30-го января».

Полк Коновальца вернулся в Киев в марте 1918 года вместе с германскими войсками и был назначен охранять Центральную раду. После гетманского переворота стрельцы были разоружены и расформированы. Однако в конце августа 1918 года Скоропадский нерасчетливо разрешил Коновальцу сформировать в районе Белой Церкви отряд сечевых стрельцов численностью в 900 человек. Коновалец вскоре вошел в контакт с руководителями Украинского национального союза, готовившими антигетманское восстание. После его начала сечевые стрельцы выступили против гетмана. К ним присоединился Черноморский кош гетманской армии. В результате был сформирован корпус облаги (осадный корпус) под командованием Коновальца, которому предстояло взять Киев. Он насчитывал до 20 тыс. человек и состоял из четырех полков и артиллерийской бригады. За взятие Киева Коновалец 19 декабря 1918 года был произведен в атаманы. Он участвовал в последующих боях против советских войск и деникинцев во главе корпуса сечевых стрельцов. В связи с принятием 6 декабря 1919 года решения о расформировании регулярных частей армии УНР Коновалец отдал приказ о самороспуске частей сечевых стрельцов. После этого он был интернирован поляками в Луцке, а после освобождения весной 1920 года уехал в Чехословакию, отказавшись участвовать в совместной с полякам войне против Советской Украины и

Советской России. В августе 1920 года Коновалец создал Украинскую военную организацию, в 1929 году преобразованную в Организацию украинских националистов (ОУН). Коновалец стал первым проводником (вождем) ОУН. 23 мая 1938 года в Роттердаме Коновалец был убит взрывом бомбы, подложенной ему агентом НКВД.

Между украинскими социалистами, к которым принадлежали и Петлюра, и Винниченко, и Тютюнник, и большевиками в 20-е годы еще не было непроходимой пропасти. Булгаков же в романе старался дать понять читателям, что насилие исходило от большевиков никак не в меньшей степени, чем от их противников. Большевистский миф, по цензурным условиям, он вынужден разоблачать иносказательно, намеками на полное сходство красных с петлюровцами (последних ругать не запрещалось). Это проявилось, в частности, в следующем эпизоде: «По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола – то невозможны красные банты…» Этот эпизод был купирован в советских изданиях «Белой гвардии» 60 – 80-х годов, ибо не укладывался в пропагандистский стереотип, согласно которому красный цвет и насилие над человеком, да еще проповедующим гражданские права, несовместимы. Хотя некоторые из петлюровских частей действительно носили красные банты, у читателей в середине 20-х годов, когда впервые был опубликован булгаковский роман, красные банты стойко ассоциировались с большевиками. Для Булгакова и большевики, и петлюровцы на деле равнозначны и выполняют одну и ту же функцию, поскольку «нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.

Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся».

Возможно, он был знаком с цитатой из «Правды», приведенной в книге историка-эмигранта СП. Мельгунова «Красный террор в России» (1923):

«Чрезвычайка запирала крестьян массами в холодный амбар, раздевала догола и избивала шомполами».

Показательно, что в варианте заключительной части «Белой гвардии», так и не напечатанном в журнале «Россия», Алексей Турбин, сбежавший от

петлюровцев, ожидает прихода красных и видит сон, в котором его преследуют чекисты: «И ужаснее всего то, что среди чекистов один в сером, в папахе. И это тот самый, которого Турбин ранил в декабре на Мало-Провальной улице. Турбин в диком ужасе. Турбин ничего не понимает. Да ведь тот был петлюровец, а эти чекисты-большевики?! Ведь они же враги? Враги, черт их возьми! Неужели же теперь они соединились? О, если так, Турбин пропал!

– Берите его, товарищи! – рычит кто-то. Бросаются на Турбина.

– Хватай его! Хватай! – орет недостреленный окровавленный оборотень. – Тримай його! Тримай!

Все мешается. В кольце событий, сменяющих друг друга, одно ясно – Турбин всегда при пиковом интересе, Турбин всегда и всем враг. Турбин холодеет.

Просыпается. Пот. Нету! Какое счастье. Нет ни этого недостреленного, ни чекистов, никого нет».

Здесь, возможно, отразились, среди прочего, слухи о том, что один из петлюровских полковников, Козырь-Зирка, прославившийся мощными еврейскими погромами, впоследствии служил в ЧК. И далее следует совсем уж нецензурный для второй половины 20-х годов вывод, который Булгаков вложил в уста несимпатичного Василисы, но не рискнул повторить в парижском издании: «Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя».

В то же время сам Алексей Турбин одного петлюровца все-таки убивает. Но происходит это 14 декабря 1918 года, когда петлюровцы берут Город. И происходит это убийство во многом случайно – Алексей Васильевич просто отстреливается от преследователей, а потом уже узнает от спасшей его Юлии Рейсс, что одного из преследователей он, скорее всего, убил, или, по крайней мере, тяжело ранил.

В «Белой гвардии» выявлены причины неудачи Белого движения. Крестьянство ему враждебно, а городская «кофейная публика», заклейменная еще в фельетоне «В кафэ», защищать идеалы белых не желает. В романе Алексей Турбин возмущенно восклицает: «Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки – просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией и ни один не идет – дело швах!» Почти теми же словами, заметим, Алексей Турбин в романе характеризует мобилизацию в Городе, объявленную гетманом.

Алексей Турбин в романе – монархист, хотя монархизм его испаряется

от сознания бессилия предотвратить гибель невинных людей. Т.Н. Лаппа свидетельствовала, что эпизод исполнения братьями Турбиными и их друзьями запрещенного царского гимна – не выдумка. Булгаков с товарищами действительно пели «Боже, царя храни», только не при гетмане, а при петлюровцах. Это вызвало недовольство домовладельца, Василия Павловича Листовничего – прототипа инженера Василия Ивановича Лисовича, или Василисы. Однако в период создания романа Булгаков уже не был монархистом.

При описании похода Мышлаевского под Красный Трактир и гибели офицеров Булгаков воспользовался воспоминаниями Романа Гуля «Киевская эпопея (ноябрь – декабрь 1918 года)», опубликованными во втором томе берлинского «Архива русской революции» в 1922 году. Оттуда же образ «звенящего шпорами, картавящего гвардейца адъютанта», материализовавшийся в Шервинском, плакат «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан!», бестолковщина штабов, с которой сам Булгаков не успел столкнуться, и некоторые другие детали. Гуль вспоминал: офицеры, второй раз занимавшие Красный Трактир, рассказывают, как они захватили петлюровский обоз. Крестьяне везли петлюровцам яйца, сало, хлеб, мясо, масло, водку… «Вот смотрите, – комментирует рассказчик, – все сами везут, а тут ни до чего не докупиться: нема да нема». Вероятно, этот рассказ подсказал Булгакову диалог с крестьянином, радостно сообщающим ему, что хлопцы «уси побиглы до Петлюры». Гуль также говорит: «Наутро наш отряд уходит в резерв на Пост Волынский. Заняли пустые вагоны III и IV классов. Расположились отдыхать… Здесь, на Посту Волынском, штаб командующего участком, командующий отрядом, штабы полков, дружин, отделов, подотделов. На путях стоят вагон-салоны с кухнями и поварами, вагоны I, II и III классов. Около них толпятся, суетятся штабные, хорошо одетые офицеры… Изредка долетают и рвутся у путей тяжелые снаряды противника.

В вагонах строевых – полное отдохновенье. Выдана четвертями водка, больше бутылки на человека, продукты, деньги. Усталые офицеры только что прочли приказ командующего войсками генерала Келлера: «Если не можешь пить рюмки – не пей; если можешь ведро – дуй ведро», и, конечно, «дуют ведро», закусывают и неистово ругают матерными словами переполненные штабы и своих начальников. Пьяны почти все. Повалились. Заснули. Ночь. Тревога! Крики. Пожар! Всех вызывают. Загорелись аэропланные гаражи. Но из 27 человек нашего подотдела только шесть в состоянии выйти. Остальные пьяны». Становится понятно, откуда у Мышлаевского, пришедшего к Турбиным, оказалась бутылка водки.

Гуль описывает и наступление у соседнего с Красным Трактиром селением Жуляны. Оно очень похоже на то наступление, о котором рассказывает Мышлаевский: «Сегодня с нашей стороны предполагается наступление. Вышли перед рассветом. Мороз крепкий. Темное небо синеет, розовеет с краю. Под ногами хрустят замерзшие лужи. Дошли до окраины Жулян. Здесь нам – десятерым человекам – дан участок версты в три, на котором приказано держаться «во что бы то ни стало».

Десять человек рассыпались в цепь. Под утро мороз крепчает. На снегу холодно. Руки замерзли – не действуют, а со стороны противника, из лесу, слышится какой-то гул, как будто происходит наступление… Опять отходим на Пост Волынский. Здесь тот же беспорядок, путаница. Рядовых офицеров помещают в нетопленые бараки. Все же составы заняты не особенно трезвыми штабами».

Гуль рассказывает и о резне офицеров петлюровцами (их похороны наблюдает в романе Алексей Турбин): «Наутро всех облетела весть: из Софиевской Борщаговки привезли вагон с 33 трупами офицеров. На путях собралась толпа, обступили открытый вагон: в нем навалены друг на друга голые, полураздетые трупы с отрубленными руками, ногами, безголовые, с распоротыми животами, выколотыми глазами… Некоторые же просто превращены в бесформенную массу мяса.

Это жертвы крестьян Софиевской Борщаговки. Получив сведения из штаба, что деревня свободна, и приказ занять ее, отряд офицеров вошел в Софиевскую Борщаговку. На расспросы крестьяне отвечали, что никого нет. На самом же деле деревня была занята петлюровцами. Отряд разместился по хатам. Их захватили. И расстреляли. А крестьяне вылили свою ненависть к «гетьманцам» в зверском изуродовании тел…

Окружавшие вагон офицеры возбуждены, негодуют. Слышны крики: «Сжечь деревню к черту!», «Перестрелять десятого!» И кроме этого сыплется ругань по адресу штабов, посылающих людей наобум.

Уже больше двух недель, как мы выехали из Киева. Нас бросают с участка на участок. Каждая ночь проходит в дозорах, караулах. Из 25 человек выехавших осталось 10.

Мы просим отпуска или смены, но ни того ни другого не дают. Ответ один: нет людей.

И, переночевав на Посту Волынском, мы отправляемся на новый фронт – в Михайловскую Борщаговку. Здесь мы должны сменить сердюкский «полк». В «полку» этом 80 сердюков, и те с каждым днем разбегаются.

Совместно с другим отрядом сменили и заняли участок версты в

четыре. Далеко друг от друга стали караулы с пулеметом – и это «фронт». Таким «фронтом» опоясан весь Киев.

Опять караулы, дозоры – каждую ночь. Служба становится невыносимой. Каждый понимает, что противостоять малейшему наступлению мы не в состоянии, а тут, кроме ненужной и непосильной службы, надо еще зорко следить за недовольными, неприязненно настроенными крестьянами. 33 трупа у всех живы в памяти…

Ночи идут в тревожной, бессонной службе. Усталость дошла до предела. Люди засыпают на ходу. Больше нет сил. И мы уже не просим, а требуем отдыха. Начальник участка полковник Зметнов согласен с нами, в свою очередь, требует для нас отдыха. И наконец нам на смену приходит такая же горсть офицеров».

Разумеется, жидкие цепи офицеров защитить Киев не могли. А гетманские сердюки воевать не хотели и массами переходили к петлюровцам. И, как признается Гуль, «все чувствуют, что это оперетка с трагическим концом».

Описывает Гуль и свою командировку в штаб на Пост Волынский, очень напоминающую такую же командировку Мышлаевского: «Я поехал от офицеров. На Посту Волынском нашел вагон I класса – штаб участка. Вошел. На ступеньках прекрасно одетый штабной офицер грубо осведомился, кто я такой и что мне нужно. «Мне нужно лично видеть командующего участком полковника Крейтона». Вхожу в вагон. На темно-красных бархатных диванах сидят: полковник Крейтон, Сперанский, Боровский и другие. Возле них батарея пустых разнообразных бутылок. Они о чем-то мирно беседуют. Полковник Крейтон увидел меня и вывел в соседнее купе. «В чем дело?» – спрашивает он, обдавая винным букетом. Рассказываю, что мы понимаем безнадежность фронта, что офицеры на позициях волнуются и просят выяснить им действительное общее положение. «Что ж тут выяснять, господа? Положение трудное, но не безнадежное, – отвечает полковник Крейтон. – Я солдат – не политик и могу вам сказать только одно: мы должны ждать приказаний нашего главнокомандующего князя Долгорукова и держаться во что бы то ни стало». – «Да, но, господин полковник…» – «Больше ничего не могу сказать», – перебивает Крейтон. «Разрешите узнать, господин полковник, ведет ли переговоры о перемирии французский консул Мулен?» Крейтон махнул рукой. «Да, он выехал вести какие-то переговоры, но этот Мулен хорошо только может двойку поставить (намек на учительское прошлое французского консула. – ***Б.С.)***, а его переговоры – ерунда».

То, на что у офицеров была хоть маленькая надежда, оказывалось

«ерундой».

При веселом, пьяном штабе и усталой на позициях горсти офицеров конец рисовался непривлекательным.

После разговора с Крейтоном я вызвал полковника Сперанского и передал желание подчиненных поговорить с ним. «Передайте, что я как-нибудь приеду». – «У меня здесь лошадь, господин полковник». Сперанский замялся. «Ну, хорошо, я сейчас». И через полчаса дровни подвезли нас к позиционной хате. «Здравствуйте, господа, в чем дело?» – говорит, входя, Сперанский и принимает неприступно боевой вид. Один из офицеров рассказывает ему, как рисуется нам положение, и спрашивает: «Что же делать, господин полковник?» – «Ждать приказаний главнокомандующего князя Долгорукова, – грубо отвечает Сперанский, – вас, кажется, кормят, платят вам 40 рублей суточных, так вы и ведите себя как за 40 рублей… В случае наступления мы отойдем на наши резервы…» – «Куда же это? В Киев, господин полковник?» – «Куда? Не знаю. Это будет в приказе», – отвечает, вставая, Сперанский».

Дальнейшие разговоры излишни. Что-либо выяснить невозможно. Некоторые, более решительные, офицеры самовольно уходят в Киев. Другие, менее решительные, с остатком сознания «дисциплины» и с чувством товарищества остаются ждать конца».

Весьма интересно, что слова полковника Крейтона: «Положение трудное, но не безнадежное», Булгаков блестяще спародировал в своем последнем и самом знаменитом романе «Мастер и Маргарита» в реплике кота Бегемота, вчистую проигрывающего Воланду партию в «живые шахматы»: «Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, – отозвался Бегемот, – больше того: я вполне уверен в конечной победе. Стоит только хорошенько проанализировать положение». Анализ же сводится к тому, что Бегемот подает сигналы своему королю, и в тот момент, когда Воланд отвлекся, «белый король наконец догадался, чего от него хотят, вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля». Это очень напоминает бегство из осажденного Киева гетмана Скоропадского и других генералов, спасающихся от полчищ инфернального Петлюры.

Как вспоминала Т.Н. Лаппа, булгаковская служба у Скоропадского свелась к следующему: «Пришел Сынгаевский и другие Мишины товарищи и вот разговаривали, что надо не пустить петлюровцев и защищать город, что немцы должны помочь… а немцы все драпали. И ребята сговаривались на следующий день пойти. Остались даже у нас

ночевать… А утром Михаил поехал. Там медпункт был… И должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы». Эпизод с бегством от петлюровцев и ранением Алексея Турбина 14 декабря 1918 года – писательский вымысел, сам Булгаков ранен не был. Гораздо более драматическим было бегство мобилизованного Булгакова от петлюровцев в ночь со 2 на 3 февраля 1919 года, запечатленное в романе в бегстве Алексея Турбина. Когда Булгакову довелось видеть воочию убийство безымянного еврея. Сама жизнь подсказала трагическую композицию «Белой гвардии».

Между тем в ряде дневниковых записей Булгаков демонстрирует неприязненное отношение к евреям. Так, в записи в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года не встретившие поддержку писателя действия французского премьера Эдуарда Эррио, который «этих большевиков допустил в Париж», объясняются исключительно мнимо еврейским происхождением политика: «У меня нет никаких сомнений, что он еврей. Люба (Л.Е. Белозерская. – ***Б.С.)*** мне это подтвердила, сказав, что она разговаривала с людьми, лично знающими Эррио. Тогда все понятно». Между тем Эррио никакого отношения к евреям не имел, будучи сыном офицера, выходца из крестьян. Кстати, именно Эррио принадлежит афоризм по поводу еврейского интернационализма: «Политический интернационализм многих евреев восходит к традиции, благодаря которой в лоне этого народа зародилась первая универсальная религия».

Также подчеркивается в булгаковском дневнике и еврейская национальность не понравившегося Булгакову драматического тенора Большого театра В.Я. Викторова, а неодобрительно отзываясь о публике, посещавшей литературные «Никитинские субботники», писатель подчеркивает, что это – «затхлая, советская, рабская рвань, с густой примесью евреев». В записи в дневнике от 16 апреля 1924 года Булгаков противопоставляет Викторову «исконно русского» певца Д.Д. Головина:

«Только что вернулся из Благородного Собрания (ныне дом Союзов), где было открытие съезда железнодорожников. Вся редакция «Гудка», за очень немногими исключениями, там. Я в числе прочих назначен править стенограмму. В круглом зале, отделенном портьерой от Колонного зала, бил треск машинок, свет люстр, где в белых матовых шарах горят электрические лампы. Калинин, картавящий и сутуловатый, в синей блузе, выходил, что-то говорил. При свете ослепительных киноламп вели киносъемку во всех направлениях. После первого заседания был концерт. Танцевали Мордкин и балерина Кригер. Мордкин красив, кокетлив. Пели артисты Большого театра. Пел в числе других Викторов – еврей –

драматический тенор с отвратительным, пронзительным, но громадным голосом. И пел некий Головин, баритон из Большого театра. Оказывается, он бывший дьякон из Ставрополя. Явился в Ставропольскую оперу и через три месяца пел Демона, а через год-полтора оказался в Большом. Голос его бесподобен».

Булгаков явно разделял бытовой антисемитизм, выразившийся в негативном стереотипе евреев, со своей средой – русской православной интеллигенцией Киева, причем этот стереотип был усугублен значительной ролью, которую сыграли в революции лица еврейского происхождения. Однако Михаил Афанасьевич смог подняться над предрассудками: именно евреи выступают у него безвинными жертвами Гражданской войны.

В эпизоде бегства Алексея Турбина от петлюровцев Булгаков говорит о троичности как основе бытия: «Инстинкт: гонятся настойчиво и упорно, не отстанут, настигнут и, настигнув совершенно неизбежно, – убьют. Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного документа и револьвер, серая шинель; убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз – попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз». В данном случае писатель опирается на книгу о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», в которой в качестве приложения помещены специальные «Заметки о троичности», а третье письмо из двенадцати писем основной части книги озаглавлено «Триединство». Флоренский доказывает, что троичность – это наиболее древний из всех архетипов человеческого мышления, и возводит ее к Божественной Троице. Идея троичности получила дальнейшее развитие в романе «Мастер и Маргарита», где Булгаков создал три мира – древний ершалаимский, современный московский и вечный потусторонний, а также три ряда функционально подобных персонажей.

В качестве примеров троичности Флоренский привел трехмерность пространства; три основные категории времени: прошедшее, настоящее и будущее; наличие трех грамматических лиц практически во всех языках; минимальный размер полной семьи в три человека: отец, мать, дитя; философский закон трех моментов диалектического развития: тезис, антитезис, синтез; а также наличие трех координат человеческой психики, выражающихся в каждой отдельной личности: разума, воли и чувства. Сюда можно добавить широко известный в лингвистике факт, что никогда не заимствуются из других языков названия первых трех числительных: один, два и три, а также то неоспоримое обстоятельство, что в художественной литературе трилогий значительно больше, чем дилогий или тетралогий. Флоренский доказал, что троичность как основную

категорию бытия невозможно логически вывести ни из каких оснований, и потому возводил ее к изначальному триединству Божественной Троицы.

Отметим, что элементы троичности присутствуют не только в христианстве, но и в подавляющем большинстве других религий народов мира. Если же подходить к проблеме троичности с точки зрения науки, а не веры, то троичность бытия можно, прежде всего, объяснить троичностью человеческого, которая, в свою очередь, напрямую связана с установленной нейрофизиологией еще в XIX веке асимметрией функций полушарий головного мозга. При этом правое полушарие воспринимает внешний мир со всеми его красками и звуками и дает образ для мышления, а левое полушарие преобразует наше восприятие мира в грамматические и логические формы и осуществляет сам мыслительный процесс. Правое полушарие отвечает за конкретное, левое – за абстрактное.

Число 3 – это простейшее выражение асимметрии в целых числах по формуле 3=2+1, тогда как простейшая формула симметрии 2=1+1. Троичность мышления сводится к тому, что окружающую действительность человек воспринимает как трехсоставную. В связи с этим можно указать также, что подавляющее большинство исторических и историософских теорий, призванных объяснить явления действительности, не относящиеся непосредственно к мышлению одного человека, все равно несут в себе троичную структуру. Поэтому они вряд ли корректны, поскольку передают не особенности объясняемого, а особенности мышления, бессознательно присущие творцам этих теорий. В качестве примера приведем то, что в истории различных цивилизаций, как и в жизни человека, всегда выделяют молодость, зрелость и старость (или зарождение, расцвет и упадок). На самом деле данная периодизация не имеет отношения к существованию той или иной цивилизации, а только к способу истолкования ее историком или философом. Еще один пример – выделение Я, ОНО и Сверх-Я в психоанализе Зигмунда Фрейда. Получается, что для объяснения действительности адекватно самой действительности нам необходимо абстрагироваться от особенностей нашего мышления.

Троичность мышления неразрывно связана с присущей разуму свободой воли. Если бы человеческое мышление было симметричным, то человек никогда не смог принять решение о выборе между двумя альтернативами, оставаясь в положении Буриданова осла, который, согласно известному парадоксу, обладая абсолютной свободой воли и находясь на абсолютно одинаковом расстоянии от двух одинаковых вязанок хвороста, умрет от голода, так как не сможет отдать предпочтение ни одной

из них.

Симметрия преобладает в природе, тогда как разум асимметричен. И троичный архетип, без сомнения, самый древний. Он возникает в тот момент, когда возникает само мышление (или разум).

Любопытно, что, вообще говоря, простейшая система структурирования – не троичная, а двоичная. Поэтому, в частности, в компьютерах применяется двоичная структура счета (0 и 1) и двоичные языки. Попробуем сделать, например, наш великий и могучий русский язык из троичного двоичным. Начнем со времен. Настоящее время всегда – лишь ускользающий миг, бесконечно малая величина между прошлым и будущим. Давайте откажемся от него и сохраним лишь глаголы прошедшего и будущего времени. Тогда действие настоящего времени будет передаваться сочетанием глаголов прошедшего и будущего времени. Например: я бежал и буду бежать. Точно так же легко можно отказаться, например, и от третьего рода – среднего, прировняв все слова этого рода к мужскому роду (прилагательные с мужским и средним родом склоняются сходным образом, в отличие от женского: голубого солнца, голубого пиджака, но – голубой луны). А из трех лиц – 1-го, 2-го и 3-го, при желании можно было бы избавиться, например, от 2-го лица, отнеся его к 3-му Тогда мы бы обращались не «ты», а «он, который передо мной». Если бы языки возникали по принципу простоты, они, несомненно, были бы двоичными. Но над языковой структурой властно довлела троичность человеческого мышления, поэтому языки зародились и развились именно как троичные.

Данное обстоятельство, кстати сказать, доказывает, что существующие языковые структуры сами по себе не являются изначально данными человеку, а сформировались под влиянием архетипов его мышления. Не исключено, что самый первый, примитивный язык человека был двоичным, однако с началом процесса усложнения он очень быстро превратился в троичный. Хотя столь же вероятно и то, что самый первый язык был уже троичным, поскольку троичность возникла одновременно с человеческим мышлением. Из всех известных двоичными же являются только компьютерные языки, поскольку они созданы искусственно с целью приближения к максимальной простоте, а двоичная структура – самая простая.

В процессе исторического развития в некоторых языках мы находим отдельные примеры переходов к двоичности. Так, в английском языке исчезло из употребления местоимение второго лица единственного числа, а в итальянском языке исчез средний род существительных.

В первом булгаковском романе обнаруживается намеренное сочетание

трагического с комическим. Вот как, например, рассказывается о гибели Фельдмана: «Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затрясся, тут только вспомнил… ах, боже мой, боже мой! Что ж он наделал»? Что вы, Яков Григорьевич, вытащили? Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни жены раздастся первый стон? О, горе Фельдману! Галаньба мгновенно овладел документом. Всего-то тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдмана смерть…

Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий.

Боже, сотвори чудо!

– Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте…

– Нет, тот, – дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба, – не журись, сами грамотны, прочитаем.

Боже! Сотвори чудо! Одиннадцать тысяч карбованцев… Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шма-исраэль!

Не дал.

Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове».

Точно так же увидена смерть капитана Плешко, трижды отрекшегося, подобно апостолу Петру, и заплатившего дорогую цену «за свое любопытство к парадам». Даже мученической гибелью Булгаков не дает своим героям полного очищения. Осмеянию подвергаются стяжательство Фельдмана, который не прочь заработать на войне, и глупая страсть к парадам у Плешко. При этом элементы комического в том же диалоге Фельдмана с Галаньбой лишь оттеняют ужас гибели невинного человека, во имя первенца забывшего об опасности.

Писатель в романе утвердил человеческую жизнь как абсолютную ценность, возвышающуюся над всякой национальной и классовой идеологией.

Финал «Белой гвардии» заставляет вспомнить кантовское «звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас» и навеянные им рассуждения князя Андрея Болконского в «Войне и мире». Булгаков солидарен с Кантом и Львом Толстым: только обращение к надмирному абсолюту, который символизирует звездное небо, может заставить людей следовать категорическому моральному императиву и навсегда отказаться от насилия. Однако наученный опытом революции и Гражданской войны, он вынужден констатировать, что люди не желают взглянуть на звезды над

ними и следовать кантовскому императиву. В отличие от Толстого он не столь большой фаталист в истории. Народные массы в «Белой гвардии» играют важную роль в развитии исторического процесса, однако направляются не какой-то высшей силой, как утверждается в «Войне и мире», а своими собственными внутренними устремлениями. Народная стихия, поддержавшая Петлюру оказывается мощной силой, сокрушающей слабую, по-своему тоже стихийную, плохо организованную армию Скоропадского. Именно в недостатке организации обвиняет гетмана Алексей Турбин. Однако эта же народная сила оказывается бессильна перед силой хорошо организованной – большевиками. Организованностью большевиков невольно восхищается Мышлаевский и другие представители Белой гвардии. А вот осуждение «наполеонов», несущих людям страданье и смерть, Булгаков с Толстым вполне разделяет, только Петлюра и Троцкий для него по-своему выдающиеся личности, которые вследствие главенствующей роли должны нести и более высокую ответственность за преступления своих подчиненных (впрочем, грядущие преступления ЧК еще только смутно угадываются в снах Алексея Турбина, да и то лишь в неопубликованном варианте романа).

В предназначавшемся к опубликованию в журнале «Россия» тексте заключительные строки романа звучали так: «Снаружи ночь расцветала и расцветала. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмерной высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали и зажигали огоньки, и они проступали на занавесе отдельными трепещущими огнями и целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную и мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»

В издании 1929 года «мир» в финале исчез, и стало не столь очевидным, что Булгаков здесь полемизирует со знаменитыми словами Евангелия от Матфея: «Не мир я принес вам, но меч». Писатель явно предпочитает мечу мир. Позднее, в романе «Мастер и Маргарита» парафраз евангельского изречения был вложен в уста первосвященника

Иосифа Каифы, убеждающего Понтия Пилата, что Иешуа Га-Ноцри принес иудейскому народу не мир и покой, а смущение, которое подведет его под римские мечи. И здесь же Булгаков утверждает покой и мир как одну из высших этических ценностей. В отличие от Толстого он не столь большой фаталист в истории. Народные массы в «Белой гвардии» играют важную роль в развитии исторического процесса, однако направляются не какой-то высшей силой, как утверждается в «Войне и мире», а своими собственными внутренними устремлениями.

Здесь же о. Сергий Булгаков писал о какой-то невидимой руке, «которой нужно связать Россию», об ощущении, что «осуществляется какой-то мистический заговор, бдит своего рода черное провидение: «Некто в сером» (инфернальный персонаж популярной пьесы Леонида Андреева «Жизнь человека» (1907). – ***Б.С.)***, кто похитрее Вильгельма, теперь воюет с Россией и ищет ее связать и парализовать». У Булгакова в «Белой гвардии» «некто в сером» материализуется в военного вождя сторонников независимой Украины СВ. Петлюру, отмеченного «числом зверя» – *666,* и в военного вождя большевиков Л.Д. Троцкого, уподобленного Аполлиону «ангелу бездны», ангелу-губителю Апокалипсиса. Рассуждения Мышлаевского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» о «мужичках-богоносцах Достоевских» навеяны не только романом Достоевского «Бесы» (1871–1872), но и следующим осмыслением этого образа в работе «На пиру богов»: «Недавно еще мечтательно поклонялись народу-богоносцу, освободителю. А когда народ перестал бояться барина, да тряхнул вовсю, вспомнил свои пугачевские были – ведь память народная не так коротка, как барская, – тут и началось разочарование… Нам до сих пор еще приходится продираться чрез туман, напущенный Достоевским, это он богоносца-то сочинил. А теперь вдруг оказывается, что для этого народа ничего нет святого, кроме брюха. Да он и прав по-своему голод – не тетка. Ведь и мы, когда нас на четверки хлеба посадили, стали куда менее возвышенны». Булгаковский Мышлаевский материт «мужичков-богоносцев», поддерживающих Петлюру однако тут же готовых броситься опять в ноги «вашему благородию», если на них как следует прикрикнуть. Не случайно С.Н. Булгаков в «современных диалогах» «На пиру богов» приходит насчет народа к неутешительному выводу:

«… Пусть бы народ наш оказался теперь богоборцем, мятежником против святынь, это было бы лишь отрицательным самосвидетельством его религиозного духа. Но ведь чаще-то всего он себя ведет просто, как хам и скот, которому вовсе нет дела до веры. Как будто и бесов-то в нем никаких

нет, нечего с ним делать им. От бесноватости можно исцелиться, но не от скотства». И тут же устами другого участника «современных диалогов» опровергает, или, по крайней мере, ставит под сомнение этот вывод: «… Чем же отличается теперь ваш «народ-богоносец», за дурное поведение разжалованный в своем чине, от того древнего «народа жестоковыйного», который ведь тоже не особенно был тверд в своих путях «богоносца»? Почитайте у пророков и убедитесь, как и там повторяются – ну, конечно, пламеннее и вдохновеннее – те самые обличения, которые произносятся теперь над русским народом».

Булгаков в том варианте окончания «Белой гвардии», который не был опубликован из-за закрытия журнала «Россия», вложил похожие слова в уста «несимпатичного» Василисы. Василиса, вожделеющий к молочнице Явдохе, в мыслях готов зарезать свою нелюбимую жену Ванду. Он как бы уподобляется народу по уровню сознания, но не из-за голода, а из-за таких же, как у «мужичков-богоносцев», низменных стремлений.

Образом молочницы Явдохи Булгаков продолжает традицию изображения здорового начала в народной жизни, ее стяжателю Василисе, тайно вожделеющему молодую красавицу. Здесь заметно влияние известного рассказа «Явдоха» (1914) сатирической писательницы Надежды Тэффи (Лохвицкой). Позднее, в предисловии к сборнику «Неживой зверь» (1916) она следующим образом изложила содержание рассказа: «Осенью 1914 года напечатала я рассказ «Явдоха». В рассказе, очень и грустном и горьком, говорилось об одинокой деревенской старухе, безграмотной и бестолковой, и такой беспросветно темной, что когда получила она известие о смерти сына, она даже не поняла, в чем дело, и все думала – пришлет он ей денег или нет. И вот одна сердитая газета посвятила этому рассказу два фельетона, в которых негодовала на меня за то, что я якобы смеюсь над человеческим горем.

– Что в этом смешного находит госпожа Тэффи! – возмущалась газета и, цитируя самые грустные места рассказа, повторяла:

– И это, по ее мнению, смешно?

– И это тоже смешно?

Газета, вероятно, была бы очень удивлена, если бы я сказала ей, что не смеялась ни одной минуты. Но как могла я сказать?»

Свою Явдоху по контрасту Булгаков сделал цветущей молодухой, которую вожделеет скаредный Василиса, причем в его воображении она предстает «голой, как ведьма на горе». Заметим, что у ведьмы обычно два обличья – молодая красавица или страшная, уродливая старуха.

К работе С.Н. Булгакова «На пиру богов» восходит в «Белой гвардии»

и молитва Елены о выздоровлении Алексея Турбина. Сергей Булгаков передает следующий рассказ: «Перед самым октябрьским переворотом мне пришлось слышать признание одного близкого мне человека. Он рассказывал с величайшим волнением и умилением, как у него во время горячей молитвы перед явленным образом Богоматери на сердце вдруг совершенно явственно прозвучало: Россия спасена. Как, что, почему? Он не знает, но изменить этой минуте, усомниться в ней значило бы для него позабыть самое заветное и достоверное. Вот и выходит, если только не сочинил мой приятель, что бояться за Россию в последнем и единственно важном, окончательном смысле нам не следует, ибо Россия спасена – Богородичною силою».

Молитва Елены у Булгакова, обращенная к иконе Богоматери, также возымела действие – брат Алексей с Божьей помощью одолел болезнь: «Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, глядела на Елену…

Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом:

– Слишком много горя сразу посылаешь, Мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что?… На тебя одна надежда, Пречистая Дева. На тебя. Умоли Сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо…

Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывна, шла потоком… Совершенно неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жестокого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, и глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение – стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор.

– Мать-заступница, – бормотала в огне Елена, – упроси Его. Вон Он. Что же Тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут Твои дни. Твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, да и Тебя умолю за грехи. Пусть

Сергей не возвращается… Отымаешь, отымай, но этого смертью не карай… Все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай. Вон Он, вон Он…

Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно, длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и больше не поднималась».

Успех молитвы Елены и явление ей Сына Божьего, наряду с выздоровлением Алексея, дает надежду на выздоровление и возрождение России. Булгаков при этом берет на себя и на интеллигенцию в целом часть вины в пролитой крови.

В «Белой гвардии» Булгаков предстает перед нами как человек верующий, но глубоко не доверяющий официальной православной церкви. Не случайно в романе подчеркивается, что православная церковь колокольным звоном встречает и власть Скоропадского, и власть Петлюры. Как говорит Бог Отец в сне Алексея Турбина: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы». И Алексея Турбина спасает искренняя молитва Елены, а не молитва священника, которого предлагает позвать Мышлаевский для исповеди и причащения умирающего. А во время петлюровского парада, который попы встречают крестным ходом, голос из толпы зло замечает: «Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслужат». И они действительно служат обедню дьяволу – Петлюре.

Между тем еще за каких-нибудь десять лет до написания «Белой гвардии» Булгаков исповедовал неверие в Бога. Сестра Надя, которая была очень близка с Михаилом, особенно в юные годы, засвидетельствовала в дневнике его отпадение от религии. 25 марта 1910 года она записала: «Теперь о религии… Нет, я чувствую, что не могу еще! Я не могу еще писать. Я не ханжа, как говорит Миша. Я идеалистка, оптимистка… Я – не знаю… – Нет, я пока не разрешу всего, не могу писать. А эти споры, где Иван Павлович (Воскресенский. – ***Б.С.)*** и Миша защищали теорию Дарвина и где я всецело была на их стороне – разве это не признание с моей стороны, разве не то, что я уже громко заговорила, о чем молчала даже самой себе, что я ответила Мише на его вопрос: «Христос – Бог, по-твоему?» – «Нет!»

Только, когда теперь меня спросят о моих личных чувствах, о моем

отношении к вере, я отвечу, как Иван Павлович:

«Это интервью?» и замолчу (позднейшее примечание Надежды Афанасьевны: «Иван Павлович был, по-видимому, совершенно равнодушен к религии и спокойно атеистичен и вместе с тем глубоко порядочен в самой своей сущности, человек долга до мозга костей». – ***Б.С.)***… Я не знаю! Я не знаю. Я не думаю… Я больше не буду говорить… Я боюсь решить, как Миша (позднейшее примечание НА. Булгаковой-Земской: «неверие». – ***Б.С.)***… я тороплюсь отвечать, потому что кругом с меня потребовали ответа – только искренно я ни разу, – нет, раз – говорила… решить, решить надо! А тогда… – Я не знаю… Боже! Дайте мне веру! Дайте, дайте мне душу живую, которой бы я все рассказала». По тону записей Надежды Афанасьевны чувствуется, что она гораздо более страстно переживала вопросы веры и неверия, тогда как Булгаков в то время был ближе к «спокойному атеизму» И.П. Воскресенского, и это спокойствие сохранялось и в его позднейших колебаниях между верой и неверием.

Однако потрясения революции и Гражданской войны вновь вернули Булгакова к вере. Он записал в дневнике 26 октября 1923 года: «Сейчас я просмотрел «Последнего из могикан», которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сантиментальном Купере! Там Давид, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге.

Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Нездоровье мое осложненное, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога».

Характерно, что в романе Алексей Турбин предстает или атеистом, или агностиком, каким им и был Булгаков во время действия «Белой гвардии». Это проявляется и в его беседе с уверовавшим в Бога бывшего поэта-богоборца Русакова: «Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой… Батюшка, нельзя так, – застонал Турбин, – ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?… Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, – бормотал больной, напяливая козий мех в передней, – ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь. «Где-то я уже слыхал это… Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу – прелесть». А в финале той версии романа, которая не была закончена публикацией в журнале «Россия», Турбин обращается к Богу с характерной для агностика оговоркой: «Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный

момент тут требуются большевики». По всей видимости, с этого момента начинается путь Турбина к вере. Вероятно, точно так же дореволюционный атеизм Булгакова исчез под влиянием потрясений Гражданской войны. Точно так же Алексей Турбин показан убежденным монархистом, каким и был Булгаков в 1918 году (хотя, заметим в скобках, сочетание монархизма и атеизма не слишком естественно). Однако в период работы над романом писатель монархистом уже не был. Вероятно, в отказе от монархизма его излечил крах белого дела, во многом обусловленный бестолковостью штабов и генералов, многие из которых, вроде гетмана Скоропадского, прежде были близки к императору. В дневнике писателя 15 апреля 1924 года следующим образом прокомментированы слухи о том, «будто по Москве ходит манифест Николая Николаевича» (Младшего), дяди Николая II и главы дома Романовых: «Черт бы взял всех Романовых! Их не хватало». Согласимся, что такая фраза в устах русского монархиста абсолютно немыслима.

На вопрос «Заплатит ли кто-нибудь за кровь?» Булгаков дает уверенный ответ: «Нет. Никто». В тексте романа, который Булгаков отдал в журнал «Россия», слов о цене крови еще не было. Но позднее, в связи с работой над пьесой «Бег» и зарождением замысла романа «Мастер и Маргарита», вопрос о цене крови стал одним из основных, и соответствующие слова появились во втором томе парижского издания романа.

Ставя вопрос о цене крови, Булгаков, возможно, ориентировался также на следующую мысль генерала Михаила Константиновича Дитерихса, который в своей книге, посвященной убийству царской семьи, утверждал: «Еврейские главари советской власти на крови христианской интеллигенции взрастили и закалили российский пролетариат для завершения кровавой большевистской эпопеи кровавыми еврейскими погромами.

Разрешала ли когда-нибудь кровь «еврейский вопрос?»

Никогда.

«Еврейский вопрос» в глубоком значении – это вопрос идейный. Преследования, насилия, избиения не разрешают идей, а утверждают их последователей и создают им ореол мучеников, жертв. Так, в первые три века ужасных гонений, изуверских истреблений последователей идей Христа христианство укрепилось, разрослось и победило окончательно мир».

Булгаков, весьма настороженно относившийся к евреям, вместе с тем был категорическим противником погромов, и именно убийство еврея

становится символом всех страданий, которые претерпел город под властью Петлюры. Кровью же, как был убежден писатель, не разрешается не только еврейский вопрос, но и ни один серьезный вопрос прошлого и настоящего.

Надо сказать, что Дитерихс, возглавлявший следственную комиссию по расследованию убийства царской семьи, отличался патологическим антисемитизмом и без каких бы то ни было оснований считал убийство Николая II ритуальным убийством.

Народная стихия, поддержавшая Петлюру оказывается в романе мощной силой, сокрушающей слабую, по-своему тоже стихийную, плохо организованную армию Скоропадского. Ведь герои романа идут защищать город стихийно, поддаваясь благородному порыву, однако так и не находится силы, способной их организовать.

Именно в недостатке организации обвиняет гетмана Алексей Турбин. Однако эта же народная сила оказывается бессильна перед силой хорошо организованной – большевиками. Организованностью большевиков невольно восхищается Мышлаевский и другие представители Белой гвардии. А вот осуждение «наполеонов», несущих людям страдание и смерть, Булгаков вполне разделяет со Львом Толстым, только Петлюра и Троцкий для него не миф, как Наполеон для Толстого, а реально существующие и по-своему выдающиеся личности, которые вследствие главенствующей роли должны нести и более высокую ответственность за преступления своих подчиненных (впрочем, грядущие преступления ЧК еще только смутно угадываются в снах Алексея Турбина, да и то лишь в неопубликованном при жизни Булгакова варианте романа).

Булгаков был знаком и с мемуарами еще одного белого генерала, сменившего Дитерихса на посту главнокомандующего армиями адмирала Колчака, – генерал-лейтенанта Константина Вячеславовича Сахарова. Интересно, что, как и Булгаков в «Белой гвардии», К.В. Сахаров своим мемуарам «Белая Сибирь», вышедшим в Мюнхене в 1923 году предпослал эпиграф из пушкинской «Капитанской дочки». Только Сахаров взял то место, где говорится, что «мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что было оставлено им разбойниками. Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено…» Булгаков же предпочел эпизод с метелью: «Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!» Слишком уж русская революционная смута напоминала бессмысленную и беспощадную пугачевскую усобицу.

То, что Булгаков был знаком с книгой Сахарова вскоре после ее

выхода, доказывается следующей текстуальной параллелью. В «Белой Сибири» описывается, в частности, «ледяной поход» остатков колчаковских армий от Омска до Читы зимой 1919/20 года. Сахаров вспоминает, как на последнем этапе проходили по льду через Байкал. Он так передает свой диалог с безымянным гвардейским полковником, находящимся в тифозном бреду:

«– Ваше Превосходительство, позвольте доложить, – Байкал трещит. Я выступил с авангардом, но пришлось остановиться, – нет прохода, трещины, как пропасть.

– Взять сапер, досок и бревен. Строить мост. Не терять времени. Продолжайте движение – Вы задерживаете все колонны.

– Невозможно – Байкал трещит. И нет дороги… Подхожу, беру руку полковника – она горячая, как изразец раскаленной белой гладкой печки. В глазах глубокая пропасть пережитых страданий, собрался весь ужас пройденного крестного пути. Стройное, сроднившееся со строем и войной тело тянется привычно и красиво, несмотря на то, что страшный сыпной тиф проник уже в его кровь и отравил его своим сильным ядом. Слабела воля. Падали силы. Терялся смысл борьбы, и сама жизнь, казалось, уходила…»

В булгаковской пьесе «Бег» (1927–1928) генерал Хлудов после прорыва красными позиций на Перекопе имеет такой диалог с начальником станции, который говорит как в бреду и «уже сутки человек мертвый»:

«Хлудов *(начальнику станции)*. Мне почему-то кажется, что вы хорошо относитесь к большевикам. Вы не бойтесь, поговорите со мной откровенно. У каждого человека есть свои убеждения, и скрывать их он не должен. Хитрец!

Начальник станции *(говорит вздор)*. Ваше высокопревосходительство, за что же такое подозрение? У меня детишки… еще при государе императоре Николае Александровиче… Оля и Павлик, детки… тридцать часов не спал, верьте богу! И лично председателю Государственной думы Михаилу Владимировичу Родзянко известен. Но я ему Родзянке, не сочувствую… у меня дети…

Хлудов. Искренний человек, а? Нет! Нужна любовь, а без любви ничего не сделаешь на войне! *(Укоризненно, Тихому.)* Меня не любят. *(Сухо.)* Дать сапер. Толкать, сортировать! Пятнадцать минут времени, чтобы «Офицер» прошел за выходной семафор! Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, коменданта арестовать. А начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним надпись: «Саботаж».

А горячая изразцовая печка, упоминаемая Сахаровым, у Булгакова в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» – это символ дома, уюта, покоя, утраченного с революцией.

В своей книге КВ. Сахаров писал: «Глубокая вера живет в нас всех, что Родина – Великая Россия, не может исчезнуть, что она возродится, несмотря на все противодействия, от кого бы они ни исходили. Народ, сумевший в течение своей тысячелетней истории образовать величайшую в мире Империю, давший человечеству дары блестящего гения, вынесший из своей массы плеяды мировых писателей, ученых, художников и композиторов; страна, спасавшая не раз Европу и общечеловеческую культуру, воспитавшая в себе дух самопожертвования, поставившая искание правды и нравственной справедливости превыше материальных благ; народ, всегда искавший Бога: такие страна и народ не могут погибнуть или ассимилироваться с другой культурой, чуждой Русским путям и задачам».

Булгаков вполне разделяет веру в возрождение России и русского народа, которую декларируют в финале, хотя и не без скепсиса, герои «Дней Турбиных»:

Студзинский. Была у нас Россия – великая держава!..

Мышлаевский. И будет!.. Будет!

Студзинский. Да, будет, будет – ждите!»

Но Михаил Афанасьевич гораздо более скептически, чем бывший белый генерал, еще в юнкерском училище за безграничный оптимизм и нежелание считаться с реальностью прозванный «бетонноголовым», оценивал русский народ. Не случайно Мышлаевский и в романе «Белая гвардия», и в пьесе «Дни Турбиных» иронизирует над «мужичками-богоносцами. Тем самым он как бы отвечает Сахарову, искренне верящему в природный монархизм и боговдохновленность русского народа, все беды которого – от разного рода инородцев, и прежде всего евреев, пытающихся сбить русских с пути истинного.

Сахаров вспоминал, какой была ночь во время «ледяного похода»: «Темная ночь, зимняя, глубокая, без просвета и без звезд, окутала землю. Улицы тонули в тумане, сквозь который мутными пятнами кое-где просвечивали костры. Часовые у ворот и дозорные нервно окликали каждую тень». Этот ночной пейзаж навел генерала на грустные думы: «Шестой год скитаний – сколько принесено за это время жертв для счастья родной страны. Личное счастье, семья, здоровье, кровь, и самая жизнь. И за все это – очутиться загнанными где-то в глуши Сибири… Мрачным казалось настоящее, беспросветно тяжелым, обидным – прошедшие пять

лет. А там впереди за деревней, на востоке, еще темнее. Там полная неизвестность, может быть, западня, а – кто знает – может быть, и конец страданиям – смерть безвестная, мучительная, с издевательствами». Все представлялось неопределенным и зловещим».

Когда Николка пробирается домой после того как петлюровцы взяли Город, он видит почти ту же картину, что и Сахаров: «Пока он пересек Подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех: некоторые уже ослепли». Вместо часовых, как Сахаров, Николка видит мирно катающихся с горки ребятишек. Но когда он вежливо спрашивает у них: «Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там наверху?», то слышит в ответ зловещее: «Офицерню бьют наши… С офицерами расправляются. Так им и надо. Их восемьсот человек на весь Город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска».

Надо отметить, однако, что, несмотря на отдельные расправы над офицерами и юнкерами на улицах, массовых убийств офицеров и других противников УНР не было. Около 4 тыс. пленных поместили в здании Педагогического музея. Кто-то бросил в здание музея бомбу. В результате несколько десятков человек было убито и ранено. Большинство заключенных смогли освободиться за деньги или благодаря связям среди новой украинской власти. Оставшихся около 600 офицеров и юнкеров эвакуировали по железной дороге в Германию 30 декабря 1919 года. Булгаков это хорошо знал, поскольку читал мемуары оказавшегося среди заключенных в Педагогическом музее Романа Гуля «Киевская эпопея». Гуль, в частности, вспоминал:

«В Педагогическом музее скопилось более 2000 человек. Но в комнатах лежат только наиболее усталые. Большинство наполнило большой вестибюль, толпятся у входа, стоят кругом здания – ждут «конца». Конец авантюры почти пришел. По городу со всех сторон близится, трещит стрельба. Слышны неясные крики толпы. Мы столпились у здания – ждем последнего акта. Вдруг за углом, совсем близко, толпа закричала громкое: «Слава! Слава!» – и затрещали выстрелы. Все около музея вздрогнули, метнулись, большинство кинулось в здание, толкая друг друга. В кучке оставшихся на улице закричали: «В цепь! В цепь!» Захлопали затворами. Но к оставшимся бросились из толпы. «Господа! Что вы! Бросьте, все равно ведь все кончено! Вы всех погубите!» И через мгновение около музея не было никого, а в вестибюле стоял взволнованный генерал Канцырев, собираясь вступить в переговоры… В музее заняты комнаты, проходы,

лестницы. Гул тысяч голосов внезапно обрывается жуткой тишиной. Все прислушиваются к уличному шуму. И опять гудят: обсуждают положение, ждут переговоров.

Через полчаса стало известно – впредь до выяснения участи вход занят украинским и немецким караулом. И украинские власти приказали всем, как пленным, снять погоны, кокарды.

В комнатах, проходах, в уборной, на лестнице офицеры, генералы срывают с себя погоны, кокарды. Офицеры генерального штаба рвут аксельбанты. И этот пустяк – сорванные погоны – сразу дает почувствовать «плен».

Очень немногие офицеры бесконечных штабов попали в музей. В большинстве штабы скрылись. Раньше всех, бросив фронт на произвол судьбы, бежал главнокомандующий князь Долгоруков, клявшийся в приказах «в минуту опасности умереть с вверенными ему войсками». Скрылся представитель Добровольческой армии генерал Ламновский, в то время как мелкие чины его штаба попали в музей. Полковник Сперанский бежал из музея ночью, подкупив караул…

Но, несмотря на «настоящий плен» – снятие погон, выдачу оружия, – командный состав и в музее пытался сохранить вид «воинской части». Уже на второй день сидения была объявлена запись желающих ехать на Кубань и Дон. Целые дни в комнатах раздаются крики: «Желающие на Дон! Записываться здесь!» Люди стоят в очереди. Кто-то записывает. Для чего? Неизвестно. Говорят, пропустят…

Из газет узнали об убийстве генерала Келлера «при попытке бежать». И о том, как въехавшему на белом коне Петлюре подносили саблю убитого графа. И о том, как на банкете украинских самостийников Винниченко поднял бокал «за единую, неделимую Украину»…

С каждым днем сидение в музее становилось тяжелей: плохая пища, духота, отсутствие уборной, вши и к этому полная неизвестность своей судьбы и приближение большевиков с севера. И в то время, как рядовой офицер не мог подумать даже, когда он будет свободен, сильные мира ежедневно освобождались. Одни за деньги (в большинстве казенные), другие – благодаря связям. В один из дней стало известно, что сам украинский комендант музея бежал с освобожденным генералом Волховским и с 400 тысяч казенных денег. А рядовые офицеры все сидели и сидели…

Тянутся дни. Наступило 25 декабря – Рождество. Разговоры об освобождении усилились. Приходят родные – обнадеживают. Уже многих освободили.

Но в один из дней Рождества произошел эпизод, совершенно неожиданно решивший судьбу арестованных.

…Было часов 11 ночи. Большие комнаты застланы людьми. Все укладываются спать на свои шинели, многие заняты обычным делом: сидят полуголые, рассматривают рубахи, кальсоны – бьют вшей. Многие заснули.

Я, сжатый с обеих сторон другими, задремал. Но вдруг вскочил от невероятного треска, взрыва. Показалось, что падают стены, рушится здание… Вылетели, дребезжа, окна. И тут же раздался дикий крик сотен голосов. Люди вскочили с мест, бросились, побежали к дверям по лежащим. Страшный крик не прекращается. «Из пушек по нас стреляют!» – кричит кто-то. «Господа, спокойно! Это взрыв!» – доносятся голоса среди общего шума… Бежать, конечно, некуда. Но все ждут второго удара и метнулись, сами не зная куда.

В отворенные двери нашей комнаты стали входить окровавленные раненые. Забегали сестры.

В соседнем круглом зале громадный купол из толстого стекла рухнул вниз – на лежащих. Стекла падали с такой силой, что пробивали насквозь стулья. Здесь стоны, крики, паника отчаянная. Раненые с окровавленными лицами, руками, одеждой толпятся, выбегая из комнаты. Есть тяжелораненые.

Но не прошло десяти минут после взрыва, как к нам в комнату влетели, размахивая нагайками, вооруженные до зубов гайдамаки в опереточных костюмах. «Панове! Тихо! Не то по-гайдамацки будем ногаями бить!» – кричали они. И стало тихо. Только раненых носили, перевязывали да обсуждали вполголоса, что же это такое было? И опять укладывались спать на свои шинели…

Наутро увидели, что во всем здании все окна выбиты. Наш квартал опутан проволокой, оцеплен войсками. К нам никого не пускают. Стало еще тяжелей. Из газет узнали, что во взрыве, где пострадали 200 с лишним арестованных, украинцы обвиняют нас же. Будто бы мы сделали это с целью побега…

В дни Рождества комнаты сильно поредели. Многих выпустили по ордеру. Многие освободились за деньги. Исчез из музея полковник Крейтон. Бежал во время взрыва, прикинувшись раненым, генерал Канцырев. Скрылся Кирпичев. Осталось человек 600…

Комендант объявил официально, что сегодня, 30 декабря, нас, вот таких, как мы есть, – полуголых, вшивых, полуголодных, вывозят под конвоем в Германию… Мы едем ночь и день в наглухо запертых вагонах. 35 человек лежат, плотно прижавшись друг к другу от холода и тесноты».

Сахаров описывает, как офицеры провожали его в связи с отъездом из Читы в Европу: «Много теплых заздравных речей. И первый тост за Святую Русь, за нашу Родину, которая будет жить, будет снова Великой и свободной! Этот тост был покрыт могучими радостными аккордами бессмертного русского гимна:

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!

У многих на глазах слезы; ценные мужские слезы воина текут по огрубелым лицам. А кругом школы гудит толпа егерей и ижевцев, гудит довольная, близкая, гудит не поганым революционным бессмысленным гамом, а близким, братским единением, какое было всегда между русскими господами офицерами и их солдатами. Среди последних многие, слыша гимн, крестятся. И раздается в толпе часто общая всем мысль: «Господи, неужто по-настоящему придет теперь освобождение!»

Эта сентиментальная сцена, скорее всего, послужила для Булгакова объектом пародии в сцене вечеринки у Турбиных в романе, когда перепившиеся офицеры поют царский гимн:

«– Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! – Турбин крикнул и поднял стакан.

– Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! – трижды в грохоте пронеслось по столовой…

Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:

…си-ильный, де-ержавный
царр-ствуй на славу…

На Руси возможно только одно: вера православная, власть

самодержавная! – покачиваясь, кричал Мышлаевский.

– Верно!

– Я… был на «Павле Первом»… неделю тому назад… – заплетаясь, бормотал Мышлаевский – и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» – и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»

– Жиды, – мрачно крикнул опьяневший Карась.

Туман. Туман. Туман. Тонк-танк… тонк-танк… Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышлаевского.

– А-а…»

В пьесе прямое указание на ненавистных Сахарову евреев отсутствует, зато Мышлаевский, прежде чем окончательно опьянеть, успевает произнести развернутую филиппику против революционеров:

«Николка. Все равно. Пусть император мертв, да здравствует император! Ура!.. Гимн! Шервинский! Гимн! *(Поет.)* Боже, царя храни!..

Шервинский, Студзинский, Мышлаевский. Боже, царя храни!

Лариосик *(поет).* Сильный, державный…

Николка, Студзинский, Шервинский. Царствуй на славу…

Елена, Алексей. Господа, что вы! Не нужно этого!

Мышлаевский *(плачет).* Алеша, разве это народ! Ведь это бандиты. Профессиональный союз цареубийц. Петр Третий… Ну что он им сделал? Что? Орут: «Войны не надо!» Отлично… Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя по морде бутылкой!.. Павла Петровича князь портсигаром по уху… А этот… забыл, как его… с бакенбардами, симпатичный, дай, думает, мужикам приятное сделаю, освобожу их, чертей полосатых. Так его бомбой за это? Пороть их надо, негодяев, Алеша! Ох, мне что-то плохо, братцы…

Елена. Ему плохо!

Николка. Капитану плохо!

Алексей. В ванну».

И, разумеется, Булгаков нисколько не верил в единение «между русскими господами офицерами и их солдатами». В «Белой гвардии» прекрасно показана та лютая ненависть, какую питали одетые в солдатские шинели мужики к «господам офицерам». В отличие от большинства

белоэмигрантов, Булгаков тогда, когда писал «Белую гвардию» и «Бег», еще имел слабые надежды, что Россия может возродиться и при большевиках. Но он, безусловно, не хотел видеть во главе возрожденной России царя и не считал, что русская культура пострадает от прививки других культур.

Тут стоит отметить, что последний булгаковский роман «Мастер и Маргарита» во многом развивает одну мысль книги «Белая Сибирь».

В главе «Предательство тыла» Сахаров счел необходимым привести свою версию евангельской легенды: «С светлым земным ликом и ясными очами шел своим земным путем наш Господь; красота подвига слилась с силой духа; миру была явлена совершенная гармония, соединение начала Божественного с человеческим. В то время ученье правды, добра и высшей справедливости достигло своего апогея. Но именно тогда, когда победа добра над злом казалась неминуемой и скорой, – в это время совершилась самая низкая за всю историю человечества подлость – Иуда Искари-отский продал и предал Светлого Учителя… Крадучись и пряча в складках одежды темное лицо свое, пробиралась закоулками и задворками согнутая фигура к врагам Богочеловека. Торопливый воровской шепот, быстрый обмен косыми колючими взглядами, подлый звон отсчитываемого серебра, цены крови. И затем эта ужасная сцена в Гефсиманском саду. С одной стороны стоит на коленях и молится Отцу Христос, плачущий кровавыми слезами, но готовый на все жертвы для искупления мира, с другой – приближается предатель Иуда, идущий впереди вооруженной толпы, готовой по его знаку взять Иисуса. «Кого поцелую, того и берите. Это – он», исходит от него шепот, как свист ядовитой змеи.

И совершилась величайшая подлость на земле.

Подстроили ее и провели в жизнь кучка людей, сборище книжников и мудрецов древнего Сиона; они сумели найти среди ближайших учеников Христа низкого предателя, завистника… А массы народа, так жадно внимавшие словам Святого Учителя на горе, так бурно-восторженно кричавшие ему: «Радуйся, Царь Иудейский», ходившие за ним огромными толпами, – эти массы со свойственной толпе легкостью перемен в настроении, кричали теперь: «Распни, распни Его!»

И даже ближайшие ученики, допущенные к общению с Божественным, просмотрели опасность, растерялись, проспали ее.

Все это было давно, на заре культуры человеческого духа. Все это так же старо, как стар наш христианский мир.

Но вот в наши дни, в дни современности, проходит перед миром такая же картина. Предан на распятие целый народ, великая христианская страна.

Гибель ее предрешена была кучкой интернационалистов, иуды нашлись среди ее же сынов; а толпа, человечество безмолвствовала или невольно помогала преступникам.

Гефсиманским садом России был 1917 год. Голгофа ее длится и до сей поры.

Но придет и воскресение. Так же неожиданно, таинственно и сияюще. И встанет Россия из гроба…

В то время, когда белые русские армии, эти полчища новых крестоносцев, напрягали все усилия, несли в жертву кровь и жизнь, чтобы победить интернационал, вырвать из хищных когтей его Родину и христианскую культуру, – в это же время происходило новое Иудино дело, творилось новое предательство.

И заметьте, – Иудой Искариотским руководила только зависть и выросшая из нее темная подлая ненависть, – так и социалистами, всеми, начиная с их мессии Карла Маркса, двигает только это чувство. Зависть к чужому успеху, к сытой жизни других, к чужим способностям и талантам; их безграничная зависть переходит также в дьявольскую ненависть. Завистью и ненавистью пропитано все учение социализма, – а дела их показали себя на морях крови и страданиях распятой ими России».

Булгаков в «Белой гвардии» наделяет змеиными чертами, уподобляющими его Иуде, предающего гетмана агента большевиков Михаила Семеновича Шполянского, «человека с глазами змеи». Ему противостоит благородный рыцарь белого дела полковник Най-Турс, который в раю оказывается в бригаде крестоносцев. Но в ту пору Булгаков еще надеялся на возрождение России при советском режиме. Недаром в дневниковой записи 26 октября 1923 года он отмечал, что придется оправдываться в эпоху после большевиков за сотрудничество в «сменовеховских» изданиях, одним из которых и была опубликовавшая «Белую гвардию» «Россия»: «Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Накануне», никогда бы не увидали света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой».

А вот когда Булгаков писал «Мастера и Маргариту», начатого в «год великого перелома» – уже не верил, что воскресение России произойдет при его жизни. Хотя и тогда помнил о Гражданской войне. Недаром в ранних редакциях в ершалаимских сценах были явные приметы этой войны: Пилата именовали «Вашим превосходительством», солдаты ходили в сапогах, а офицеры назывались «ротмистрами». Пилат же сохранил и в окончательном тексте черты генерала Хлудова из «Бега». Иешуа у Булгакова, как и Иисус у Сахарова, – это именно Богочеловек. А мастеру, аналогу Иешуа в современной жизни, грозит новое распятие за его талант со стороны завистников. Новая власть по Булгакову – это власть завистников и ненавистников всех, кто не похож на них. Вот только сытую жизнь саму по себе Булгаков отнюдь не считает добродетелью, и сытые у него – это как раз враги мастера. И не случайно у всех врагов мастера фамилии интернациональные, неопределенной национальной принадлежности. И воскресения ни России, ни его героям Булгаков уже не дарит. Если в «Белой гвардии» страстная молитва Елены спасла умирающего от тифа Алексея Турбина и символизировала надежду на будущее возрождение России, то в «Мастере и Маргарите» главным героям дан лишь лунный мир Воланда, где им остается любовь и творчество, но ценой невозможности вернуться в реальную советскую жизнь.

Если петлюровцы в булгаковском романе представлены целой галерееей весьма колоритных персонажей, многие из которых имеют реальных прототипов, то большевиков в «Белой гвардии» почти нет. 7 февраля 1927 года на диспуте по поводу пьес «Дни Турбиных» и «Любовь Яровая» в Театре Мейерхольда Булгаков утверждал, что в его пьесе, написанной по мотивам «Белой гвардии», ясно показан «большевистский фон»: «Если бы сидеть в окружении этой власти Скоропадского, офицеров, бежавшей интеллигенции, то был бы ясен тот большевистский фон, та страшная сила, которая с севера надвигалась на Киев и вышибла оттуда скоропадщину».

Большевистский фон в романе представлен прежде всего военным вождем большевиков Львом Давидовичем Троцким. В качестве действующего лица в романе он так не появляется, но постоянно присутствует в мыслях героев в качестве зловещего апокалиптического образа. Если бы трилогия продолжена и время ее действия охватило бы весь 1919 года, то Троцкий появился бы в булгаковском тексте и как непосредственное действующее лицо. Не исключено, что писателю довелось слышать выступление Троцкого в Киеве в конце весны 1919 года. Знаменитый хореограф Серж Лифарь, учившийся тогда в Киевской школе младших командиров, а позднее посещавший балетную школу Брониславы

Нижинской, описал эту речь и события, с ней связанные, в «Мемуарах Икара»: «Неожиданно объявили о прибытии в Киев пресловутого «Красного Наполеона» – Троцкого, знаменитого изобретателя «перманентной революции». На площади Софийского собора он намеревался выступить с пространной речью перед молодыми курсантами Красной Армии, с тем, чтобы воодушевить их и мобилизовать все силы на борьбу с белыми.

Будучи в первых рядах, мы должны были выслушать эту скучную речь. Однако большинство преподавателей… оставались до глубины души преданными старому режиму. Созрел заговор. Нам предстояло пробраться в первый ряд, встать в нескольких шагах от оратора и совершить покушение – бросить в него гранату. Набрали добровольцев. Я оказался среди них, так как прочно впитал идеалы верности олицетворявшему Россию царю, чье чудовищное убийство и уничтожение всей его семьи привело нас в глубочайшее смятение. Решено было бросить жребий среди добровольцев, дабы назначить исполнителя казни. Жребий мог пасть на меня, но этого не произошло. Он выпал на долю одного из моих товарищей. Может быть, ловкие привлекательные аргументы оратора взволновали его, или остановил страх за собственную судьбу, ожидавшую его в связи с поступком, который он намеревался совершить, но он воздержался от выполнения обещания, так и не вытащив гранату из кармана». Возможно, Булгаков был в тот день на Софийской площади и внимал «ловким привлекательным аргументам» Троцкого, незаурядного оратора, сумевшего, очевидно, даже потенциального террориста убедить отказаться от своего намерения.

Троцкий выступил в Киеве 20 мая 1919 года на рабочем митинге. Он, в частности, заявил: «У нас еще и теперь имеются буржуи, живущие на проценты от награбленного ими добра, еще и теперь на улицах Киева мы встречаем много несчастных, нищих, умоляющих о куске хлеба. Но это далеко не вина Советской власти. Это наследие гнилого буржуазного строя. Правящие классы за все время их господства безжалостно грабили и эксплуатировали народ, они бросили его на кровавую бойню и покрыли всю землю кровью, гнилью, падалью и мерзостью. Власть же рабочих всего несколько месяцев как получила возможность производить чистку страны от буржуазного наследия. А на это нужно время». Возможно, эта фраза побудила Булгакова вложить слова о Троцком – ангеле-губителе в уста гниющего от сифилиса поэта Русакова, чей образ пародирует «гниющий старый мир». Лев Давыдович указал, что «враги рабочих и крестьян тешили себя тем, что пролетарский всадник не долго удержится в

государственном седле. Особенно много надежд буржуазия возлагала на весну 1918 года, когда, по ее понятиям, проклятый голод должен был доконать московских и петроградских рабочих и вообще весь революционный пролетариат». Быть может, в связи с этими словами в романе появилась фраза о том, что «после нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину».

И в заключение своей киевской речи Троцкий сказал о Красной Армии: «Я сегодня смотрел вашу молодую Красную Армию. Правда, ваша Красная Армия имеет недостатки: она еще молода. Необходимо превратить партизанские отряды в регулярные дисциплинированные революционные батальоны и полки. В России нами эта работа уже проделана с успехом, и Красная Советская Армия представляет собою сейчас могучую силу, пред которой дрожат различные контр революционные банды, но наша армия, товарищи, – это ваша армия. Если отсюда будет брошен клич «Киев в опасности», то петроградские, московские, иваново-вознесенские и другие рабочие немедленно ответят: «Мы здесь!» Именно такой воспринимают Красную Армию главные герои «Белой гвардии». Ее символизирует бронепоезд «Пролетарий» и стоящий возле него часовой, замерзающий, но не уходящий с поста до смены. А в фельетоне «Киев-город» киевляне пророчески восклицают: «Большевики опять будут скоро».

В белом лагере в годы Гражданской войны склонны были преувеличивать политическую роль Троцкого, чуть ли не отдавая ему первенство перед Лениным. М.К. Дитерихс, например, утверждал: «Бронштейн и его сподвижники – это прямые потомки революционеров древнего Израиля; революционеров прежде всего против Бога, а затем против всех народов, исповедующих Единого Бога, в том числе и против своего еврейского народа. Их революционный фанатизм не остановился в древности перед разрушением ради борьбы с Богом своего народа, перед его рассеянием по всему миру перед навлечением на него проклятия других народов мира».

Поэтому наверное, в «Белой гвардии» поэт Русаков, в прошлом воинствующий атеист, после заражения сифилисом обратившийся к Богу, говорит Алексею Турбину о Троцком: «Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят, уже трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.

– Троцкого?

– Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски

Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.

– Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы, смотрите… у вас мания развивается…

– Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?»

Турбин к такому определению относится с определенной иронией, хотя с уподоблением большевиков аггелам (падшим ангелам, злым духам, служителям дьявола), которое делает тут же Русаков, соглашается. К 1924 году Булгаков уже прекрасно знал, что политическое значение Троцкого сошло на нет и что страхи насчет него оказались сильно преувеличенными. Он давно уже понимал, что в бедах России виноват отнюдь не только и даже не главным образом Троцкий, хотя, как мы помним, Булгаков писал о «зловещей фигуре Троцкого» еще в ноябре 1919 года в фельетоне «Грядущие перспективы».

Больной сифилисом поэт Русаков романе цитирует следующее место из Апокалипсиса: «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней – как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее – как лица человеческие; и волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы у ней были как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – вредить людям пять месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны; имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион (Откр. 9:7-11)».

Между прочим, фамилию Русаков Булгаков мог позаимствовать из книги Дитерихса. Там упоминается Николай Михайлович Русаков, рабочий Сысетского завода, в составе отряда особого назначения охранявшего Романовых в доме Ипатьева. Упоминает Дитерихс и рабочего Злоказовского завода Александра Корзухина, служившего в том же отряде. Сравнительно редкой фамилией Корзухин Булгаков наградил несимпатичного персонажа «Бега». Фамилия Русаков, разумеется, широко распространена, чего, однако, не скажешь о фамилии Корзухин.

Подчеркнем и то, что в Белой армии именно Троцкого считали главным архитектором побед красных и испытывали чувства ненависти и уважения одновременно. В булгаковском «Мастере и Маргарите» Аваддон превратился в демона войны Абадонну за которым при желании тоже можно увидеть фигуру Троцкого. В варианте окончания «Белой гвардии», не увидевшем свет из-за закрытия журнала «Россия», возможно, отразились впечатления от митинга на Софийской площади, где выступал

Троцкий:

«– Поздравляю вас, товарищи, – мгновенно изобразил Николка оратора на митинге, – таперича наши идут: Троцкий, Луначарский и прочие, – он заложил руку за борт блузы и оттопырил левую ногу. – Прравильно, – ответил он сам себе от имени невидимой толпы, а затем зажал рот руками и изобразил, как солдаты на площади кричат «ура».

– Уааа!!

Шервинский ткнул пальцами в клавиши.

Соль…до.

Проклятьем заклейменный.

В ответ оратору заиграл духовой оркестр. Иллюзия получилась настолько полная, что Елена вначале подавилась смехом, а потом пришла в ужас.

– Вы с ума сошли оба. Петлюровцы на улице!

– Уааа! Долой Петлю!.. ап!

Елена бросилась к Николке и зажала ему рот».

Эту пародию на большевиков Булгаков в издании 1929 года по цензурным соображениям убрал. Интересно, что слова о Троцком и Луначарском восходят к воспоминаниям бывшей фрейлины императрицы Анны Александровны Танеевой, которая была ближайшей подругой Александры Федоровны и хорошо знала Григория Распутина. Булгаков живо интересовался воспоминаниями Вырубовой «Страницы моей жизни», которые были опубликованы в парижском журнале «Русская летопись» в 1922 году и вполне могли попасть в поле зрения Булгакова. Михаил Афанасьевич, в частности, писал матери 17 ноября 1921 года: «Просьба: передайте Наде (Н.А. Булгаковой. – ***Б.С.)***… нужен весь материал для исторической драмы – все, что касается Николая и Распутина в период 16– и 17-го годов (убийство и переворот). Газеты, описание дворца, мемуары, ***а больше всего «Дневник Пуришкевича – до зарезу!*** Описание костюмов, портреты, воспоминания и т. д. Она поймет. Лелею мысль создать грандиозную драму в 5 актах к концу 22-го года. Уже готовы некоторые наброски и планы. Мысль меня увлекает безумно».

Однако пьесы о царе и Распутине Булгаков так и не написал, и набросков и планов к ней в его архиве не сохранилось. Вместо этой пьесы Булгаков написал «Белую гвардию». Но литературу об отношениях царской семьи и Распутина прочитал очень внимательно.

Вырубова в мемуарах приводит рассказ своей матери, незадолго до Октябрьской революции хлопотавшей об ее освобождении из Свеаборгской крепости, где ей и группе привезенных из Петрограда бывших узников

Петропавловской крепости грозила расправа: «…Доктор Манухин посоветовал обратиться к Луначарскому (тогда – руководителю фракции большевиков в Петроградской городской думе. – ***Б.С.***) и Троцкому (тогда – председателю Петиросовета. – ***Б.С.)***. Первого не застала, а у второго была рано утром в десятом часу, в маленькой квартире на Тверской. Он сам открыл дверь, извиняясь за беспорядок сказав: «Наши все ушли на работу», положил перед собой часы, заметив, что может дать мне двадцать минут. Я была очень взволнована, говорила о прошлом заключении, клевете и грязи и обо всех страданиях, вынесенных дочерью. Он выслушал меня внимательно. О муже сказал: «Ведь вашего мужа никто не трогал». Окончил разговор уверением, что все, что может, сделает, и если телеграмма его поможет, сегодня же ее пошлет. Через два дня всех заключенных из Свеаборга перевели в Петроград. Вероятно, Троцкий сделал это, чтобы доказать безвластие Временного правительства и свое возрастающее влияние».

Бросается в глаза соседство фамилий Троцкого и Луначарского, достаточно редко встречающееся в литературе. Ведь Анатолий Васильевич, в отличие от Льва Давыдовича, харизматическим лидером никогда не был. Да еще со следующей тут же фразой Троцкого о «наших». Заметим также, что Троцкий в данном эпизоде выступает в ипостаси зла, творящего добро, как и Воланд в «Мастере и Маргарите».

Для героев «Белой гвардии», как и для самого Булгакова, Троцкий нес хоть какой-то, пусть жестокий, но порядок, по сравнению со стихийной разнузданностью войск Петлюры, чья фамилия здесь превращается в зловещую «петлю».

В предисловии к своей книге «Литература и революция» Троцкий писал, что «царская цензура была поставлена на борьбу с силлогизмом… Мы боролись за право силлогизма против цензуры. Силлогизм сам по себе – доказывали мы при этом – беспомощен. Вера во всемогущество отвлеченной идеи наивна. Идея должна стать плотью, чтобы стать силой… И у нас есть цензура, и очень жестокая. Она направлена не против силлогизма… а против союза капитала с предрассудком. Мы боролись за силлогизм против самодержавной цензуры, и мы были правы. Наш силлогизм оказался не бесплотным. Он отражал волю прогрессивного класса и вместе с этим классом победил. В тот день, когда пролетариат прочно победит в наиболее могущественных странах Запада, цензура революции исчезнет за ненадобностью…»

Здесь же Троцкий предрекал: «В Европе и Америке предстоят десятилетия борьбы… Искусство этой эпохи будет целиком под знаком

революции. Этому искусству нужно новое сознание. Оно непримиримо прежде всего с мистицизмом, как открытым, так и переряженным в романтику, ибо революция исходит из той центральной идеи, что единственным хозяином должен стать коллективный человек и что пределы его могущества определяются лишь познанием естественных сил и умением использовать их».

Возможно, Булгаков в письме Правительству от 28 марта 1930 года полемизировал в скрытой форме с этими положениями, когда говорил о необходимости борьбы с цензурой:

«Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, – мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода… Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина». Пикантность ситуации заключалась в том, что предполагаемым читателем этого письма должен был стать Сталин, только что сокрушивший Троцкого во внутрипартийной борьбе. Правда, неизвестно, читал ли генеральный секретарь «Литературу и революцию». Булгаков демонстративно заявлял себя противником цензуры во всех ее видах и «мистическим писателем», хотя и романтического направления. Вероятно, в том числе и в полемических целях, главный герой «Мастера и Маргариты», обретающий последний приют в потустороннем мире Воланда, назван «романтическим мастером». Идеям Троцкого и других вождей большевиков о победе мировой пролетарской революции писатель противопоставлял принцип Великой Эволюции.

Впечатление, что в письме от 28 марта 1930 года Булгаков ведет заочный спор с Троцким, усиливается, если прочесть следующие рассуждения из статьи «Об интеллигенции», включенной в сборник «Литература и революция». Троцкий утверждал, что в годы реакции «не

любили Салтыкова. Это не простой вопрос изменчивых литературных вкусов, а нравственная характеристика эпохи… Образы негодяя – «властителя дум современности», торжествующей свиньи и «либерала применительно к подлости» были невыносимы для эпохи, которая меньшиковщину (по имени популярного реакционного журналиста газеты «Новое время» М.О. Меньшикова, впоследствии расстрелянного большевиками по обвинению в антисемитизме. – ***Б.С.)*** дополнила веховщиной (от названия известного сборника статей русских религиозных философов «Вехи» (1909). – ***Б.С.)***». Тут же Троцкий резко критиковал мысль о русской интеллигенции как главной пружине исторического развития: «Смотрите, – говорят, – какой мы народ: особенный, избранный… То есть народ-то наш, собственно, если до конца договаривать, дикарь: рук не моет и ковшей не полощет, да зато уж интеллигенция за него распялась… не живет, а горит – полтора столетия подряд. Интеллигенция переживает культурные эпохи – за народ. Интеллигенция выбирает пути развития – для народа. Где же происходит вся эта титаническая работа? Да в воображении той же самой интеллигенции!» Булгаков же в письме правительству одной из главных черт своего творчества назвал «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране».

Все же одну мысль автора «Литературы и революции» Булгаков, вероятно, хоть и с оговорками, но принимал. Троцкий отрицал противопоставление буржуазной и пролетарской культур и утверждал, что «исторический смысл и нравственное величие пролетарской революции в том, что она закладывает основы внеклассовой, первой подлинно человеческой культуры». Булгаков всегда был безусловным приверженцем такой культуры, но был убежден, что она существовала задолго до 1917 года и для ее рождения совсем не требовалась «пролетарская революция». Вероятно, было близко Булгакову и утверждение Троцкого, содержавшееся в третьем томе его сборника «Как вооружалась революция»: «Наше несчастье, что страна безграмотная, и, конечно, годы и годы понадобятся, пока исчезнет безграмотность, и русский трудовой человек приобщится к культуре». Председатель Реввоенсовета признавал существование русской национальной культуры, рассматривая Красную Армию и коммунистическую советскую власть «национальным выражением русского народа в настоящем фазисе развития». Булгаков в письме от 28 марта 1930 года указывал на «страшные черты моего народа», запечатлел отсталость и незатронутость культурой русского и украинского мужика соответственно в «Записках юного врача» и в «Белой гвардии» и в том же

письме правительству утверждал себя продолжателем русской культурной традиции. Не исключено, что именно своеобразная приверженность Троцкого к русской национальной культуре, пусть и в совсем иной, чем автор «Белой гвардии» форме, предопределила заинтересованное отношение и даже определенную симпатию к нему со стороны Булгакова, несмотря на всю противоположность их идеологических позиций. Вероятно, для писателя в образе Троцкого навсегда слились апокалиптический ангел – губитель белого воинства, яркий оратор и публицист и толковый администратор, пытавшийся упорядочить советскую власть и совместить ее с русской национальной культурой.

Среди действующих персонажей романа большевиков очень немного. В сущности, более или менее отчетливо представлен только один из них, «знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского Георгиевский крест, Михаил Семенович Шполянский». Есть еще несколько его подручных из бронедивизиона, да безымянный агитатор в толпе. Вот, в сущности, и все. И лишь один из персонажей-большевиков имеет вполне конкретного прототипа.

Если председатель Реввоенсовета сравнивается с ангелом бездны Аполлионом Откровения Иоанна Богослова и иудейским падшим ангелом Аваддоном (оба слова в переводе с древнегреческого и древнееврейского означают «губитель»), то Михаил Семенович Шполянский, получающий инструкции из Москвы, уподобляется лермонтовскому демону. Прототипом Шполянского послужил известный писатель и литературовед Виктор Борисович Шкловский, а фамилия заимствована у известного поэта-сатирика и фельетониста Аминада Петровича Шполянского, писавшего под псевдонимом Дон Аминадо. Он, в отличие от Шкловского, действительно писал стихи, как и булгаковский Шполянский, но к подпольной борьбе, а тем более к «засахариванию» гетманских броневиков, никакого отношения не имел. А вот Шкловский в начале 1918 года действительно находился в Киеве, служил в броневом дивизионе гетмана и, как и романный Шполянский, «засахаривал» броневики, описав все это подробно в мемуарной книге «Сентиментальное путешествие». Правда, Шкловский был тогда не большевиком, а членом боевой левоэсеровской группы, готовившей восстание против Скоропадского. Булгаков приблизил Шполянского к большевикам, памятуя также, что до середины 1918 года большевики и левые эсеры являлись союзниками, а потом многие из последних вступили в коммунистическую партию.

Шполянский – это аналог Тальберга, только не в белом, а в красном

лагере. Он беспринципно меняет фронт не столько в целях карьеры, сколько в поисках острых ощущений, не забывая, впрочем, и об обогащении. Вероятно, Булгаков читал мемуары А.И. Маляревского о Скоропадском, вышедшие в 1921 году в Берлине. О них мы подробно поговорим в следующей главе. Пока же отметим, что Маляревский не без основания полагал, что большевики тратили на пропаганду на Украине в эпоху гетманщины многие миллионы. Он приводит пример, как на распространение пропагандистской брошюры о Скоропадском бюро печати истратило более 16 тыс. карбованцев и денег больше не осталось. В то же время «все министры и чиновники, разводя руками, говорили шепотом о тех миллионах, что тратят большевики на пропаганду на Украине, но сопротивлялись движению дела об ассигновке упорнее щирых украинцев (самостийников), засевших на вторых должностях в канцеляриях и тоже саботировавших, как только мое дело попадало в их руки».

Шполянский, как и Тальберг, бросает свою любовницу Юлию Рейсс, только едет не в Варшаву и Берлин, а в Москву, несомненно, чтобы вернуться в Город с Красной Армией. Юлия же, подобно Елене Турбиной, вовлекается в турбинский мир, спасая, а потом становясь возлюбленной Алексея Турбина.

Может быть, один из важнейших выводов, которые делает Булгаков в «Белой гвардии», – это вывод о том, что апокалиптические, последние времена, будь то петлюровские или советские, все-таки можно пережить, не отказываясь при этом от нравственных ценностей, не сдергивая абажур с лампы, не убегая крысиной пробежкой от опасности. Семья, дом – это те ценности, которые надо стремиться сохранить в любые времена.

От романа к пьесе

«Дни Турбиных» – самая популярная булгаковская пьеса родилась из романа «Белая гвардия». Ее премьера состоялась во МХАТе 5 октября 1926 года. В апреле 1929 года «Дни Турбиных» были сняты с репертуара из-за цензурного запрещения, после беседы Сталина с украинскими писателями, состоявшейся 12 февраля 1929 года. Собеседниками Сталина были начальник Главискусства Украины А. Петренко-Левченко, заведующий Агитпропом ЦК КП(б)У А. Хвыля, руководитель Всеукраинского союза пролетарских писателей, Союза писателей Украины И. Кулик, писатели А. Десняк (Руденко), И. Микитенко и др. Сталин защищал булгаковскую пьесу, заявив: «Возьмите «Дни Турбиных». Общий осадок впечатления у зрителя остается какой (несмотря на отрицательные стороны, в чем они состоят, тоже скажу), общий осадок впечатления остается какой, когда зритель уходит из театра? Это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди, крепкие, стойкие, по-своему честные, в кавычках, должны признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь. Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. «Дни Турбиных» – это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма. (Голос с места: И сменовеховства.) Извините, я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения. Для беллетристической литературы нужны другие мерки: нереволюционная и революционная, советская – несоветская, пролетарская – непролетарская. Но требовать, чтобы литература была коммунистической, нельзя». Однако один из собеседников заявил, что в «Днях Турбиных» «освещено восстание против гетмана. Это революционное восстание показано в ужасных тонах, под руководством Петлюры, в то время когда это было революционное восстание масс, проходившее не под руководством Петлюры, а под большевистским руководством. Вот такое историческое искажение революционного восстания, а с другой стороны – изображение крестьянского повстанческого [движения] как (пропуск в стенограмме) по-моему, со сцены Художественного театра не может быть допущено, и если положительным является, что большевики принудили интеллигенцию прийти к сменовеховству, то, во всяком случае, такое изображение революционного движения и украинских борющихся масс не может быть

допущено». Другой собеседник возмутился: «Почему артисты говорят по-немецки чисто немецким языком и считают вполне допустимым коверкать украинский язык, издеваясь над этим языком? Это просто антихудожественно». Сталин с этим согласился: «Действительно, имеется тенденция пренебрежительного отношения к украинскому языку». А писатель Олекса Десняк утверждал: «Когда я смотрел «Дни Турбиных», мне прежде всего бросилось то, что большевизм побеждает этих людей не потому, что он есть большевизм, а потому, что делает единую великую неделимую Россию. Это концепция, которая бросается всем в глаза, и такой победы большевизма лучше не надо». О том же говорил и секретарь ЦК ВКП(б) Л.М. Каганович: «Единая неделимая выпирает».

Сталин еще раз попытался защитить пьесу: «Насчет «Дней Турбиных» – я ведь сказал, что это антисоветская штука, и Булгаков не наш. (…) Но что же, несмотря на то, что это штука антисоветская, из этой штуки можно вынести? Это всесокрушающая сила коммунизма. Там изображены русские люди – Турбины и остатки из их группы, все они присоединяются к Красной Армии как к русской армии. Это тоже верно. (Голос с места: С надеждой на перерождение.) Может быть, но вы должны признать, что и Турбин сам, и остатки его группы говорят: «Народ против нас, руководители наши продались. Ничего не остается, как покориться». Нет другой силы. Это тоже нужно признать. Почему такие пьесы ставятся? Потому что своих настоящих пьес мало или вовсе нет. Я против того, чтобы огульно отрицать все в «Днях Турбиных», чтобы говорить об этой пьесе как о пьесе, дающей только отрицательные результаты. Я считаю, что она в основном все же плюсов дает больше, чем минусов».

Когда Сталин прямо спросил А. Петренко-Левченко: «Вы чего хотите, собственно?», тот ответил: «Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело бы своим результатом снятие этой пьесы». Голоса с мест подтвердили, что это единодушное мнение всей делегации, и что вместо «Дней Турбиных» лучше поставить пьесу Владимира Киршона о бакинских комиссарах. Тогда Сталин спросил украинцев, надо ли ставить «Горячее сердце» Островского или чеховского «Дядю Ваню», и услышал в ответ, что Островский устарел. Тут Иосиф Виссарионович резонно возразил, что народ не может смотреть одни только коммунистические пьесы и «рабочий не знает, классическая ли это вещь или не классическая, а смотрит то, что ему нравится». И опять неплохо отозвался о булгаковской пьесе: «Конечно, если белогвардеец посмотрит «Дни Турбиных», едва ли он будет доволен, не будет доволен. Если рабочие посетят пьесу, общее впечатление такое – вот сила большевизма, с ней ничего не поделаешь.

Люди более тонкие заметят, что тут очень много сменовеховства, безусловно, это отрицательная сторона, безобразное изображение украинцев – это безобразная сторона, но есть и другая сторона». А на предложение Кагановича, что Главрепертком мог бы пьесу исправить, Сталин возразил: «Я не считаю Главрепертком центром художественного творчества. Он часто ошибается. (…) Вы хотите, чтобы он (Булгаков. – *Авт.) настоящего большевика нарисовал?* Такого требования нельзя предъявлять. Вы требуете от Булгакова, чтобы он был коммунистом – этого нельзя требовать. Нет пьес. Возьмите репертуар Художественного театра. Что там ставят? «У врат царства», «Горячее сердце», «Дядя Ваня», «Женитьба Фигаро». (Голос с места: А это хорошая вещь?) Чем? Это пустяковая, бессодержательная вещь. Шутки дармоедов и их прислужников. (…) Вы, может быть, будете защищать воинство Петлюры? (Голос с места: Нет, зачем?) Вы не можете сказать, что с Петлюрой пролетарии шли. (Голос с места: В этом восстании большевики участвовали против гетмана. Это восстание против гетмана.) Штаб петлюровский если взять, что он, плохо изображен? (Голос с места: Мы не обижаемся за Петлюру) Там есть и минусы, и плюсы. Я считаю, что в основном плюсов больше».

Но на предложение Кагановича кончить разговор о «Днях Турбиных» кто-то из украинских писателей посетовал, что в то время, когда на Украине в полной мере борются как с великодержавным шовинизмом, так и с местным, украинским шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно, «хотя фактов шовинизма в отношении Украины можно найти много».

Однако в целом Сталин прислушался к критике со стороны украинских писателей-коммунистов и санкционировал запрет «Дней Турбиных». Ему надо было до поры до времени убедить украинских писателей и номенклатуры, что он стоит за развитие украинской культуры и защитит Украину от проявлений великодержавного шовинизма. Снятие «Дней Турбиных» стало здесь определенным символическим жестом.

16 февраля 1932 года были возобновлены по личному указанию Сталина. К тому времени уже был взят курс на постепенную деукраинизацию и русификацию Украины, так что искажение украинского языка уже не могло быть поставлено Булгакову в вину.

«Дни Турбиных» сохранялись на сцене Художественного театра вплоть до июня 1941 года. Всего в 1926–1941 годах пьеса прошла 987 раз. Если бы не почти трехлетний вынужденный перерыв, пьеса наверняка прошла бы на сцене значительно более 1000 раз. В начале Великой

Отечественной войны Художественный театр гастролировал в Минске. Спектакли продолжались вплоть до 24 июня 1941 года. Во время бомбардировки было разрушено здание, где театр давал спектакли, и сгорели все декорации и костюмы спектакля «Дни Турбиных». Пьеса не возобновлялась на сцене МХАТа вплоть до 1967 года, когда «Дни Турбиных» были вновь поставлены в Художественном театре известным режиссером Леонидом Викторовичем Варпаховским.

При жизни Булгакова пьеса «Дни Турбиных» так и не появилась в печати, несмотря на ее неслыханную популярность. Впервые «Дни Турбиных» были опубликованы в СССР в булгаковском сборнике из двух пьес (вместе с пьесой о Пушкине «Последние дни») только в 1955 году. Следует отметить, что 21 годом ранее, в 1934 году, в Бостоне и Нью-Йорке были опубликованы два перевода «Дней Турбиных» на английский язык, выполненные Ю. Лайонсом и Ф. Блохом. В 1927 году в Берлине появился сделанный К. Розенбергом перевод на немецкий язык второй редакции булгаковской пьесы, носившей в русском оригинале название «Белая гвардия» (издание имело двойное название: «Дни Турбиных. Белая гвардия»).

Поскольку «Дни Турбиных» были написаны по мотивам романа «Белая гвардия», первые две редакции пьесы носили одинаковое с романом название. Работу над первой редакцией пьесы «Белая гвардия» Булгаков начал в июле 1925 года. Этому предшествовали следующие драматические события. Еще 3 апреля 1925 года Булгаков получил приглашение режиссера Художественного театра Бориса Ильича Вершилова прийти в театр, где ему предложили написать пьесу на основе романа «Белая гвардия». Вершилов, Илья Яковлевич Судаков, Марк Ильич Прудкин, Ольга Николаевна Андровская, Алла Константиновна Тарасова, Николай Павлович Хмелев, завлит МХАТа Павел Александрович Марков и другие представители молодой труппы Художественного театра искали пьесу современного репертуара, где все они могли получить достойные роли и, в случае успеха, вдохнуть новую жизнь в детище Станиславского и Немировича-Данченко. Ознакомившись с публикацией романа «Белая гвардия» в журнале «Россия», молодые мхатовцы уже по первой части смогли оценить огромный драматургический потенциал романа. Интересно, что у Булгакова замысел написать на основе «Белой гвардии» пьесу зародился еще в январе 1925 года, т. е. до предложения Вершилова. В какой-то мере этот замысел продолжал идею, осуществленную во Владикавказе в ранней булгаковской пьесе «Братья Турбины» в 1920 году. Тогда автобиографические герои были перенесены во времена революции 1905

года.

В начале сентября 1925 года он читал в присутствии Константина Сергеевича Станиславского первую редакцию пьесы «Белая гвардия» в театре. В первой редакции пьесы было пять актов, а не четыре, как в последующих. Здесь были повторены почти все сюжетные линии романа и сохранены практически все его основные персонажи. Алексей Турбин здесь еще оставался военным врачом, и среди действующих лиц присутствовали полковники Малышев и Най-Турс. Эта редакция не удовлетворила МХАТ из-за своей затянутости и наличия дублирующих друг друга персонажей и эпизодов. В следующей редакции, которую Булгаков читал труппе МХАТа в конце октября 1925 года, Най-Турс уже был устранен и его реплики и героическая смерть были переданы полковнику Малышеву. А к концу января 1926 года, когда было произведено окончательное распределение ролей в будущем спектакле, Булгаков убрал и Малышева, превратив Алексея Турбина в кадрового полковника-артиллериста, действительного выразителя идеологии Белого движения. Как мы уже упоминали, артиллерийскими офицерами в 1917–1918 годах служили муж сестры Булгакова Надежды Андрей Михайлович Земский и прототип Мышлаевского Николай Николаевич Сынгаевский. Возможно, это обстоятельство побудило драматурга сделать главных героев пьесы артиллеристами, хотя в качестве артиллеристов действовать героям пьесы, как и героям романа, так и не приходится.

Теперь именно Турбин, а не Най-Турс и Малышев погибал в гимназии, прикрывая отход юнкеров, и камерность турбинского дома взрывалась трагедией гибели его хозяина. Но Турбин также своей гибелью давал белой идее спасительный катарсис.

Теперь пьеса в основном сложилась. В дальнейшем под воздействием цензуры была снята сцена в петлюровском штабе, ибо петлюровская вольница в своей жестокой стихии очень напоминала красноармейцев. Отметим, что в ранних редакциях, как и в романе, «оборачиваемость» петлюровцев в красных подчеркивалась «красными хвостами» (шлыками) у них на папахах (некоторые петлюровские курени действительно носили такие шлыки). Возражение цензуры вызывало и само название пьесы «Белая гвардия». КС. Станиславский под давлением Главреперткома предлагал заменить его на «Перед концом», которое Булгаков категорически отверг. В августе 1926 года стороны сошлись на названии «Дни Турбиных» (в качестве промежуточного варианта фигурировала «Семья Турбиных»). 25 сентября 1926 года «Дни Турбиных» были разрешены Главреперткомом для постановки только в Художественном

театре. В последние дни перед премьерой пришлось внести ряд изменений, особенно в финал, где появились все нарастающие звуки «Интернационала», а Мышлаевского заставили произнести здравицу Красной Армии и выразить готовность в ней служить словами: «По крайней мере, я знаю, что буду служить в русской армии», а заодно провозгласить, что вместо прежней России будет новая – столь же великая.

Л.С. Карум вспоминал по поводу «Дней Турбиных»: «Первую часть своего романа Булгаков переделал в пьесу под названием «Дни Турбиных» (в действительности речь должна идти скорее не о переделке в пьесу первой части романа, а о написании оригинальной пьесы по мотивам романа. Поскольку Алексей Турбин теперь погибал в здании гимназии, то в заключительной сцене, происходящей в момент, когда петлюровцы оставляют город под натиском красных, ту роль, которую он играл в романе, фактически брал на себя Мышлаевский. – ***Б.С.)****.* Пьеса эта очень нашумела, потому что впервые на советской сцене были выведены хоть и не прямые противники советской власти, но все же косвенные. Но «офицеры-собутыльники» несколько искусственно подкрашены, вызывают к себе напрасную симпатию, а это вызвало возражение для постановки пьесы на сцене.

Дело в романе и пьесе разыгрывается в семье, члены которой служат в рядах гетманских войск против петлюровцев, так что Белой антибольшевистской армии практически нет.

Пьеса потерпела все же много мук, пока попала на сцену. Булгаков и Московский Художественный театр, который ставил эту пьесу, много раз должны были углублять ее. Так, например, на одной вечеринке в доме Турбина офицеры – все монархисты – поют гимн. Цензура потребовала, чтобы офицеры были пьяны и пели гимн нестройно, пьяными голосами. (Тут Карум явно ошибается. Ведь и в тексте романа пение романа происходило на вечеринке, на которой Алексей Турбин, а также Шервинский и Мышлаевский изрядно напиваются. – ***Б.С.****)*

Я читал роман очень давно, пьесу смотрел несколько лет тому назад, и поэтому у меня роман и пьеса слились в одно.

Должен лишь сказать, что похожесть моя сделана в пьесе меньше, но Булгаков не мог отказать себе в удовольствии, чтобы меня кто-то по пьесе не ударил, а жена вышла замуж за другого. В Деникинскую армию едет один только Тальберг (отрицательный тип), остальные расходятся после взятия Киева петлюровцами, кто куда».

Под влиянием образа Мышлаевского в пьесе Булгаков несколько облагородил этот образ в той редакции окончания романа «Белая гвардия»,

которая была издана в Париже в 1929 году. В частности, был убран эпизод с абортом, который горничная Турбиных Анюта вынуждена делать от Мышлаевского.

«Дни Турбиных» имели совершенно уникальный успех у публики. Это была единственная пьеса в советском театре, где белый лагерь был показан не карикатурно, а с нескрываемым сочувствием, причем главный его представитель, полковник Алексей Турбин, был наделен явными автобиографическими чертами. Личная порядочность и честность противников большевиков не ставились под сомнение, а вина за поражение возлагалась на штабы, генералов и политических вождей, не сумевших предложить приемлемую для большинства населения политическую программу и должным образом организовать белую армию. За первый сезон 1926/27 года пьеса прошла 108 раз, больше, чем любой другой спектакль московских театров. «Дни Турбиных» пользовались любовью со стороны интеллигентной беспартийной публики, тогда как публика партийная иной раз пыталась устроить обструкцию. Вторая жена драматурга Л.Е. Белозерская в своих мемуарах воспроизводит рассказ одной знакомой о мхатовском спектакле: «Шло 3-е действие «Дней Турбиных»… Батальон (правильнее – артиллерийский дивизион. – ***Б.С.)*** разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. В окне турбинского дома зарево. Елена с Лариосиком ждут. И вдруг слабый стук… Оба прислушиваются… Неожиданно из публики взволнованный женский голос: «Да открывайте же! Это свои!» Вот это слияние театра с жизнью, о котором только могут мечтать драматург, актер и режиссер».

А вот как запомнились «Дни Турбиных» человеку из другого лагеря – критику и цензору Осафу Семеновичу Литовскому немало сделавшему для изгнания булгаковских пьес с театральных подмостков: «Премьера Художественного театра была примечательна во многих отношениях, и прежде всего тем, что в ней участвовала главным образом молодежь. В «Днях Турбиных» Москва впервые встретилась с такими актерами, как Хмелев, Яншин, Добронравов, Соколова, Станицын, – с артистами, творческая биография которых складывалась в советское время.

Предельная искренность, с которой молодые актеры изображали переживания «рыцарей» белой идеи, злобных карателей, палачей рабочего класса, вызывала сочувствие одной, самой незначительной части зрительного зала, и негодование другой.

Хотел или не хотел этого театр, но выходило так, что спектакль призывал нас пожалеть, по-человечески отнестись к заблудшим российским интеллигентам в форме и без формы.

Тем не менее мы не могли не видеть, что на сцену выходит новая, молодая поросль артистов Художественного театра, которая имела все основания встать в один ряд со славными стариками.

И действительно, вскоре мы имели возможность радоваться замечательному творчеству Хмелева и Добронравова.

В вечер премьеры буквально чудом казались все участники спектакля: и Яншин, и Прудкин, и Станицын, и Хмелев, и в особенности Соколова и Добронравов.

Невозможно передать, как поразил своей исключительной, даже для учеников Станиславского, простотой Добронравов в роли капитана Мышлаевского.

Прошли годы. В роли Мышлаевского стал выступать Топорков. А нам, зрителям, очень хочется сказать участникам премьеры: никогда не забыть Мышлаевского – Добронравова, этого простого, немного неуклюжего русского человека, по-настоящему глубоко понявшего все, очень просто и искренне, без всякой торжественности и патетики признавшего свое банкротство.

Вот он, рядовой пехотный офицер (в действительности – артиллерийский. – ***Б.С.)***, каких мы много видели на русской сцене, за самым обыкновенным делом: сидит на койке и стягивает сапоги, одновременно роняя отдельные слова признания капитуляции. А за кулисами – «Интернационал». Жизнь продолжается. Каждый день нужно будет тянуть служебную, а может быть, даже военную лямку…

Глядя на Добронравова, думалось: «Ну, этот, пожалуй, будет командиром Красной Армии, даже обязательно будет!»

Мышлаевский – Добронравов был куда умнее и значительнее, глубже своего булгаковского прототипа (а сам Булгаков, заметим, – умнее и значительнее своего критика Литовского. – ***Б.С.)***.

Несравненно трагичнее созданного автором мелодраматического образа был и Хмелев в роли Алексея Турбина. Да и в целом театр оказался намного умнее пьесы. И все же не мог ее преодолеть!»

Постановщиком спектакля был Илья Яковлевич Судаков, который был всего на год старше самого Булгакова, а главным режиссером – КС. Станиславский. Именно в работе над «Днями Турбиных» по-настоящему сложилась молодая труппа МХАТа.

Почти вся советская критика дружно ругала булгаковскую пьесу, хотя иной раз рисковала похвалить мхатовский спектакль, в котором будто бы актерам и режиссеру удалось преодолеть «реакционный замысел» драматурга. Так, нарком просвещения А.В. Луначарский утверждал в

статье в «Известиях» 8 октября 1926 года, сразу после премьеры, что в пьесе царит «атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля», считал ее «полуапологией белогвардейщины», а позднее, в 1933 году, назвал «Дни Турбиных» «драмой сдержанного, даже если хотите лукавого капитулянтства». В статье журнала «Новый зритель» от 2 февраля 1927 года Булгаков, составивший альбом вырезок рецензий на свои произведения, отчеркнул следующее: «Мы готовы согласиться с некоторыми из наших друзей, что «Дни Турбиных» циничная попытка идеализировать белогвардейщину но мы не сомневаемся в том, что именно «Дни Турбиных» – осиновый кол в ее гроб. Почему? Потому, что для здорового советского зрителя самая идеальная слякоть не может представить соблазна, а для вымирающих активных врагов и для пассивных, дряблых, равнодушных обывателей та же слякоть не может дать ни упора, ни заряда против нас. Все равно как похоронный гимн не может служить военным маршем». Драматург в письме правительству 28 марта 1930 года отмечал, что в его альбоме вырезок скопилось 298 «враждебно-ругательных» отзывов и 3 положительных, причем подавляющее большинство их было посвящено «Дням Турбиных». Практически единственным положительным откликом на пьесу оказалась рецензия Н. Рукавишникова в «Комсомольской правде» от 29 декабря 1926 года Это был ответ на ругательное письмо поэта Александра Безыменского, назвавшего Булгакова «новобуржуазным отродьем». Рукавишников пытался убедить булгаковских оппонентов, что «на пороге 10-й годовщины Октябрьской революции… совершенно безопасно показать зрителю живых людей, что зрителю порядочно-таки приелись и косматые попы из агитки, и пузатые капиталисты в цилиндрах», но никого из критиков так и не убедил.

В пьесе, как и в романе, отрицательным героем является Тальберг, озабоченный лишь своей карьерой и произведенный теперь в полковники. Во второй редакции пьесы «Белая гвардия» он вполне шкурнически объяснял свое возвращение в Киев, который вот-вот должны были занять большевики: «Я прекрасно в курсе дела. Гетманщина оказалась глупой опереткой. Я решил вернуться и работать в контакте с советской властью. Нам нужно переменить политические вехи. Вот и все». Однако для цензуры столь раннее «сменовеховство» такого несимпатичного персонажа, как Тальберг, оказалось неприемлемым. В результате в окончательном тексте пьесы свое возвращение в Киев Тальбергу пришлось объяснять командировкой на Дон к генералу П.Н. Краснову, хотя оставалось неясно, почему этот не отличающийся храбростью персонаж выбрал столь рискованный маршрут, с заездом в город, который пока еще занимали

враждебные белым петлюровцы и вот-вот должны были занять большевики. Внезапно вспыхнувшая любовь к жене Елене в качестве объяснения этого поступка выглядела довольно фальшиво, поскольку прежде, поспешно уезжая в Берлин, Тальберг не проявлял особой заботы об оставляемой супруге. Возвращение же обманутого мужа прямо к свадьбе Елены с Шервинским нужно было Булгакову для создания комического эффекта и окончательного посрамления Владимира Робертовича (так теперь звался Тальберг).

Образ Тальберга в «Днях Турбиных» вышел еще более отталкивающим, чем в романе «Белая гвардия». Карум, естественно, не желал признавать себя отрицательным персонажем, из-за чего, как мы помним, его семья порвала все отношения с Михаилом Афанасьевичем. Но во многом списанный с него полковник Тальберг был одним из сильнейших, хотя и весьма отталкивающих образов пьесы. Приводить такого к службе в Красной Армии, по мнению цензоров, было никак нельзя. Поэтому вместо возвращения в Киев в надежде наладить сотрудничество с советской властью Булгакову пришлось отправить Тальберга в командировку на Дон к Краснову. Наоборот, под давлением Главреперткома и МХАТа существенную эволюцию в сторону сменовеховства и охотного принятия советской власти претерпел симпатичный Мышлаевский. Здесь для подобного развития образа был использован литературный источник – роман Владимира Зазубрина (Зубцова) «Два мира» (1921). Там поручик колчаковской армии Рагимов следующим образом объяснял свое намерение перейти к большевикам: «Мы воевали. Честно рэзали. Наша не бэрет. Пойдем к тем, чья бэрет… По-моему, и родина, и революция – просто красивая ложь, которой люди прикрывают свои шкурные интересы. Уж так люди устроены, что какую бы подлость они ни сделали, всегда найдут себе оправдание». Мышлаевский же в окончательном тексте говорит о своем намерении служить большевикам и порвать с Белым движением: «Довольно! Я воюю с девятьсот четырнадцатого года. За что? За отечество? А это отечество, когда бросили меня на позор?! И опять идти к этим светлостям?! Ну нет! Видали? *(Показывает шиш.)* Шиш!.. Что я, идиот, в самом деле? Нет, я, Виктор Мышлаевский, заявляю, что больше я с этими мерзавцами генералами дела не имею. Я кончил!..» Зазубринский Рагимов беззаботно-водевильную песню своих товарищей прерывал декламацией: «Я комиссар. В груди пожар!» В окончательном тексте «Дней Турбиных» Мышлаевский вставляет в белый гимн – «Вещего Олега» здравицу: «Так за Совет Народных Комиссаров…» По сравнению с Рагимовым Мышлаевский в

своих мотивах был сильно облагорожен, но жизненность образа при этом полностью сохранилась.

Суть перемен, происшедших в пьесе по сравнению с романом, так подытожил враждебно настроенный к Булгакову критик И.М. Нусинов:

«Сейчас не надо больше оправдываться за свое сменовеховство, за приспособление к новой жизни: это пройденный этап. Сейчас уже прошел также момент раздумья и раскаяния за грехи класса. Булгаков, наоборот, пользуясь затруднениями революции, пытается углубить идеологическое наступление на победителя. Он еще раз переоценивает кризис и гибель своего класса и пытается его реабилитировать. Булгаков перерабатывает свой роман «Белая гвардия» в драму «Дни Турбиных». Две фигуры романа – полковник Малышев и врач Турбин – соединены в образе полковника Алексея Турбина.

В романе полковник предает коллектив и сам спасается, а врач погибает не как герой, а как жертва. В драме – врач и полковник слиты в Алексее Турбине, гибель которого – апофеоз белого героизма. В романе крестьяне и рабочие учат немцев уважать их страну. Месть крестьян и рабочих немецким и гетманским поработителям Булгаков оценивает как справедливый приговор судьбы «гадам». В драме народ – одна лишь дикая петлюровская банда. В романе – культура белых – ресторанная жизнь «закокаиненных проституток», море грязи, в котором тонут цветы Турбиных. В драме – красота цветов Турбиных – сущность прошлого и символ погибающей жизни. Задача автора – моральная реабилитация прошлого в драме».

Критик не остановился перед прямым искажением булгаковских текстов и замыслов. Ведь в романе врач Алексей Турбин отнюдь не погибает, а лишь оказывается ранен. Полковник же Малышев в романе вовсе не «предает коллектив» ради собственного спасения, а, наоборот, сначала спасает своих подчиненных, распуская дивизион, которому больше некого защищать, и лишь потом покидает здание гимназии.

В ранней редакции «Дней Турбиных», создававшейся в 1925 году, Мышлаевский посреди застолья предлагает выпить за здоровье Троцкого, потому что он «симпатичный». В финале же в ответ на реплику Студзинского: «Ты забыл, что предсказывал Алексей Васильевич? Помнишь, Троцкий? – Все сбылось, вон он, Троцкий идет!» – Виктор Викторович утверждал, и как будто вполне трезво: «И прекрасно! Великолепная вещь! Будь моя власть, я б его командиром корпуса назначил!» Однако к моменту премьеры «Дней Турбиных» в октябре 1926 года Троцкий был выведен из Политбюро и оказался в опале, так что

произносить его имя со сцены в положительном контексте уже стало невозможно.

Булгакова привлекала незаурядная личность Троцкого – главного военного вождя большевиков во время Гражданской войны, против которых будущему автору «Белой гвардии» довелось воевать несколько месяцев в качестве военного врача Вооруженных сил Юга России на Северном Кавказе. В дневнике «Под пятой» писатель откликнулся на временное отстранение Льва Давыдовича по болезни от исполнения должностных обязанностей, расценив это как поражение председателя Реввоенсовета в борьбе за власть. 8 января 1924 года публикацию в газетах соответствующего бюллетеня Булгаков прокомментировал однозначно: «Итак, 8-го января 1924 года Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет». Очевидно, он считал победу Троцкого все же меньшим злом по сравнению с приходом к власти Сталина и тесно блокировавшихся с ним в тот период Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева, женатого, кстати сказать, на сестре Троцкого Ольге. Вместе с тем писатель не разделял распространенного мнения, что столкновение Троцкого с остальными членами Политбюро может привести к вооруженному противоборству и массовым беспорядкам. В записи, сделанной в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года, Булгаков назвал самым главным событием последних двух месяцев «раскол в партии, вызванный книгой Троцкого «Уроки Октября», дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого – затишье. Надежды белой эмиграции и внутренних контрреволюционеров на то, что история с троцкизмом и ленинизмом приведет к кровавым столкновениям или перевороту внутри партии, конечно, как я и предполагал, не оправдались. Троцкого съели, и больше ничего. Анекдот:

– Лев Давидыч, как ваше здоровье?

– Не знаю, я еще не читал сегодняшних газет (намек на бюллетень о его здоровье, составленный в совершенно смехотворных тонах)». Следует отметить что и в анекдоте, и в основном тексте записи есть некоторое сочувствие Троцкому. Противники председателя Реввоенсовета названы «главарями», которые «съели» своего товарища по партии.

Для Булгакова Троцкий – противник, но противник, во многом достойный уважения.

В пьесе Булгаков совсем не пытался польстить бывшему председателю Реввоенсовета, а лишь отражал мнение, широко распространенное среди белого офицерства. Сошлюсь на свидетельство моего деда, кстати, как и

Булгаков, доктора, Б.М. Соколова, которому в 1919 году в Воронеже довелось беседовать с остановившимся у него начальником контрразведки в корпусе Шкуро есаулом Каргиным. Есаул почему-то, без каких-либо на то оснований, считал дедушку красным, но настроен был весьма дружелюбно, пригласил его отобедать и за столом признался: «У вас есть один настоящий полководец – Троцкий. Эх, был бы такой у нас – мы бы точно победили». Любопытно, что под влиянием незаурядной, как бы к ней ни относиться, личности Троцкого в разное время оказывались люди, весьма далекие от коммунистических идей и партии большевиков.

Кстати сказать, насчет того, что Каргин был начальником контрразведки корпуса, мой дедушка мог и ошибиться. Единственный известный мне есаул с фамилией Каргин – это Александр Иванович Каргин, 1882 года рождения, произведенный в есаулы 29 декабря 1915 года, а 9 марта 1917 года назначенный командиром 20-й донской казачьей батареи. 31 января 1919 года он был произведен в войсковые старшины. Умер 6 января 1935 года во французском городе Кан. Его «каргинская» батарея упоминается в романе «Тихий Дон». Правда, мой дедушка запомнил Каргина как есаула, но тот мог представляться и последним чином, который получил в императорской армии. Каргин был донским казаком, а Шкуро командовал корпусом из кубанских и терских казаков. Однако в Воронеже под начало Шкуро также перешел Донской казачий корпус генерала КК Мамонтова.

В сезон 1926/27 года Булгаков во МХАТе получил письмо, подписанное «Виктор Викторович Мышлаевский». Судьба неизвестного автора в Гражданскую войну совпадала с судьбой булгаковского героя, а в последующие годы была столь же безотрадной, как и у создателя «Белой гвардии» и «Дней Турбиных». В письме сообщалось:

«Уважаемый г. автор. Помня Ваше симпатичное отношение ко мне и зная, как Вы интересовались одно время моей судьбой, спешу Вам сообщить свои дальнейшие похождения после того как мы расстались с Вами. Дождавшись в Киеве прихода красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть, а с поляками дрался даже с энтузиазмом. Мне казалось тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан. Все мне казалось у большевиков так хорошо, так умно, так гладко, словом, я видел все в розовом свете до того, что сам покраснел и чуть-чуть не стал коммунистом, да спасло меня мое прошлое – дворянство и офицерство. Но вот медовые месяцы революции

проходят. НЭП, кронштадское восстание. У меня, как и у многих других, проходит угар и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета…

Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид вотятского божка и вожделеющее на каждую машинистку (создается впечатление, что автор письма был знаком с соответствующими эпизодами булгаковской повести «Собачье сердце», неопубликованной, но ходившей в списках. – ***Б.С.)***. Никакого понимания дела, но взгляд на все с кондачка. Комсомол, шпионящий походя с увлечением. Рабочие делегации – знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на свадьбе. И ложь, ложь без конца… Вожди? Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видали, или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену (под последними, очевидно, подразумевался, прежде всего, впавший уже в опалу Л.Д. Троцкий. – ***Б.С.)***. А самая идея! Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно не претворяемая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее, и красивее (похоже, «Мышлаевский» был знаком и с трудами русских философов Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова, доказывавших, что марксизм взял христианскую идею и просто перенес ее с небес на землю. – ***Б.С.***).

Так вот-с. Остался я теперь у разбитого корыта. Не материально. Нет. Я служу и по нынешним временам – ничего себе, перебиваюсь. Но паршиво жить ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить – это привилегия следующего за нами поколения, нашей смены беспризорной.

В последнее время или под влиянием страстного желания заполнить душевную пустоту, или же, действительно, оно так и есть, но я иногда слышу чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией. Обращаюсь с великой просьбой к Вам от своего имени и от имени, думаю, многих других таких же, как я, пустопорожних душой. Скажите со сцены ли, со страниц ли журнала, прямо или эзоповым языком, как хотите, но только дайте мне знать, слышите ли Вы эти едва уловимые нотки и о чем они звучат?

Или все это самообман и нынешняя советская пустота (материальная, моральная и умственная) есть явление перманентное. Caesar, morituri te salutant (Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя (лат. – ***Б.С.***)».

Слова об эзоповом языке указывают на знакомство автора письма с фельетоном «Багровый остров» (1924). Как фактический ответ

«Мышлаевскому» можно рассматривать пьесу «Багровый остров», написанную на основе этого фельетона. Булгаков, превратив пародию на сменовеховство в «идеологическую» пьесу внутри пьесы, показал, что все в современной советской жизни определяется всевластием душащих творческую свободу чиновников, вроде Саввы Лукича, и никаких ростков нового тут быть не может. В «Днях Турбиных» он еще обозначал надежды на какое-то лучшее будущее, потому и ввел, как и в романе, в последнее действие крещенскую елку как символ надежды на духовное возрождение. Для этого даже была смещена хронология действия пьесы против реальной. Позднее Булгаков так объяснил это своему другу П.С. Попову: «События последнего действия отношу к празднику крещения… Раздвинул сроки. Важно было использовать елку в последнем действии». На самом деле оставление Киева петлюровцами и занятие города большевиками происходило 3–5 февраля 1919 года, и в романе эта хронология в общем соблюдена, поскольку там крещенская елка предшествует оставлению города петлюровцами, которое происходит в ночь на 3-е число. А вот в пьесе Булгаков перенес эти события на две недели вперед, чтобы совместить их с крещенским праздником в ночь с 18-го на 19-е января.

Критика обрушилась на Булгакова за то, что в «Днях Турбиных» белогвардейцы предстали трагическими чеховскими героями. О.С. Литовский окрестил булгаковскую пьесу «Вишневым садом» Белого движения, вопрошая риторически: «Какое дело советскому зрителю до страданий помещицы Раневской, у которой безжалостно вырубают вишневый сад? Какое дело советскому зрителю до страданий внешних и внутренних эмигрантов о безвременно погибшем Белом движении?» Критик же А. Орлинский бросил драматургу обвинение в том, что «все командиры и офицеры живут, воюют, умирают и женятся без единого денщика, без прислуги, без малейшего соприкосновения с людьми из каких-либо других классов и социальных прослоек». 7 февраля 1927 года на диспуте в театре Всеволода Мейерхольда, посвященном «Дням Турбиных» и «Любови Яровой», Булгаков ответил критикам: «Я, автор этой пьесы «Дни Турбиных», бывший в Киеве во время гетманщины и петлюровщины, видевший белогвардейцев в Киеве изнутри за кремовыми занавесками, утверждаю, что денщиков в Киеве в то время, то есть когда происходили события в моей пьесе, нельзя было достать на вес золота». «Дни Турбиных» в гораздо большей степени было реалистическим произведением, чем то допускали его критики, представлявшие действительность, в отличие от Булгакова, в виде заданных идеологических схем. На том же диспуте драматург объяснил, почему убрал из пьесы

прислугу Анюту, которая присутствовала в романе. Поскольку пьеса и так получалась слишком растянутой по времени, приходилось безжалостно сокращать персонажей и целые сюжетные линии. А критики и режиссеры требовали добавить в пьесу прислугу, которая должна была символизировать народ. Булгаков вспоминал: «…Режиссер мне говорит: «Даешь прислугу». Я говорю: «Помилуйте, куда я ее дену?» Ведь из пьесы при моем собственном участии выламывались громадные куски, потому что пьеса не укладывалась в размеры сцены и потому что последние трамваи идут в 12 часов. Наконец я, доведенный до белого каления, написал фразу: «А где Анюта?» – «Анюта уехала в деревню». Так вот, я хочу сказать, что это не анекдот. У меня есть экземпляр пьесы, и в нем эта фраза относительно прислуги есть. Я лично считаю ее исторической».

Через много лет после премьеры «Дней Турбиных» спектакль увидел военный атташе германского посольства в Москве в предвоенные годы генерал-майор Эрнст Кестринг. К концу войны он дослужился до генерала от кавалерии, командовал Восточными войсками, в которые входила и Русская освободительная армия А.А. Власова, был отпущен из американского плена уже в 1946 году и мирно скончался в 1953 году. Свидетельствует присутствовавший вместе с Кестринг в театре немецкий дипломат Ганс фон Херварт: «В одной из сцен пьесы требовалось эвакуировать гетмана Украины Скоропадского, чтобы он не попал в руки наступавшей Красной Армии. С целью скрыть его личность его переодели в немецкую форму и унесли на носилках под наблюдением немецкого майора. В то время как украинского лидера переправляли подобным образом, немецкий майор на сцене говорил: «Чистая немецкая работа», – все с очень сильным немецким акцентом. Так вот, именно Кестринг был тем майором, который был приставлен к Скоропадскому во время описываемых в пьесе событий. Когда он увидел спектакль, он решительно запротестовал против того, что актер произносил эти слова с немецким акцентом, поскольку он, Кестринг, говорил по-русски совершенно свободно. Он обратился с жалобой к директору театра. Однако, вопреки негодованию Кестринга, исполнение оставалось тем же.

Конечно, десятилетия спустя Херварт, очевидно, перепутал детали. В сценической редакции «Дней Турбиных», в отличие от романа, эвакуацией гетмана руководит не майор, а генерал фон Шратт (хотя вместе с ним действует и майор фон Дуст), а фразу насчет «чистой немецкой работы», естественно, говорят не сами немцы, а Шервинский. Но в целом, думается, можно дипломату верить: похожий инцидент на самом деле имел место. Уроженец России Кестринг (он родился в 1876 году в имении отца

Серебряные Пруды в Тульской губернии, окончил Михайловское артиллерийское училище и уехал в Германию только накануне Первой мировой войны) действительно говорил по-русски без какого-либо акцента и действительно находился в составе германской военной миссии при гетмане Скоропадском. Но Булгаков этого знать, естественно, не мог. Однако, похоже, он это предугадал. Дело в том, что булгаковский Шратт говорит по-русски то с сильным акцентом, то совершенно чисто и скорее всего акцент нужен ему только для того чтобы поскорее закончить разговор с гетманом, безуспешно добивающимся германской военной поддержки.

В пьесе по сравнению с романом образ гетмана был значительно расширен и шаржирован. Булгаков вдоволь поиздевался над попытками гетмана ввести в армии и на госслужбе украинский язык, которым тот сам толком не владел. Показал он и склонность гетмана к позерству и болтовне. Павел Петрович Скоропадский был храбрым генералом, заслужившим в Первую мировую войну Георгиевское оружие и орден Св. Георгия 4-й степени, но совершенно ничего не смыслил в политике, что вылилось в трагедию как для украинского народа, так и для русского офицерства. В характеристике гетмана Булгаков опирался не только на собственные впечатления от личности и политики гетмана, но и на воспоминания хорошо знавших Скоропадского мемуаристов. Так, уже в 1921 году журналист Александр Иванович Маляревский (как военный корреспондент «Русского Слова» подписывавшийся: А. Сумской) опубликовал книгу о Скоропадском под красноречивым названием «Диктатор трепетный и робкий». Маляревский как военный корреспондент две недели провел вместе со Скоропадским во время войны и вынес от будущего гетмана самое благоприятное впечатление. Но оно резко переменилось, когда они вновь встретились в Киеве. Маляревский, ставший руководителем бюро печати, неоднократно приглашался Скоропадским к обеду и несколько раз имел возможность беседовать с ним на политические темы. В его книге мы находим и источник речи Алексея Турбина, обличающего гетмана за его нежелание формировать русскую армию: «Приглядываясь к лицам, окружающим Скоропадского, я сразу установил, что большинство их были чисто русские граждане, без всякого оттенка украинства, и что настоящая цитадель украинства помещалась лишь в кабинете Полтавца, назначенного генеральным писарем, хранителем государственной печати, – скорее почетная, чем административная должность.

Понемногу мне стало совершенно ясно, что благосклонная судьба послала русской буржуазии, интеллигенции и всем не сочувствующим большевистскому перевороту передышку для того чтобы сдать экзамен или

переэкзаменовку на право существования в оазисе, охраняемом чужими войсками и возглавляемом временным диктатором. Правда, при одном условии – перекраситься на время в украинские цвета.

На территории России якобы создавались два конкурирующих начала. Советская Россия и Россия Скоропадского. Россия как бы разделилась на два лагеря, без необходимости вести Гражданскую войну, лишь для того чтобы силою интеллекта перемудрить одна другую. При этом Россия Скоропадского находилась в условиях в тысячу раз более благоприятных, чем коммунистическая Россия Ленина. Украинцы требовали немногого. О существовании их только не следовало забывать, до поры до времени награждая их теми заманчивыми для них, но нежизненными игрушками, которые составляли их исконную мечту, – дать им мову и придать внешний украинский стиль управлению. Неудобство существования украинского вопроса можно было использовать на благо всей России и безболезненно выйти из создавшегося положения».

Эта сентенция напоминает слова Тальберга о том, что «мы отгорожены от кровавой московской оперетки» германскими штыками.

Однако, как подчеркивает Маляревский, «практически мова была неосуществима; для целого ряда официальных учреждений не было терминов на малороссийском языке, их надо было еще выдумать, даже на галицийском языке не было терминологии для флота, так как там никогда не было флота». Беспомощные попытки Шервинского сделать доклад на «державной мове» как раз и иллюстрируют эту мысль.

Все имевшиеся благоприятные возможности гетман упустил, полностью растратив кредит доверия общества, жаждавшего стабильности и порядка. По словам Маляревского, «на переэкзаменовке блестяще провалилось русское общество, которое не обнаружило никакой сплоченности и ни малейшего здорового эгоистического инстинкта самосохранения. После первых ударов большевизма бежавшее в панике на Украину большинство легкомысленно прокутило передышку.

В чем можно упрекать лично Скоропадского, не сумевшего «взять быка за рога»? Он был одним из атомов этого общества прошлого. Атом, попытавшийся стать вождем. Но обуза прошлых убеждений, взглядов, школы и сноровки дали только опереточного героя, придали опереточный характер всему киевскому государственному образованию.

К счастью, потому что иначе произошла бы трагедия с Гражданской войной. Лучше уж оперетка».

Как мы помним, именно опереткой называет режим гетмана булгаковский Тальберг.

По словам Маляревского, все его министры Скоропадского обманывали, а он не умел или не хотел разоблачить ложь: «Понемногу знакомясь с общим положением дел и результатом работы гетмана, министерств и канцелярии, я к ужасу своему увидел, что в государственном аппарате царит нелепая волокита и толчея, но был уверен, что в гетмане проснется тот боевой генерал, которого я знал на фронте.

Пока весь день гетмана был занят только приемом частных лиц и чиновников с докладами. Скоропадский очень любил говорить. Эту его слабость осмеивали министры, выходя от него после докладов. Но и министры говорили не меньше; они бесконечно затягивали свои заседания, уклоняясь от прений по существу.

Насколько мне было известно, прекрасно осведомленные немцы вели себя весьма корректно, поощряя творческую инициативу, откуда бы она ни исходила, они постоянно настойчиво напоминали правительству и гетману о необходимости принятия тех или иных разумных мер. Но едва ли десятая часть этих указаний выполнялась. И если дело было исключительной важности, они принуждены были проводить его сами, конечно, проводя его иногда не так гладко, как сделали бы это русские руки, к чему правительство относилось совершенно равнодушно – как к совершившемуся факту. Среди чинов правительства создавалась даже какая-то уверенность, что все равно немцы сделают, и сделают лучше…

Большинство чиновников лгали гетману, притворяясь, что все обстоит блестяще, а в печать проходили только сообщения об официальных завтраках и обедах. Просматривая их подряд, можно было составить себе не слишком лестное представление о работоспособности диктатора и гетмана. Немцы, как передавали, тоже начали разочаровываться в государственных способностях милого и обаятельного «Павло» и с нетерпением ожидали приезда его жены Александры Петровны, очевидно думая, что с приездом ее создастся более творческая, а не декоративная атмосфера».

Разумеется, с приездом супруги гетмана положение нисколько не улучшилось. Маляревский очень точно охарактеризовал причину неудач гетмана на ниве государственного строительства: «Смелый и решительный на фронте, П.П. Скоропадский трусил перед своим письменным столом, как неопытный администратор, не умевший никогда разобраться в истине без кавычек. Принимая одно, преподнесенное ему в готовом виде решение, он менял его через полчаса на другое, также подготовленное какими-то случайными подсказчиками».

Пишет мемуарист и о ненависти крестьян к гетману, порождаемой его

поддержкой помещиков: «Когда я приехал в Киев, репутация гетмана была уже сильно подмочена среди значительной части крестьян историей с карательной экспедицией, которая была послана по деревням, принимавшим участие в разгромах помещичьих усадеб.

Был случай, когда помещик требовал с крестьян 30 000 карбованцев за вырубленную ими лозу, которая с тех пор уже успела вновь отрасти, а та, что была вырублена, стоила не больше двух-трех тысяч по самой высокой оценке. Карательная экспедиция была приостановлена, но результат ее в виде недоброжелательства продолжал существовать, и на этой почве очень удачно велась антигетманская пропаганда».

Маляревский столь же скептически, как и Булгаков, оценивал общество, собравшееся в Киеве при Скоропадском: «Киев, с его полуинтеллигентным обществом, был не совсем удачным пунктом для формирования нового здорового государственного начала. Давать такое определение Киевскому обществу, мне кажется, не слишком опрометчиво. Не говоря уже об общей политической безграмотности, большинство киевлян жило театрами, концертами, посещениями друг друга и кафе. Базар и рыночные слухи полагались в основу общественного мнения, создаваемого на текущий день, газеты несколько сглаживали слухи раннего утра, принесенные прислугой, но за день телефон и встреча с знакомыми перевертывали снова вверх дном все, что было рассудительного в этом «общественном мнении»…

«Гетман» мог означать диктатора, президента и владетельного князька, на самом же деле это был рядовой кавалерийский генерал царской службы – вывеска, которую можно было размалевать желательными большинству красками, моток картона, на который наматывали нити правопорядка»…

Как признавал Маляревский, после падения императора Вильгельма и начала петлюровского восстания «в серьезный контакт с Антантой я не верил, а сформировать в несколько дней серьезные военные части не было никакой возможности. И неохота, с которой шли в добровольцы, несмотря на подъем среди русской части общества, подсказывала, что неудача неминуема.

Мне пришлось передавать в печать телеграммы и радиотелеграммы, которые я получил из первых рук; в них сообщалось: о высадке французов, их продвижении к Фастову о сочувствии их и поддержке киевских добровольческих частей. Как впоследствии оказалось, эти телеграммы были сфабрикованы штабом Петлюры, перехватывавшим радио и телеграммы, посылаемые гетманом и отвечавшим на них». Эти оптимистические телеграммы дезориентировали героев «Белой гвардии», а

потом вызвали их ненависть.

Литературовед В.Я. Лакшин в свое время заметил, что знаменитое обращение Сталина в речи 3 июля 1941 года – первом выступлении в Великую Отечественную войну: «К вам обращаюсь я, друзья мои!» – скорее всего восходит к обращению Турбина к юнкерам в гимназии. Генсеку импонировал полковник Турбин в блистательном исполнении Николая Хмелева – враг настоящий, бескомпромиссный, написанный без карикатурности и «без поддавков», но признающий перед гибелью неизбежность и закономерность победы большевиков. Это, должно быть, льстило самолюбию коммунистического вождя, придавало уверенности в собственных силах, и не случайно Сталин вспомнил турбинские (булгаковские) слова в критические первые недели войны.

Сталину в пьесе особенно нравился Алексей Турбин в исполнении Хмелева. Е.С. Булгакова 3 июля 1939 года зафиксировала в дневнике: «Вчера утром телефонный звонок Хмелева – просит послушать пьесу («Батум». – ***Б.С.)***. Тон повышенный, радостный, наконец опять пьеса М.А. в Театре! И так далее. Вечером у нас Хмелев, Калишьян, Ольга. Миша читал несколько картин. Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о МХТ, о системе. Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу».

Между прочим, та трактовка образа Турбина, которую дал Хмелев и которая так нравилась Сталину, не принималась некоторыми поклонниками булгаковского творчества. Так, писатель В.Е. Ардов в феврале 1962 года писал режиссеру С.С. Юткевичу: «О Хмелеве Н.П. мне хочется сказать вот что: я не во всех ролях видел его в театре и в кино. В кино он вообще не производил на меня особенного впечатления. Разумеется, видно было, что актер – сильный, тонкий, умный, взыскательный и талантливый. Но в театре я остался недоволен им в трех ролях, которые полагают его достижениями. Алексея Турбина, на мой взгляд, Хмелев играл неверно. Его Турбин был чересчур «офицеристый» какой-то. Не из этой семьи был старший брат Николки и Лели. Вспомним, что в романе «Белая гвардия», который был самим автором превращен в пьесу о Турбиных, полковник Турбин был написан врачом, а не строевым офицером. Да, непосредственно это не имеет значения. Но и без влияния на образ такой факт оставить нельзя. Хмелев в «Днях Турбиных» поддался соблазну сыграть «блестящего офицера». Он был резок, злоупотреблял внешней стороной выправки и т. д. А хотелось бы видеть обреченного интеллигента. Так задумал М.А. Булгаков».

Но, что удивительно, сцена в гимназии, когда Турбин распускал дивизион, осознав бессмысленность продолжения борьбы и стремясь спасти сотни молодых жизней, совпала с образом действий одного из тех, кто противостоял Сталину по другую сторону фронта в самом конце Второй мировой войны. Итальянский князь Валерио Боргезе до сентября 1943 года командовал специальной 10-й флотилией МАС (малых противолодочных средств), а после капитуляции королевского правительства Италии создал и возглавил добровольческую дивизию морской пехоты «Сан-Марко» – самого боеспособного соединения армии созданной Муссолини Итальянской социальной республики (или «Республики Сало» – по местопребыванию правительства). 15-тысячная дивизия Боргезе сражалась как против англо-американских войск, так и против итальянских партизан. В конце апреля 1945 года германские войска в Италии капитулировали. Муссолини попытался бежать в Швейцарию, но по дороге туда нашел бесславный конец. Боргезе не последовал предложению дуче отправиться вместе с ним к швейцарской границе. Вот как описывает вечер 25 апреля биограф Боргезе французский историк Пьер Демарэ: «Вернувшись в казармы дивизии «Сан-Марко», Боргезе закрылся в своем кабинете… Около 22 час. 30 мин. один из его офицеров разведки представил доклад о последнем подпольном заседании Комитета национального освобождения Севера Италии, состоявшемся утром того же дня в Милане. В партизанской армии было объявлено состояние полной боевой готовности. Создавались народные трибуналы… Предусматривалось, что все фашисты «Республики Сало», захваченные с оружием в руках или пытавшиеся оказать сопротивление, могут быть казнены на месте…

Князю не стоило терять время, если он хотел спасти свою жизнь и жизнь своих солдат! Впереди была только короткая ночь. Он воспользовался ею, чтобы переодеть своих людей в гражданское и отпустить их на свободу, чтобы они попытались добраться до своих домов, раздав им те небольшие деньги, которые у него были. К утру казармы опустели. Только человек двадцать самых верных соратников отказались оставить его. В течение дня 26 апреля Боргезе заставил и их разойтись, и вечером, переодевшись, сам покинул кабинет.

«Я бы мог призвать на помощь смерть, – вспоминал он потом… – Я мог бы относительно легко перебраться за границу. Но я отказался покинуть родину, семью и товарищей… Я никогда не делал того, за что настоящему солдату могло быть стыдно. Я решил отправить мою жену и четверых детей в надежное убежище, а затем ждать, когда климат

смягчится, а потом сдаться властям». Боргезе так и поступил – и остался жив, как и все солдаты и офицеры его дивизии.

Думаю, что это совпадение – отнюдь не случайное. Ведь женой князя была русская эмигрантка графиня Дарья Олсуфьева, а она-то уж «Дни Турбиных» наверняка и видела, и читала. Так булгаковская пьеса через несколько лет после смерти драматурга, возможно, помогла спастись тысячам людей. Живо представляешь себе, как Боргезе объявляет своим бойцам: «Дуче только что бежал в Швейцарию в немецком обозе. Сейчас бежит командующий германской группой армий генерал Фитингоф». Отдельные горячие головы предлагают: «В Баварию пробиваться надо, к Альберту Кессельрингу под крыло!» А Боргезе убеждает их: «Там вы встретите тот же бардак и тех же генералов!»